АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

ХЛЕБ



Хлеб (Оборона Царицына)
Алексей Николаевич Толстой

Аннотация
А. Н. Толстой. ХЛЕБ. (Оборона Царицына)
Глава первая
Глава вторая
Глава третья
Глава четвертая
Глава пятая
Глава шестая
Глава седьмая
Глава восьмая
Глава девятая
Глава десятая
Глава одиннадцатая
Глава двенадцатая

Аннотация

По замыслу автора повесть «Хлеб» является связующим звеном между романами «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро». Повесть посвящена важнейшему этапу в истории гражданской войны — обороне Царицына под руководством товарища Сталина. Этот момент не показан в романе «Восемнадцатый год».



А. Н. Толстой
ХЛЕБ
(Оборона Царицына)

повесть

Глава первая

1

Две недели бушевала метель, завывая в печных трубах, грохоча крышами, занося город, устилая на сотни верст вокруг снежную пустыню. Телеграфные провода были порваны. Поезда не подходили. Трамваи стояли в парках.

Метель затихла. Над Петроградом светил высоко взобравшийся месяц из январской мглы. Час был не слишком поздний, но город, казалось, спал. Кое-где, на перекрестках прямых и широких улиц, белыми клубами дымили костры. У огня неподвижно сидели вооруженные люди, перепоясанные пулеметными лентами, в ушастых шапках. Красноватый отсвет ложился по сугробам, на треснувшие от пуль зеркальные витрины, на золотые буквы покосившихся вывесок.

Но город не спал. Петроград жил в эти январские ночи напряженно, взволнованно, злобно, бешено.

По Невскому проспекту, по извилистым тропинкам, протоптанным в пушистом снегу, сворачивающим в поперечные улицы, проходил

какой-нибудь бородатый господин, поставив заиндевелый воротник. Оглянувшись направо, налево, — стучал перстнем в парадную дверь, и тотчас испуганные голоса спрашивали: «Кто? Кто?» Дверь приоткрывалась, пропускала его и снова захлопывалась, гремя крючьями…

Человек входил в жарко натопленную железной печуркой, загроможденную вещами, комнату. Увядшая дама, хозяйка с истерическими губами, поднявшись навстречу, восклицала: «Наконец-то! Рассказывайте…» Несколько мужчин, в черных визитках и некоторые в валенках, окружали вошедшего. Протерев запотевшее пенсне, он рассказывал:

— Генерал Гофман в Брест-Литовске высек, как мальчишек, наших «дорогих товарищей»… Вместо того, чтобы полезть под стол со страха, генерал Гофман с великолепным спокойствием, продолжая сидеть, — сидя, заметьте, — заявил: «Я с удовольствием выслушал утопическую фантастику господина уполномоченного, но должен поставить ему на вид, что в данный момент мы находимся на русской территории, а не вы на нашей… И мы диктуем вам условия мира, а не вы нам диктуете условия…» Хе-хе…

Седоусый розовый старик, в визитке и вален-

ках, перебил рассказчика:

— Послушайте, но это же тон ультиматума…

— Совершенно верно, господа… Немцы заговорили с нашими «товарищами» во весь голос… Я патриот, господа, я русский, чорт возьми. Но, право, я готов аплодировать генералу Гофману…

— Дожили, — проговорил иронический голос из-за фикуса.

И другой — из-за книжного шкафа:

— Ну, что ж, немцы в Петрограде будут через неделю. Милости просим…

Истерическая хозяйка дома — с плачущим смешком:

— В конце концов не приходится же нам выбирать: в конце концов — ни керосину, ни сахару, ни полена дров…

— Вторая новость… Я только что из редакции «Эхо». Генерал Каледин идет на Москву! (Восклицания.) К нему массами прибывают добровольцы-рабочие, не говоря уже о крестьянах, — эти приезжают за сотни верст. Армия Каледина выросла уже до ста тысяч.

Из десятка грудей выдыхается смятый воздух: хочется верить в чудо — в просветленные духом крестьянские армии, идущие на выручку разогнанному Учредительному собранию,

на выручку таким хорошим, таким широким, красноречивым российским либералам… И еще хочется верить, что немцы придут, сделают свое дело и уйдут, как добрый дед-мороз.

Другой пешеход, поколесив глубокими тропинками мимо вымерших особняков, постучался на черном ходу в одну из дверей. Вошел в комнату с лепным потолком. Внутри закутанной люстры светила лампочка сквозь пыльную марлю. На паркете потрескивала железная печка с коленом в форточку. С боков печки на койках лежали в рваных шерстяных носках и жеваных гимнастерках штабс-капитан двадцати лет и подполковник двадцати двух лет. Оба читали «Рокамболя». Семнадцать томов этих замечательных приключений валялись на полу.

Вошедший проговорил значительно: «Георгий и Москва». Штабс-капитан и подполковник взглянули на него из-за раскрытых книг, но не выразили удивления и ничего не ответили.

— Господа офицеры, — сказал вошедший, — будем откровенны. Больно видеть славное русское офицерство в таком моральном разложении. Неужели вы не понимаете, что творят большевики с несчастной Россией? Открыто разваливают армию, открыто продают Россию, открыто за-

являют, что самое имя — русский — сотрут с лица земли. Господа офицеры, в этот грозный час испытания каждый русский должен встать с оружием в руках.

Штабс-капитан проговорил мрачно и лениво:

— Мы три года дрались, как черти. Мы с братом загнали шпалеры и не пошевелимся. Точка.

У вошедшего господина раздулись ноздри; подняв палец, он сказал зловеще:

— На свободу выпущен зверь. Русский мужичок погуляет на ваших трупах, господа…

И господин начал расписывать такие апокалипсические страсти, что у штабс-капитана и подполковника нехорошо засветились глаза. Оба сбросили ноги с коек, сильным движением одернули гимнастерки.

— Хорошо, — сказал подполковник. — Куда вы нас зовете?

— На Дон, к русскому патриоту — генералу Каледину.

— Хорошо. Мы его знаем. Он угробил дивизию на Карпатах. Но, собственно, кто нас посылает?

— «Союз защиты родины и свободы». Господа, мы понимаем, что идеи идеями, а деньги деньгами… — Господин вынул щегольский бумажник и бросил на грязную койку несколько думских

тысячерублевок.

— Мишка, — сказал подполковник, поддергивая офицерские брюки, — едем, елки точеные. Пропишем нашим мужепесам горячие шомпола…

В эти снежные ночи в Петрограде было не до сна. Вечерние контрреволюционные газетки разносили возбуждающие слухи о немецком ультиматуме, о голоде, о кровавых боях на Украине между красными и гайдамацкими полками Центральной рады, о победоносном шествии генерала Каледина на Москву, и с особенным вкусом и подробностями описывали грабежи и «кошмарные убийства». Неуловимый бандит Котов, или «человек без шеи», резал людей каждую ночь на Садовой у игорного притона — ударом мясного ножа в почки. В одной закусочной, знаменитой поджаренными свиными ушами, в подполье обнаружили семь ободранных человеческих туш. Весь город говорил о случае в трамвае, когда у неизвестного в солдатской шинели была вытащена из-за пазухи отрезанная женская рука с бриллиантовыми перстнями. Тоска охватывала имущих обывателей Петрограда. На лестницах устраивали тревожную сигнализацию, в подъездах — всенощное дежурство. Боже мой, боже мой!

Да уж не сон ли снится в долгие зимние ночи? Столица, мозг взбунтовавшегося государства, строгий, одетый в колоннады и триумфальные арки, озаряемый мрачными закатами, великодержавный город — в руках черни, — вон тех, кто, нахохлившись, стоит с винтовками у костров. Будто неведомые завоеватели расположились табором в столице. Не к ним же, высунувшись ночью из форточки, кричать: караул, грабят! У этих фабричных, обмотанных пулеметными лентами, у солдатишек из самой что ни на есть деревенской голи — на все — на все беды — один ответ: «Углубляй революцию...» Немало было таких, кто со злорадством ждал: пришли бы немцы. Суровые, в зелено-серых шинелях, в стальных шлемах. Ну — высекут кого-нибудь публично на площади, — российскому обывателю даже полезно, если его немного постегать за свинство. И встали бы на перекрестках доброжелательные шуцманы: «Держись права!» Военный губернатор, с золотыми жгутами на плечах, пролетел бы в автомобиле по расчищенному Невскому, и засветились бы окна в булочных, в колбасных и в пивных. И пошел бы правой сторонкой панели счастливый, как из бани, питерский обыватель. Немцу и в ум не придет такое невежество — заяв-

лять: «Кто не работает, тот не ест».

Тем, кто служил в бывших министерствах и департаментах, в банках и на предприятиях, а по-новому в комиссариатах, — окончательно, ввиду скорого пришествия немцев, не было расчета связываться с большевиками. Пусть они сами поворачивают государственную машину. Это не на митинге бить кулачищем в матросскую грудь: «Новый мир, видите ли, собственной рукой построим…», «Стройте, стройте, дорогие товарищи!» И, как крысы уходят с корабля, так с каждым днем все больше крупных и мелких чиновников по болезни и просто безо всяких оснований не являлось на службу. Саботаж снова с каждым днем ширился, как зараза, — все глубже насыщался политической борьбой.

Плотно занавесив окна, выставив на парадном желторотого гимназиста с браунингом, чиновники собирались около потрескивающей угольками железной печурки и, возрождая старозаветный питерский уют — чиновный винт, — перекидывались ироническими мыслями:

«Да-с, господа… Не так-то был глуп Николай, оказывается… Э-хе-хе… Мало секли, мало вешали… Что и говорить, все хороши… Свободы захотелось, на капустку потянуло… Вот вам и

капустка получилась… А в Смольном у них, ваше превосходительство, каждую ночь — оргии, да такие, что прямо — волосы дыбом…»

Клубы дыма от двух жарких костров застилали колонны Таврического дворца.

Топая валенками, похлопывая варежками, похаживала у входа вооруженная стража. Тускло горел свет. В вестибюлях — ледяная мгла.

В большом зале заседал Третий всероссийский съезд советов. На скамьях, раскинутых амфитеатром, было тесно, шумно — солдатские шинели фронтовиков, полушубки, ушастые шапки и ватные куртки рабочих. Под стеклянным потолком огромного зала — пар, полусвет… Гул голосов замолкал настороженно. Кулаками подпирались бороды, небритые щеки. Блестели ввалившиеся глаза. Слова оратора вызывали движение страстей на худых и землистых лицах. Навстречу иной фразе обрушивалось хлопанье тяжелых ладоней или поднимался угрюмый ропот, прорезаемый резким свистом, и долго приходилось звякать колокольчику председателя…

Прения заканчивались. На трибуну, расположенную перед высоким столом президиума, торопливо пошел с боковой скамьи по-господски одетый человек с толстыми щеками. Снял шапку,

расстегнул каракулевый воротник и — густым голосом через хрипотцу:

— …Никогда никакое насилие, никакие декреты Совета народных комиссаров не отнимут у нас права говорить от лица всего русского государства. Учредительное собрание разогнано, но Учредительное собрание живо, и голос его вы еще услышите…

Говорил член партии эсеров. За его спиной председательствующий Володарский беззвучно тряс колокольчиком. Рев перекатывался по скамьям амфитеатра: «Пошел вон! Долой! Вон!»

Оратор, опираясь на кулаки, глядел туда с перекошенной усмешкой. Когда немного стихло, он снова загудел, выпячивая толстые губы:

— …После октябрьского переворота, когда вы, товарищи, стали у власти, естественно было бы ждать, что вы не откроете фронта перед немецким нашествием… Но вся политика народных комиссаров преступно попустительствует тому, чтобы обнажить фронт…

Взрыв криков. Кто-то в солдатской шинели покатился сверху на каблуках по лучевому проходу к трибуне. Его перехватили, успокоили…

— ….Если вы хотите мира, — гудел толстощекий, — то прежде всего не должны допустить,

чтобы Совет народных комиссаров от вашего имени предательски заключил сепаратный мир…

Амфитеатр взревел, закачались головы, замахали рукава. Человек десять в шинелях кинулось вниз. Оратор торопливо надел шапку, нагибаясь, пошел на свое место.

Председательствующий, дозвонившись до тишины, дал слово Мартову. Член центрального комитета меньшевиков Мартов, в пальто с оборванными пуговицами, выставив из шарфа кадык худой шеи и запрокинув чахоточное лицо с жидкой бородкой, чтобы глядеть на слушателей через грязные стекла пенсне, съехавшего на кончик носа, — тихо, но отчетливо, насмешливо заговорил о том, что глубоко удовлетворен только что сделанным сегодня заявлением представителя мирной делегации в Брест-Литовске о намерении не делать более уступок германскому империализму…

Амфитеатр напряженно затих. Напряженное внимание в президиуме. Мартов двумя пальцами поправил пенсне. Чахоточные щеки его втянулись.

— Я заявляю, товарищи, что политика советской власти поставила русскую революцию в безвыходное и безнадежное положение… Вывод

делайте сами…

В президиуме громко выругались. На скамьях меньшевиков и эсеров захлопали. В центре и на левом крыле большевики затопали ногами, закричали: «Предатель!» Поднялся шум, перебранка. Какой-то низенький усатый человек в финской шапке повторял рыдающим голосом: «Ты скажи — что делать? Что делать нам, скажи?»

За Нарвскими воротами по левую сторону от шоссе, в рабочем поселке, разбросанном по болотистым пустырям, в одном из домишек, покосившемся от ветхости, кузнец Путиловского завода Иван Гора — большого роста, большеносый двадцатидвухлетний парень — чистил винтовку, положив части затвора на стол, где в блюдечке в масле плавал огонек.

Два мальчика — одиннадцати и шести лет — Алешка и Мишка — внимательно глядели, что он делает с ружьем. Иван Гора занимал здесь угол у вдовы Карасевой. Мамка ушла с утра, есть ничего не оставила. Иван Гора согрел чайник на лучинках, напоил маленьких кипятком, чтобы перестали плакать.

— Ну, теперь чисто, — сказал он грубым голосом. — Глядите, затвор буду вкладывать. Вло-жил!

Го-тово! Стреляй по врагам рабочего класса…

Засмеявшись, он поглядел на Алешку и Мишку. У старшего худые щеки сморщились улыбкой. Иван Гора перекинул ремень винтовки через плечо. Застегнул крючки бекеши, надвинул на брови солдатскую искусственного каракуля папаху.

— Ну, я пошел, ребята… Смотрите, без меня не балуйтесь…

Пригородная равнина синела снегами. Вокруг месяца — бледные круги. Иван Гора, утопая валенками, добрался до шоссе, на санные следы, и повернул направо, на завод, за пропуском. У заводских ворот заиндевелый дед, вглядевшись, сказал ему:

— На митинг? Иди в кузнечный…

На истоптанном дворе было безлюдно. Под сугробами погребены огромные котлы с военных судов. Вдали висела решетчатая громада мостового крана. Тускло желтели закопченные окна кузнечной.

Иван Гора с усилием отворил калитку в цех. Десятки взволнованных лиц обернулись к нему: «Тише, ты!» В узкой длинной кузнице пахло углем, тлеющим в горнах. Сотни полторы рабочих слушали светловолосого, маленького, с веселым розовым лицом человека, горячо размахиваю-

щего руками. Он был в черной, перепоясанной ремнем, суконной рубахе. Ворот расстегнут на тонкой интеллигентской шее, зрачки светлых круглых глаз воровски метались по лицам слушателей:

— …Вся наша задача — сберечь для мира чистоту революции. Октябрьскую революцию нельзя рассматривать как «вещь в себе», как вещь, которая самостоятельно может расти и развиваться… Если наша революция станет на путь такого развития, мы неминуемо начнем перерождаться, мы не сбережем нашу чистоту, мы скатимся головой вниз, в мелкобуржуазное болото, к мещанским интересам российской деревни, в объятия к мужичку…

Быстрой гримасой он хотел изобразить вековечного российского мужичка и даже схватился за невидимую бороденку. Рабочие не засмеялись, — ни один не одобрил насмешки. Это говорил один из вождей «левых коммунистов», штурмующих в эти дни ленинскую позицию мира…

— Первым шагом нашей революции — вниз, в болото — будет Брестский похабный мир… Мы распишемся в нашей капитуляции, за чечевичную похлебку продадим мировую революцию… Мы не можем итти на Брестский мир — что бы

нам ни угрожало.

Глаза его расширились «доотказа», будто он хотел заглотить ими всю кузницу со слушателями…

— Мы утверждаем: пусть нас даже задушит германский империализм… Пусть он растопчет нашу «Расею»… Это будет даже очень хорошо. Почему? А потому, что такая гибель — наша гибель — зажжет мировой пожар… Поэтому не Брестским миром мы должны ответить на германские притязания, но — войной! Немедленной революционной войной. Вилы против германских пушек?.. Да — вилы…

У Ивана Горы волосы ощетинились на затылке. Но хотел бы он еще послушать оратора, — времени оставалось меньше часу до смены дежурства. Он протолкался к двери, кашлянул от морозного воздуха. Зашел в контору, взял наряд в Смольный, взял паек — ломоть ржаного хлеба, сладко пахнущего жизнью, осторожно засунул его в карман бекеши и зашагал по шоссе в сторону черной колоннады Нарвских ворот…

Со стороны пустыря показались тени бездомных собак — неслышно продвинулись к шоссе. Сели у самой дороги, — десятка два разных мастей, — глядели на шагающего человека с

ружьем.

Когда Иван Гора прошел, собаки, опустив головы, двинулись за ним…

«Ишь ты: мы вилами, а немцы нас — пушками, и это «даже очень хорошо», — бормотал себе под нос Иван Гора, глядя в морозную мглу… — Значит — по его — выходит: немедленная война вилами… Чтобы нас раздавили и кончили… И это очень хорошо… Понимаешь, Иван? Расстреливай меня, — получается провокация…» Ивану стало даже жарко… Он уже не шел, а летел, визжа валенками… В пятнадцатом году его брат, убитый вскорости, рассказывал, как их дивизионный генерал атаковал неприятеля: надо было перейти глубокий овраг — он и послал четыре эскадрона — завалить овраг своими телами, чтобы другие перешли по живому мосту…

«По его — значит — советская Россия только на то и способна: навалить для других живой мост?..»

Он сразу остановился. Опустив голову, — думал. Собаки совсем близко подошли к нему… Поддернул плечом ремень винтовки, опять зашагал…

«Неправильно!..»

Сказал это таким крепким от мороза голосом, — собаки позади него ощетинились…

«Неправильно! Мы сами желаем своими руками потрогать социализм, вот что… Надо для этого семь шкур содрать с себя и сдерем семь шкур… Но социализм хотим видеть вживе… А ты, — вилы бери! И потом — почему это: мужик — болото, мужик — враг!..»

Он опять остановился посреди Екатерингофского проспекта, где в высоких домах, в ином морозном окне сквозь щели занавесей желтел свет. Иван Гора тоже был мужик — восьмой сын у батьки. Кроме самого старшего, — этот и сейчас хозяйничает на трех десятинах в станице Нижнечирской, — все сыновья батрачествовали. Троих убили в войну. Трое пропали без вести.

«Ну нет: всех мужиков — в один котел, все сословие… Это, брат, чепуха… Деревни не знаешь: там буржуй — может, еще почище городского, да на него — десяток пролетариев… А что темнота — это верно…»

Был третий час ночи. Иван Гора стоял на карауле у дверей в Смольном. В длинный коридор за день натащили снегу. Чуть светила лампочка под потолком. Пусто. Пальцы пристывали к винтовке. На карауле у дверей товарища Ленина — вволю можно было подумать на досуге. Замахнулись на большое дело: такую странищу поднять из

невежества, всю власть, всю землю, все заводы, все богатства предоставить трудящимся. Днем, в горячке, на людях легко было верить в это. В ночной час в холодном коридоре начинало как будто брать сомнение… Длинен путь, хватит ли сил, хватит ли жизни.

Головой Иван Гора верил, а тело, дрожавшее в худой бекеше, клонилось в противоречие. Из кармана тянуло печеным запахом хлеба, в животе посасывало, но есть на посту Иван Гора стеснялся.

Издалека по каменной лестнице кто-то, слышно, спускался с третьего этажа. В коридоре смутно показался человек в шубе, наброшенной на плечи, — торопливо шел, опустив голову в каракулевой шапке, засунув озябшие руки в карманы брюк. Иван Гора, когда он приблизился, облегченно раздвинул большой рот улыбкой. При взгляде на этого человека пропадали сомнения. Повернув ключ в двери, он сказал:

— Зазябли, Владимир Ильич, погреться пришли? Исподлобья чуть раскосыми глазами Ленин взглянул холодно, потом теплее, — на виски набежали морщинки.

— Вот какая штука, — он взялся за ручку двери. — Нельзя ли сейчас найти монтера, поправить

телефон?

— Монтера сейчас не найти, Владимир Ильич, позвольте, я взгляну.

— Да, да, взгляните, пожалуйста.

Иван Гора брякнул прикладом винтовки, вслед за Лениным вошел в теплую, очень высокую белую комнату, освещенную голой лампочкой на блоке под потолком. Раньше, когда Смольный был институтом для благородных девиц, здесь помещалась классная дама, и, как было при ней, так все и осталось: в одном углу — плохонький ольховый буфетец, в другом — зеркальный шкапчик базарной работы, вытертые креслица у вытертого диванчика, в глубине — невысокая белая перегородка, за ней — две железные койки, где спали Владимир Ильич и Надежда Константиновна. На дамском облупленном столике — телефон. Владимир Ильич работал в третьем этаже, сюда приходил только ночевать и греться. Но за последнее время часто оставался и на ночь — наверху, у стола в кресле.

Иван Гора прислонил винтовку и стал дуть на пальцы. Владимир Ильич — на диване за круглым столиком — перебирал исписанные листки. Не поднимая головы, спросил негромко:

— Ну, как телефон?

— Сейчас исправим. Ничего невозможного.

Владимир Ильич, помолчав, повторил: «Ничего невозможного», усмехнулся, встал и приоткрыл дверцу буфета. На полках две грязные тарелки, две кружки — и ни одной сухой корочки. У них с Надеждой Константиновной только в феврале завелась одна старушка — смотреть за хозяйством. До этого случалось — весь день не евши: то некогда, то нечего.

Ленин закрыл дверцу буфета, пожав плечом, вернулся на диван к листкам. Иван Гора качнул головой: «Ай, ай, — как же так: вождь — голодный, не годится». Осторожно вытащил ломоть ржаного, отломил половину, другую половину засунул обратно в карман, осторожно подошел к столу и хлеб положил на край и опять занялся ковыряньем в телефонном аппарате.

— Спасибо, — рассеянным голосом сказал Владимир Ильич. Продолжая читать, — отламывал от куска.

Дверь, — ведущая в приемную, где раньше помещалась умывальная для девиц и до сих пор стояли умывальники, — приоткрылась, вошел человек, с темными стоячими волосами, и молча сел около Ленина. Руки он стиснул на коленях — тоже, должно быть, прозяб под широкой черной

блузой. Нижние веки его блестевших глаз были приподняты, как у того, кто вглядывается в даль. Тень от усов падала на рот.

— Точка зрения Троцкого: войну не продолжать и мира не заключать — ни мира, ни войны, — негромко, глуховато проговорил Владимир Ильич, — ни мира, ни войны! Этакая интернациональная политическая демонстрация! А немцы в это время вгрызутся нам в горло. Потому что мы для защиты еще не вооружены… Демонстрация — не плохая вещь, но надо знать, чем ты жертвуешь ради демонстрации… — Он карандашом постучал по исписанным листочкам. — Жертвуешь революцией. А на свете сейчас ничего нет важнее нашей революции…

Лоб его собрался морщинами, скулы покраснели от сдержанного возбуждения. Он повторил:

— События крупнее и важнее не было в истории человечества…

Сталин глядел ему в глаза, — казалось, оба они читали мысли друг друга. Распустив морщины, Ленин перелистал исписанные листочки:

— Вторая точка зрения: не мир, но революционная война!.. Гм!.. гм!.. Это — наши «левые»… — Он лукаво взглянул на Сталина. — «Левые» отчаянно размахивают картонным мечом, как взбесив-

шиеся буржуа… Революционная война! И не через месяц, а через неделю крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений свергнет социалистическое рабочее правительство, и мир с немцами будем заключать уже не мы, а другое правительство, что-нибудь вроде рады с эсерами-черновцами.[1]

Сталин коротко, твердо кивнул, не спуская с Владимира Ильича блестящих глаз.

— Война с немцами! Это как раз и входит в расчеты империалистов. Американцы предлагают по сто рублей за каждого нашего солдата… Нет же, честное слово — не анекдот… Телеграмма Крыленко из ставки (Владимир Ильич, подняв брови, потащил из кармана обрывки телеграфной ленты): с костями, с мясом — сто рубликов. Чичиков дороже давал за душу… (У Сталина усмехнулась тень под усами.) Мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство… При теперешнем положении вещей оно неминуемо отшатнется от тех, кто будет продолжать войну… Мы, чорт их дери, никогда не отказывались от обороны. (Рыжеватыми — веселыми и умными, лукавыми и ясными глазами глядел на собе-

---

[1] Примечания: 1

В. М. Чернов — лидер эсеров. (Прим. автора.)

седника.) Вопрос только в том: как мы должны оборонять наше социалистическое отечество…

Выбрав один из листочков, он начал читать:

— «…Мирные переговоры в Брест-Литовске вполне выяснили в настоящий момент — к двадцатому января восемнадцатого года, — что у германского правительства безусловно взяла верх военная партия, которая, по сути дела, уже поставила России ультиматум… Ультиматум этот таков: либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, то есть мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию (прикрытую внешностью плата за содержание пленных), контрибуцию, размером приблизительно в три миллиарда рублей, с рассрочкой платежа на несколько лет. Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас революционную войну? Никакие средние решения, по сути дела, тут невозможны…»

Сталин снова твердо кивнул. Владимир Ильич взял другой листочек:

— «Если мы заключаем сепаратный мир, мы в

наибольшей, возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, — затрудняющую им сделку против нас, — используем, получая известный период развязанных рук для продолжения и закрепления социалистической революции». — Он бросил листочек, глаза его сощурились лукавой хитростью. — Для спасения революции три миллиарда контрибуции не слишком дорогая цена…

Сталин сказал вполголоса:

— То, что германский пролетариат ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным восстанием, — это одно из предположений — столь же вероятное, как любая фантазия… А то, что германский штаб ответит на демонстрацию в Брест-Литовске немедленным наступлением по всему фронту, — это несомненный факт…

— Совершенно верно… И еще, — если мы заключаем мир, мы можем сразу обменяться военнопленными и этим самым мы в Германию перебросим громадную массу людей, видевших нашу революцию на практике…

Иван Гора осторожно кашлянул:

— Владимир Ильич, аппарат работает…

— Великолепно! — Ленин торопливо подошел

к телефону, вызвал Свердлова. Иван Гора, уходя за дверь, слышал его веселый голос:

— …Так, так, — «левые» ломали стулья на съезде… А у меня сведения, что одного из их петухов на Путиловском заводе чуть не побили за «революционную» войну… В том-то и дело: рабочие прекрасно отдают себе отчет… Яков Михайлович, значит, завтра ровно в час собирается ЦК… Да, да… Вопрос о мире…

По коридору к Ивану Горе, звонко в тишине топая каблуками по плитам, шел человек в бекеше и смушковой шапке.

— Я был наверху, товарищ, там сказали — Владимир Ильич сошел вниз, — торопливо проговорил он, подняв к Ивану Горе разгоревшееся от мороза крепкое лицо, с коротким носом и карими веселыми глазами. — Мне его срочно, на два слова…

Иван Гора взял у него партийный билет и пропуск:

— Уж не знаю, Владимир Ильич сейчас занят, секретарь спит. Надежда Константиновна еще не вернулась. — Он с трудом разбирал фамилию на партбилете. — Угля у них, у дьяволов, что ли, нет на станции, — ничего не видно…

— Фамилия моя Ворошилов.

— А, — Иван Гора широко улыбнулся. — Слыхали про вас? Земляки… Сейчас скажу…

Глава вторая

1

Поздно утром вдова Карасева затопила печь и сварила в чугунке картошку, — ее было совсем мало. Голодная, сидела у непокрытого стола и плакала одними слезами, без голоса. Было воскресенье — пустой длинный день.

Иван Гора завозился на койке за перегородкой… В накинутой бекеше прошел в сени. Скоро вернулся, крякая и поеживаясь; увидев, что Марья положила на стол руки и плачет, — остановился, взял расшатанный стул, сел с края стола и начал перематывать на ногах обмотки.

— Мороз, пожалуй, еще крепче, — сказал густым голосом. — В кадушке вода замерзла — не пробить. Картошки на складах померзло — ужас… Так-то, Марья дорогая…

Вдова глядела мимо Ивана мутными от слез, бледными глазами. Все жалобы давно были сказаны.

— Так-то, Марья, моя дорогая… Революция — дело мужественное. Душой ты верна, но слаба. Послушай меня: уезжай отсюда.

Не раз Иван советовал вдове бросить худой домишко и уехать на родину Ивана — в Донской округ, в станицу Чирскую. Там нетрудно найти работу. Там хлеба довольно и нет такой беспощадной зимы. Вдова боялась: одна бы — не задумалась. С детьми ехать в такую чужую даль — страшно. Сегодня он опять начал уговаривать.

— Иван, — сказала ему вдова с тихим отчаянием. — Ты молодой, эдакий здоровенный, для тебя всякая даль близка. Для меня даль далека. Силы вымотаны.

Вдова с упреком закивала головой будто тем, кто пятнадцать лет выматывал ее силы. Муж ее, путиловский рабочий, два раза до войны подолгу сидел в тюрьме. В пятнадцатом году, как неблагонадежный, был взят с завода на фронт — пошел с палкой вместо винтовки. Так с палкой его и погнали в атаку на смерть.

— Напрасно, — сказал Иван, — напрасно так рассуждаешь, дорогая, что сил нет. Здесь ты лишний рот, а там сознательные люди нужны.

— Что ты, Иван… Мне бы только их прокормить… Кажется, умри они сейчас, — не так бы их жалко было… А как им прожить — маленьким… Да еще пойдут круглыми сиротами куски собирать…

Отвернулась, вытерла нос — потом глаза. Иван сказал:

— Вот… А там для детей — рай: Донской округ, подумай. Хлеб, сало, молоко. Там, видишь ли, какие дела… — Иван расположил на стол локоть и выставил палец с горбатым ногтем. — Я, мои браты — родились в Чирской, и батька там родился. Но считались мы иногородними, «хохлы», словом — чужаки. Казаки владели землей, казаки выбирали атаманов. Теперь наши «хохлы» и потребовали и земли и прав — вровень с казаками… У станичников к нам не то что вражда — кровавая ненависть. Казак вооружен, на коне, смелый человек. А наши — только винтовки с фронта принесли. Этот Дон — это порох.

Марья усмехнулась припухшими глазами:

— А ты говоришь — рай, зовешь…

— Дон велик. Поедешь в такие места, где большевистская власть прочна. Тебе работу дадут, на Дону будешь нашим человеком для связи. Хлеб-то в Петроград откуда идет? С Дона… Понятно? А уж детей ты там, как поросят, откормишь…

Марья глядела мимо него, повернув худое, еще миловидное лицо к замерзшему окошку, откуда чуть лился зимний свет.

— Пятнадцать лет прожито здесь…

— Эту хибарку, Марья, не то что жалеть — сжечь давно надо. Дворцы будем строить — потерпи немного…

— Верю, Иван… Сил мало… Что же, если велишь — поеду…

— Ну, велю, — Иван засмеялся. — Все-таки ваше сословие женское — чудное…

— По молодости так говоришь… Я вот, видишь ты, сижу и — ничего, встану — поплывет в глазах, голова закружится.

— Ну, я рад, мы тебя отправим…

Поговорив со вдовой, Иван оделся, перепоясался.

— Сегодня идем к буржуям за излишками… И как они, дьяволы, ловко прячут! Прошлый раз: вот так вот — коридор, — мы уж уходим, ничего не нашли, — товарищ меня нечаянно и толкни, я локтем в стенку: глядь — перегородка в конце коридора и обои, только что наклеенные. Перегородку в два счета разнесли, — там полсотни пудов сахару.

Он отворил дверь в сени. Марья — ему вслед, негромко:

— Хлеб весь, чай, съел?

— Да видишь, какое дело, — отдать пришлось, понимаешь, один был голодный…

Иван махнул рукой, вышел…

2

Все скупее, тягучее текли жизненные соки из черноземного чрева страны на север — в Петроград и Москву. Выборные продовольственной управы, ведавшие сбором и распределением хлеба, плохо справлялись, а иные нарочно тормозили это дело: в управы прошли члены враждебных политических партий — меньшевики и эсеры, чтобы голодом бороться с большевиками за власть. Голод все отчетливее появлялся в сознании, как самое верное, насмерть бьющее, оружие.

Большевиков было немного — горсть в триста тысяч. Их цели лежали далеко впереди. На сегодняшний день они обещали мир и землю и суровую борьбу за будущее. В будущем разворачивали перспективу почти фантастического изобилия, почти не охватываемой воображением свободы, и то привлекало и опьяняло тех из полутораста миллионов, для кого всякое иное устройство мира обозначало бы вечное рабство и безнадежный труд.

Но этому будущему пока что грозили голод, холод и двадцать девять германских дивизий, в

ожидании мира или войны стоящих на границе от Черного моря до Балтийского.

Для немцев выгоден был скорейший мир с советской Россией. Германское командование наперекор всем зловещим данным надеялось в весеннее наступление разорвать англо-французский фронт. Людендорф готовил последние резервы, но их можно было достать, только заключив сепаратный мир с советской Россией.

Немецкие представители в Брест-Литовске, где происходили переговоры о мире, готовы были ограничиться даже довольно скромным грабежом. Им нужен был хлеб и мир с Россией для войны на Западе. В Австро-Венгрии голод уже подступал к столице, и министр продовольствия приказал ограбить немецкие баржи с кукурузой, плывущие по Дунаю в Германию. Австрийский министр граф Чернин истерически торопил переговоры, чтобы получить, хлеб и сало из Украины.

Это понимал и на это рассчитывал Ленин, борясь за мир, за необходимую, как воздух, как хлеб, передышку от войны — хотя бы на несколько месяцев, когда смог бы окрепнуть новорожденный младенец — молодая советская власть.

На совещании Центрального комитета сов-

местно с членами большевистской фракции Всероссийского съезда советов точка зрения Ленина получила пятнадцать голосов: победа осталась за «левыми коммунистами», шумно требовавшими немедленной войны с немцами.

Через три дня собрался Центральный комитет. На нем Ленин прочел свои тезисы мира. «Левые» на этом заседании были в меньшинстве. Против Ленина выступили троцкисты со своей предательской позицией — ни мира, ни войны. Ленин не собрал большинства.

Тогда он сделал стратегический ход: он отступил на шаг, чтобы укрепить позиции и с них продолжать борьбу за мир: он предложил затягивать мирные переговоры в Брест-Литовске до того часа, покуда у немцев нехватит больше терпения и они не предъявят, наконец, ультиматума. Делать все, чтобы немцы возможно дольше не предъявляли ультиматума, и когда, наконец, предъявят, то уже безоговорочно подписывать с ними мир.

Предложение Ленина прошло большинством голосов. С этим обязательным для него постановлением Троцкий в ту же ночь выехал с делегацией в Брест-Литовск.

Несмотря на решение Центрального комитета,

«левые коммунисты» на рабочих митингах кричали о «национальной ограниченности» Ленина, о безусловной невозможности построить социализм в одной стране, да еще в такой отсталой, мужицко-мещанской… Они бешено требовали немедленной революционной войны, втайне понимая, что сейчас она невозможна, что она превратится в разгром. Но им нужно было взорвать советскую Россию, чтобы от этой чудовищной детонации взорвался мир. А впрочем, и мир для них был тем же полем для личных авантюр и игры честолюбий. Провокация и предательство были их методом борьбы.

В начале февраля в Брест-Литовске, в зале заседаний мирных переговоров, появились два молодых человека в синих свитках и смушковых шапках — Любинский и Севрюк. Они предъявили немцам свои мандаты полномочных представителей Центральной рады и предложили немедленно заключить мир. Хотя вся территория самостийного украинского правительства ограничивалась теперь одним городом Житомиром, немцев это не смутило: территорию всегда можно было расширить. И немцы тайно от советской делегации подписали с Центральной радой мирный договор на вечные времена,

обещав незамедлительно навести на Украине «порядок». В тот же день император Вильгельм приказал нажать круче на советскую делегацию и предъявить ультиматум.

Серењким утром десятого февраля, когда капало с крыш одноэтажных казенных домиков и воробьи заводили на голых деревьях Брестлитовской крепости донжуанское щебетанье, советская делегация, направляясь через снежный двор в офицерское собрание заседать, узнала про ловкий ход немцев. Троцкий пошел на телеграф. По прямому проводу он сообщил Ленину об угрожающей обстановке, он спросил: «Как быть?»

В ответ на ленточке, бегущей из аппарата, отпечаталось:

«Наша точка зрения вам известна. Ленин. Сталин».

Делегаты, стоя тесной кучкой на снежном дворе, нервно курили. Талый ветер относил дым. Глядели, как Троцкий появился на крыльце почты, остановился, застегивая на горле пальто, пошел по желтой от песка дорожке. Делегаты наперебой стали спрашивать, что ответил Владимир Ильич.

Широколобое, темное лицо Троцкого, окаменев, выдержало минутную паузу, затем — прямой,

как разрез, рот его разжался:

— Центральный комитет стоит на моей точке зрения. Идемте…

Сорок делегатов — Германии, Австро-Венгрии, Болгарии, Турции — собрались за зеленым столом.

Сидящий справа от статс-секретаря фон Кюльмана представитель высшего германского командования генерал Гофман (у которого наготове стояли двадцать девять дивизий) — крупный, розовый, бритый — брезгливо опускал губы. У сидящего слева от статс-секретаря австрийского министра графа Чернина дергалось тиком худое, измятое бессонницей, лицо. Жирный, черный болгарин Попов, министр юстиции, сопел, как бы с трудом переваривая речи.

Было ясно, что в эти минуты решается судьба России.* Председатель советской делегации, с волчьим лбом, татарскими усиками, черной — узким клинышком — бородкой, стоял в щегольской визитке, боком к столу, подняв плечи супрематическим жестом, — похожий на актера, загримированного под дьявола.

Упираясь надменным взглядом через стекла пенсне в германского статс-секретаря фон Кюльмана, — у которого в кармане пиджака лежала

телеграмма Вильгельма об ультиматуме, — Троцкий сказал:

— Мы выходим из войны, но мы отказываемся от подписания мирного договора…

Ни мира, ни войны! Как раз то, что было нужно немцам, — эта неожиданная шулерская формула развязывала им руки. Генерал Гофман густо побагровел, откидываясь на стуле. Граф Чернин вскинул худые руки. Фон Кюльман высокомерно усмехнулся. Ни мира, ни войны! Значит — война!

Так Троцкий нарушил директиву Ленина и Сталина, совершил величайшее предательство: советская Россия, не готовая к сопротивлению, вместо мира и передышки получила немедленную войну. Россия была отдана на растерзание. Одиннадцатого советская делегация уехала в Петроград. Шестнадцатого февраля генерал Гофман объявил Совету народных комиссаров, что с двенадцати часов дня восемнадцатого февраля Германия возобновляет войну с советской Россией…

3

Всю ночь мокрый снег лепил в большие окна. За приоткрытой дверью постукивал телеграф-

ный аппарат. Ленин, поднимая голову от бумаг, спрашивал: «Ну?» За дверью отвечали негромко: «Есть». Он озабоченно шел к аппарату. Телеграфист, жмуря глаз от едкой махорки, подавал ленту. На нескончаемой узкой бумажке бежали из аппарата сведения ставки, — тревога, тревога, тревога... В германских окопах началось оживление. Повсюду задымили кухни. По ходам сообщения двигаются крупные воинские части, одетые по-походному. Появились аэропланы. Германская артиллерия приближается на расстояние прямой наводки. Прожектора ощупывают наши позиции.

Владимир Ильич читал, читал, и нос его собирался ироническими морщинками. Не оставалось никакой надежды: завтра, восемнадцатого февраля, немцы начнут наступление по всему фронту от Балтийского до Черного моря...

Вчера вечером в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет. С холодной логикой Ленин доказывал, что нельзя ожидать, покуда немецкая армия придет в движение, а необходимо это движение предупредить — немедленно телеграфировать в Берлин о возобновлении мирных переговоров.

Троцкий, прибывший из Брест-Литовска,

запальчиво ответил, что немцы, конечно, наступать не будут и во всяком случае нужно не проявлять истерики, а выжидать с предложениями, покуда с достаточной убедительностью не проявятся все признаки агрессивности… Его шумно поддержали «левые коммунисты», — предложение Ленина не прошло.

Владимир Ильич вернулся к письменному столу. Бессонными ночами, под мрачную музыку ночного ветра, между телефонными звонками, разговорами по прямому проводу, чтением бумаг, писем, стенограмм — он обдумывал статью, где хотел сосредоточить революционное возбуждение товарищей на действительно грандиозных по замыслу, но реальных, неимоверно трудных, но достижимых задачах построения социалистического отечества.

Победу и успех революции он возлагал на творческие силы народных масс и проводил линию оптимизма через все беды, страдания и испытания. Он указывал на то, что революция уже вызвала к жизни сильный, волевой, творческий тип российского человека. Он со страстью, с провидением утверждал, что история России — история великого народа и будущее ее велико и необъятно, если это понять и захотеть, чтобы так

было. «Понять, захотеть и — будет», — социализм был для него так же реален и близок, как свет рабочей лампы, падающий на лист бумаги, по которому торопливо, с брызгами чернил, бежало его перо…

Поздно ночью он заснул за столом, положив лоб на ладонь и локтем упираясь в исписанные страницы. В начале восьмого ему принесли снизу грязный от копоти чайник с морковным чаем. Владимир Ильич отхлебнул кипятку, пахнущего тряпкой. «Ну — что? — спросил глуховато веселым голосом. — Какие еще новости с фронта?»

— Скверные, — ответили из соседней комнаты, где тикал телеграфный аппарат.

В девятом часу в кабинете Ленина снова собрался Центральный комитет.

Десять человек, не снимая шапок и верхней одежды, сели перед столом. Ленин, перебирая в плохо сгибающихся озябших пальцах путающуюся бумажную ленту, начал прямо с сообщения ставки за эту ночь:

— Немцы проявляют все признаки наступления… (Голос его был глухой и злой. Был виден только его залысый лоб и путающаяся в пальцах бумажная лента.) Осталось три часа… Три часа, в которые мы еще можем спасти все… Нельзя

терять ни минуты… Мы можем предотвратить катастрофу… Мы еще можем предложить мир.

Он говорил сжато, как бы вколачивая мысли. Кончив, бросил бумажную ленту, и она запуталась вокруг чернильницы. Сталин, стоявший у стола, заложив руки за спину, проговорил сейчас же:

— Вопрос, товарищи, стоит так: либо поражение нашей революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и укрепляемся… Этим не задерживается революция на Западе… Либо передышка, либо гибель революции… Другого выхода нет…

Вождь «левых коммунистов» — тот, кого едва не побили на Путиловском заводе, — в расстегнутой шубейке, в финской шапке с отвисшими ушами, сидя на подоконнике, крикнул насмешливо — напористо:

— Да немцы же не будут наступать, — это всякому ясно… Немецкие приготовления — демонстрация и только… На кой же чорт им наступать, когда мы демобилизуем фронт…

Сталин, вынув изо рта трубку, медленно повернул к нему голову и — холодно:

— Военный механизм сделан для войны, а не для демонстрации. Немцы подготовили наступ-

ление и будут наступать, потому что мы им не предложили мира. Если не предлагают мира, то всякий здравомыслящий человек понимает, что предлагают войну. Через три часа немцы начнут войну… А это будет означать то, что через пять минут ураганного огня у нас не останется ни одного солдата на фронте…

За два часа до немецкого наступления Центральный комитет проголосовал предложение Ленина, и снова одним голосом оно было отклонено…

4

Ровно в двенадцать часов германо-австрийский фронт от Ревеля до устья Дуная окутался ржавым дымом тяжелых гаубиц, задрожала от грохота земля, поднялись лохматые столбы разрывов, застучали в гнездах пулеметы, понеслись над фронтом монопланы с черным крестом на крыльях, выше поднялись привязанные аэростаты в виде колбас, отсвечивающих на солнце. Германские стальноголовые цепи вышли из окопов на приступ русских мощных железобетонных укреплений.

Занимавшие их остатки бывшей царской армии, не способные ни к какому сопротивлению, в

тот же час начали «голосовать за мир ногами», — побросав орудия, пулеметы, кухни, военные запасы, хлынули назад, к железнодорожным линиям и вокзалам.

То, что предвидел Ленин, — случилось: советская Россия стояла перед готовым к прыжку противником, безоружная и обнаженная. Солдаты влезали в поезда, на крыши вагонов, цепляясь за буфера и ступеньки, грозили смертью машинистам… Разбивали вагоны с грузом, — на грязном талом снегу вырастали кучи пиленого сахара, консервов, мерлушковых шапок, защитной одежды. Миллионная армия, не желающая стрелять, убивать, драться, отхлынула, как волна от скалистых утесов, потеряв всю ярость, — в пене и водоворотах побежала назад, в родной океан.

Немцы ждали этого. У них все было обдумано и приготовлено для глубокого наступления. Они быстро расчистили забитые железнодорожные узлы и двинулись по магистрали: Брест-Литовск — Брянск, Ровно — Киев — на Подолию, Одесщину и Екатеринославщину…

Предательство Троцкого в Брест-Литовске обошлось дороже, чем могло бы себе представить самое необузданное воображение. Немцы захватили шестьсот восемьдесят девять тысяч

квадратных километров территории советской России, тридцать восемь миллионов жителей и одних только военных запасов — пушек, ружей, огнеприпасов, одежды и довольствия — на два миллиарда рублей золотом.

Вечером того же дня — третий раз за эти сутки — собрался Центральный комитет.

Владимир Ильич начал говорить, сидя за столом, медленно царапая ногтями лоб: «Теперь не время посылать немцам бумажки… Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен…» Вскочил — руки глубоко в карманах. Протиснулся между товарищами на середину кабинета и забегал на двух квадратных аршинах. Лицо обтянулось, губы запеклись.

— Крах революции неизбежен, если будет и дальше проводиться средняя политика — ни да ни нет, ни мира ни войны… Политика самая робкая, самая безнадежная, самая неправильная изо всего возможного… Немцы наступают, противодействовать мы не можем. Выжидать, тянуть с подписанием мира — значит сдавать русскую революцию на слом. Мужик сейчас не пойдет на революционную войну, он сбросит всякого, кто толкнет его на такую войну… Мы должны подписать мир, хотя бы сегодня немцы предъ-

явили нам еще более тяжелые условия, если бы они потребовали от нас невмешательства в дела Украины, Финляндии и Эстляндии… то и на это надо пойти во имя спасения революции…

Вслед за этими словами начался водоворот в накуренной комнате — слов, восклицаний, бешеных жестов. Сталин и Свердлов придвинулись к Ленину. И — сразу тишина. Действительно, нельзя было терять ни минуты. Началось голосование, и на этот раз Ленин проломил брешь: большинством одного голоса Центральный комитет постановил послать германскому правительству радиотелеграмму о согласии подписать мир.

Телеграмма была послана в ту же ночь. Немцы продолжали решительно наступать по железнодорожным магистралям. Впереди с еще большей быстротой откатывалась старая царская армия, рассеивалась по деревням.

Немецкие солдаты, открывая вагонные окна, весело поглядывали на разбросанные по косогорам — среди оголенных садов — белые хаты под соломенными шапками, на приземистые амбары, на грачей, встревоженно взлетающих над прошлогодними гнездами. Здесь было вдоволь хлеба, и сала, и картошки, и сахара, здесь, по рассказам, текли молочные реки в берегах из

пумперникеля…[2] Немцы проникались беспечностью…

Через несколько дней эшелоны оккупантов были атакованы красными. Но советские отряды, именовавшиеся украинскими армиями, насчитывали всего около пятнадцати тысяч бойцов. Они были отброшены давлением в десять раз превосходившего их противника.

Киев был взят. Первый германский корпус беспрепятственно перешел Днепр и взял направление в районы шахт и заводов Донбасса.

Одновременно с этим немцы силами двух дивизий начали наступление на Нарву и Псков. Фронт был обнажен. Крестьяне не брали вилы и не садились на коней.

Утром двадцать первого февраля Ленин объявил социалистическое отечество в опасности, рабочие и крестьяне призывались защищать его своею жизнью. В тот же день пришел ответ от германского правительства. Отвечая определенно на неопределенную формулу «ни мира, ни войны», немцы требовали теперь: немедленного очищения всей Украины, Латвии, Эстонии и Финляндии с отказом навсегда от этих территорий и,

---

[2] Примечания: 2
Немецкий сладкий хлеб вроде коврижки (Прим. автора.)

кроме того, отдачи туркам Баку и Батума, — срок ультиматума истекал через сорок восемь часов.

За сорок восемь часов нужно было решить: быть России немецкой колонией или России итти независимым, никем еще Никогда не хоженным путем.

Весь день и всю ночь Смольный гудел, как улей, куда залезла медвежья лапа. «Левые коммунисты», левые эсеры, правые эсеры, меньшевики метались по заводам и фабрикам, поднимая митинги.

Штормовой западный ветер лепил снегом в занавешенные окна обывательских квартир, где настороженно ожидали событий. Через недельку — конец большевикам. Но немцы — в Петрограде!.. Что там ни говори, — шуцман на Невском: унизительно как будто! Обывательский патриотизм трещал по всем швам. И тут всем попадало на орехи — и большевикам, и Керенскому, и упрямому идиоту Николаю Второму.

Никто еще никогда не видел таким Владимира Ильича: осунувшееся лицо его как будто загорело от внутреннего огня, лоб исполосовали морщины, на скулах — пятна. Он говорил с гневным отвращением, с гневным присвистом сквозь стиснутые зубы:

— Больше не буду терпеть ни единой секунды! Довольно фраз! Довольно игры! Ни единой секунды! Я выхожу из правительства, я выхожу из Центрального комитета, если хоть одну секунду будет еще продолжаться эта политика революционных фраз!.. Или немедленный мир, или смертный приговор советской власти!..

Страстностью, непреклонностью обнаженной логикой и тем, что в эти часы на всех питерских заводах рабочие начали, гоня к чорту с трибун троцкистов и «левых», кричать: «Мы — за Ленина, за мир!» — ему удалось сломить оппозицию.

В ночь на двадцать четвертое февраля началась борьба во Всероссийском исполнительном комитете. «Левые коммунисты» и левые эсеры бросались, как бешеные, на трибуны в полуосвещенном зале Таврического дворца. Логике Ленина они противопоставили «удары по нервам» — разворачивали кружащие голову картины крестьянских восстаний. Некоторые из «левых» вскакивали на скамьи и с завыванием заявляли об отказе от всех партийных и советских постов.

Ленин, без шапки, в криво застегнутой шубе, с землистым лицом, отделился от огромной колонны и протянул руку, повисшую над беснующимся амфитеатром:

— Можно кричать, протестовать, в бешенстве сжимать кулаки… Иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет. Суровая действительность, сама доподлинная жизнь, не созданная воображением, не вычитанная из книг, а такая, какой она существует во всей своей ужасающей правдивости, встала перед нами…

Только под утро согласие на жестокие условия мира было проголосовано, и Всероссийский центральный исполнительный комитет послал телеграмму в Берлин. В ответ на нее двадцать четвертого февраля немцы заняли Псков. Назавтра можно было ждать немецких конных разведчиков у Нарвской и Московской застав.

5

В окошечко проник мглистый свет лунной ночи. На столе белела пустая тарелка, и — больше ничего не было видно в комнате. Постукивали ходики: тик — ясно, так — мягче. Алешка и Мишка лежали около чуть теплой печки под лоскутным одеялом. Алешка шопотом рассказывал младшему брату про храброго Ивана Гору. Мишка, слушая, повторял про себя: тик, так… Алешка сердился, что брат плохо слушает, — толкал его кулаком в стриженый затылок иногда так здоро-

во, — у Мишки щелкали зубы.

— Ты, ей-богу, слушай, а то — встану — так дам, перевернешься! — И Алешка рассказывал: — Приходит Иван Гора на один двор. И он знает: в этом доме подвал, и в подвале сидит буржуй на излишках… У него там чего только нет…

— А чего у него нет? Тик, так…

— Молчи, говорю… Ну — чего у него нет? И мука, и картошка, и сахар… Иван — туда-сюда по двору. Видит — железная дверь. Как он саданет плечом — и в подвал… А там буржуй на золотом стуле. И там — чего только нет! Сорок окороков ветчины…

— Это чего это — ветчина?

— Ну, говорят тебе, такая пища, сладкая. Буржуй увидел Ивана — как завизжит. А Иван не испугался: и давай вытаскивать мешки… Буржуй хвать гранату… А Иван — как даст ему между глаз…

Алешка вдруг замолчал, Мишка ему губами в самое ухо:

— Это чего?

Будто начинался ветер. Нет, ветер так не воет. В ночной тишине издалека — отчаянные, тоскливые, едва слышные здесь — у печки — доносились несмолкаемые завывания. Даже в замерзшем

окошке чуть-чуть дребезжало стеклышко… Потом, уже близко, завыла собака.

Послышался хруст снега около дома. Отворилась дверь — отдаленный, сердитый вой мглистой ночи наполнил комнату. Мать ничего не сказала, расстегнула шубейку, размотала платок, села у окна, взялась за голову и так сидела, как мертвая. Мальчики глядели на нее из-под одеяла.

Кто-то рванул дверь. Вместе с завывающим гулом ворвался Иван Гора — прямо за перегородку. Снял со стены винтовку. Щелкнул затвором.

— Кто баловался винтовкой?

Алешка и Мишка притаились, как жуки, боялись дышать.

— Марья… Чего уткнулась? Псков немцы взяли… Выходи… Сбор в Смольном.

Голос у него был жесткий. Марья сонно поднялась, повязала платок, застегнула шубейку. Повернула голову к кровати. Алешка одним глазом из-за одеяла увидел, что лицо у матери белое. Иван пхнул ногой дверь, ушел. Марья подняла веник, давеча брошенный детьми посреди комнаты, положила его у порога и вышла вслед за Иваном.

— Боюсь, Алешенька, боюсь, — чуть слышно

заскулил Мишка.

— Молчи, постылый, нашел время…

У Алешки у самого застрял в горле комок от этих слов Ивана Горы: «Псков взяли немцы…» Представлялось: Псков где-то здесь неподалеку, за черным холмом Пулкова — вроде каменной стены, через которую лезут огромные, усатые… От этой неминуемой беды вся ночь гудит и воет заводскими гудками.

6

Тревожные гудки по приказу Ленина раздались через два часа после взятия Пскова. Ревели все петроградские фабрики и заводы. Сбегавшимся рабочим раздавалось оружие и патроны. Сбор назначался в Смольном.

Всю ночь со всех районов столицы, со всех окраин шли кучки вооруженных — на широкий двор Смольного, где горели костры, озаряя суровые, хмурые лица рабочих, их поношенную одежду, превращенную наспех — поясом, патронташем, пулеметной лентой — в военную; шинели и рваные папахи фронтовиков; золотые буквы на бескозырках балтийских моряков, державшихся отдельно, как будто этот необычайный смотр — лишь один из многих авралов при свежем

ветре революции.

Было много женщин — в шалях, в платках, в полушубках, иные с винтовками. Кое-где в темной толпе поблескивали студенческие пуговицы. От озаряемой кострами колоннады отскакивали всадники на худых лошаденках. Люди тащили пулеметы, связки сабель, винтовки. Охрипшие голоса выкрикивали названия заводов. Кучки людей перебегали, строились, сталкиваясь оружием.

— Смирна! — надрывались голоса. — Стройся! Владеющие оружием — шаг вперед!..

Снова пронеслись косматые, храпящие лошаденки. Хлопали двери под колоннадой. Выбегали военные, ныряли в волнующуюся толпу… В костер летел кем-то принесенный золоченый стул, высоко взметывая искры. Сырые облака рвали свои лохмотья о голые вершины деревьев, заволакивали треугольный фронтон Смольного.

Из темноты широкого Суворовского проспекта подходили новые и новые отряды питерских рабочих, поднятых с убогих коек и нар, из подвалов и лачуг неумолкаемой тревогой гудков.

В коридорах Смольного рабочие двигались сплошной стеной: одни — вверх, по лестницам, другие, с оружием и приказами, наспех набро-

санными на клочках бумаги, — вниз, в морозную ночь, на вокзалы.

В третьем этаже, где находился кабинет Ленина, — в этой давке протискивались вестовые, курьеры, народные комиссары, секретари партийных комитетов, военные, члены Всероссийского центрального исполнительного комитета и Петроградского совета. Здесь видели прижатых к стене коридора растерянных «левых коммунистов». Здесь Иван Гора своими ушами слышал, как старый путиловский мастер в железных очках, притиснутый к вождю «левых коммунистов», говорил ему:

— Вот, садова голова, народная-то война когда начинается… Это, видишь, тебе — не фунт дыму…

Владимир Ильич у себя в кабинете — возбужденный, быстрый, насмешливо-колючий, решительный — руководил бурей: рассылал тысячи записок, сотни людей. От телефона бежал к двери, вызывал человека, расспрашивал, приказывал, разъяснял короткими вопросами, резкими обнаженными формулировками, как шпорами, поднимал на дыбы волю у людей, растерявшихся в этой чудовищной сутолоке.

Здесь же, освободив от бумаг и книг место

за столом, работал Сталин. Сведения с фронта поступали ужасающие, позорные. Старая армия окончательно отказывалась повиноваться. Матросский отряд, на который возлагались большие надежды, внезапно, не приходя даже в соприкосновение с неприятелем, оставил Нарву и покатился до Гатчины… В минуты передышки Владимир Ильич, навалясь локтями на кипы бумаг на столе, глядел в упор в глаза Сталину:

— Успеем? Немецкие драгуны могут уже завтра утром быть у Нарвских ворот.

Сталин отвечал тем же ровным, негромким, спокойным голосом, каким вел все разговоры:

— Я полагаю — успеем. Роздано винтовок и пулеметов… — Он прочел справку. — Немецкое командование уже осведомлено о настроении рабочих… Шпионов достаточно… С незначительными силами немцы вряд ли решатся лезть сейчас в Петроград…

В соседней пустой комнате, где на единственном столе была развернута карта-десятиверстка, работал штаб. Ленин вызвал военных специалистов из Могилева, где они ликвидировали штаб бывшей ставки. Ленин сказал им: «Войск у нас нет, — рабочие Петрограда должны заменить вооруженную силу». Генералы представили план:

выслать немедленно в направлении Нарвы н Пскова разведывательные группы по тридцать — сорок бойцов и тем временем формировать и перебрасывать им в помощь боевые отряды по пятьдесят — сто бойцов. Ленин и Сталин одобрили этот план. Немедленно, в этой же комнате, с одним столом и табуреткой, штаб начал формирование групп и отрядов и отправку их на фронт.

Всю ночь отходили поезда на Псков и Нарву. Многие из рабочих первый раз держали винтовку в руках. Эти первые отряды Красной армии были еще ничтожны по численности и боевому значению. Но у людей — стиснуты зубы, напряжен каждый нерв, натянут каждый мускул. Поезда проносились по ночным снежным равнинам. Питерские рабочие понимали, что вступают в борьбу с могучим врагом и враг этот носит имя — мировой империализм… Это сознание огромных задач оказывалось более грозным оружием, чем германские пушки и пулеметы.

Немцы надеялись без особых хлопот войти в Петроград. Их многочисленные агенты готовили в Петрограде побоище — взрыв изнутри. Тысячи немецких военнопленных — по тайным приказам — подтягивались туда с севера, с востока — из Сибири. Питерские обыватели перешептывались,

глядя на кучки немцев, без дела шатающихся по городу. Но в одну черную ночь Петроград по распоряжению Ленина и Сталина был сразу разгружен от германских подрывников. Взрыв не удался.

Когда шпионы начали доносить немцам о возбуждении питерских рабочих, о всеобщей рабочей мобилизации, когда их передовые части стали натыкаться на огонь новосформированных пролетарских частей, — занятие северной столицы показалось делом рискованным и ненадежным.

7

Старческое, с чисто промытыми морщинами, с твердым, согнувшимся на кончике, носом, розовое лицо генерала Людендорфа было неподвижно и строго, в глазах — ясность и холод, лишь дряблый подбородок отечески лежал на стоячем воротнике серого военного сюртука.

Время от времени он брал золотой карандашик, и пальцы его, с сухой кожей и широкими ногтями, помечая несколько цифр или слов на блокноте, слегка дрожали, — единственный знак утомления. Направо от его руки дымилась сигара, лежащая на стальном черенке от снаряда. На

безукоризненно чистом столе с мертвой аккуратностью расставлены предметы письменного прибора из черного мрамора, лежали папки из блестящего картона.

За зеркальным окном на карнизе — голуби на припеке мартовского солнца. Крутые тёмнокрасные крыши Берлина.

Напротив генерала Людендорфа в кожаном кресле, прямо и плотно, сидел генерал Гофман, также безукоризненно чистый, слегка тучный, с почтительным, блестевшим от испарины, лицом, к которому лучше бы шли борода и усы, так как — обритое — оно казалось голым. Луч солнца падал ему на жгут золотого погона. Он говорил:

— Я опасаюсь, что проведенная не до конца операция на Востоке может не дать того, что мы от нее ждем. Моя точка зрения такова: занятие Украины и Донецкого угольного бассейна не должно рассматривать как операцию, направленную только для пополнения сырьевых ресурсов Германии. Мы вводим наши дивизии в страну, где царит невообразимый политический хаос. Мои агенты в России присылают крайне печальные сведения, подтверждающие самые пессимистические предположения. Убийства образованных и имущих людей, кражи, разбои, междоусобица,

полный беспорядок и даже паралич жизни… Все это исключает всякую возможность правильных торговых сношений с Россией, если мы будем, повторяю, только наблюдать сложа руки эти крайне опасные и возмущающие безобразия большевиков…

— Да, — хриповато сказал генерал Людендорф. — Все это очень печально.

— Да, — так же хриповато ответил генерал Гофман. — Очень печально… Я бы мог предложить вашему высокопревосходительству один из возможных вариантов более активного вмешательства в русские дела…

— Пожалуйста, — вежливо хриповато сказал генерал Людендорф.

— Чтобы избавить несчастную Россию от невыносимых страданий, достаточно, по моему расчету, не слишком много усилий… Если бы мы продвинули наш левый фланг на линию Петербург — Смоленск и сформировали приличное русское правительство, которое могло бы назначить регента… Я имею в виду великого князя Павла Александровича, — он еще не расстрелян и живет в Царском Селе… Через пару недель Европейская Россия была бы приведена в порядок, мы получили бы спокойную сырьевую базу и смогли

безболезненно убрать из Украины половину наших дивизий…

Генерал Людендорф осторожно взял сигару, раскурил и вновь бережно положил на черенок. Это заняло по крайней мере минуту, — он обдумывал ответ.

— Я вполне сочувствую идеям, которые воодушевляют вас, — сказал он строго. — Мы не должны и не будем иметь соседом государство, управляемое коммунистами… Но чтобы вмешаться во внутренние дела Великороссии, нужны развязанные руки… Покуда на Западе мы не решим игру… (слегка задрожавшие пальцы его опять потянулись к сигаре) неблагоразумно во всех отношениях предпринимать что-либо на такой большой территории, как Великороссия… Кроме того, перед нами стоят более высокие цели… Чем бы ни окончилась война — Англия и впредь будет ставить ограничения нашей экспансии на Западе. Историческая миссия Германии — это движение на Восток, — Месопотамия, Персия и Индия, для этого мы должны прочно и навсегда закрепить за собой самый короткий и безопасный путь: Киев — Екатеринослав — Севастополь и морем — на Батум и на Трапезунд. Крымский полуостров должен остаться навсе-

гда германским, чего бы это ни стоило. Мандат на Восток мы получим в Шампани, на Сомме и Уазе… Кроме того, снабжение такой огромной восточной магистрали потребует солидных запасов угля, — поэтому мы должны прочной ногой стать в угольном бассейне Дона. Я полагаю: занятие Украины нашими войсками имеет ближайшую цель — снабжение нас хлебом и сырьем, но занятие Украины нельзя рассматривать как эпизод. Занять Украину, Донбасс и Крым мы должны прочно и навсегда… Москва приняла наши условия мира, делегация выехала в Брест-Литовск, нужно подписывать мир…

От Нарвских ворот, где вздымались черные кони с сосульками на копытах и мордах, далеко по обледенелому тротуару стояла очередь — женщины, старики, подростки: молча, угрюмо, иные привалясь к стене дома, иные уйдя всем лицом в поношенные воротники, чтобы уберечь от мартовского ветра хоть капельку тепла за долгие часы ожидания. Спины, рукава у всех помечены мелом — цифрами.

У Марьи Карасевой стоял 231-й номер. Двести тридцать человек, шаг за шагом, по ледяным кочкам, с примерзшей к ним падалью, должны были пройти впереди нее до дверей продоволь-

ственной управы.

Тогда, в ночь тревоги, Марья записалась было в санитарный отряд. Там давали фунт хлеба и сушеную рыбу да по четверке хлеба на детей. Но плохо было со здоровьем — не проходило кружение головы, пришлось демобилизоваться. Иван Гора уехал начальником разведывательного отряда под Нарву. Без Ивана Горы совсем стало худо, — Марья только и могла теперь простоять часов пять в очереди и приплестись, чуть живая, домой. Так она стояла, привалясь к стене, закрыв глаза. Сосед — сердитый старик с табачной бородой — толкал ее, как шилом, костяшкой согнутого пальца: «Ну, что ж ты задремала...» Очередь шевелилась, трогалась на шаг и опять застывала...

Во втором часу Марья увидела, наконец, человека с винтовкой у дверей продовольственной управы, куда он по одному пропускал очередь. У этого человека щеки, обросшие сизой щетиной, до того ввалились, будто он их закусил, синий от ветра нос — крючком, — наверно, был еврей...

— Товарищи, — повторял он, — не напирайте, больше организации...

Старик опять нажал в бок, Марья подошла и на фанере, вставленной в дверь вместо стекла, на бумажке, приклеенной клейстером к фане-

ре, — прочла:

«Сегодня по карточкам (таким-то) выдается полфунта овса. Завтра выдачи не будет».

Бумажка, облупленная дверь, крючконосое лицо с закушенными щеками — покачнулись, поплыли… Марья осела на тротуар, стукнулась головой о ледяную кочку.

Глава третья

1

Съезд советов вынес решение — перенести столицу в Москву, чтобы лишить соблазна немцев и финнов коротким налетом покончить с большевистским правительством.

В Петрограде на Николаевском вокзале было подано три поезда: в одном должен был уехать Ленин и члены Центрального комитета, в двух других — Всероссийский центральный исполнительный комитет и учреждения первой важности.

Много разного народа шаталось по площади перед вокзалом, размешивая ногами весеннюю грязь на вывороченном булыжнике. Была дрянная, ветреная погода. Латышские стрелки сурово проверяли пропуска у дверей вокзала. Но люди просачивались и без пропусков, — махая через заборы на железнодорожные пути, где в беспорядке стояли полуразбитые составы, дымили, шипели, отчаянно свистели маневренные паровозы.

Охраны было мало. Несколько молодых людей, по-господски одетых, насмешливого вида, появ-

лялись и исчезали в вокзальной сутолоке. Одного — в очках с толстыми стеклами — латыши задержали. Он, усмехаясь, предъявил билет члена Петроградского совета и, едва его выпустили, нырнул в кучку каких-то, отдельно и независимо державшихся, «клешников».

Только около полуночи на перроне «царского павильона» появились: близорукий, озабоченный, говорливый управляющий делами Совета народных комиссаров, ведавший личной охраной Ленина; Владимир Ильич с толстой связкой рукописей; Сталин в солдатской шинели и ушастой шапке; чернобородый, нездорово бледный Свердлов…

Вдоль синих вагонов стояли румяные рослые латышские стрелки. Революция, спасая себя, пожертвовала их родиной. Это было тяжело понять. Латыши потеряли родину. Чтобы вернуть ее — нужен долгий окружной путь через равнины Украины, России, Сибири, через победы революции и народов, имена которых латыши услыхали впервые. Трудно было вообразить такой путь, трудно решиться. Они решились. Невозмутимые, суровые, твердо держа винтовки — глядели на проходившего Ленина. Жизнь этого человека была их жизнью, их надеждой.

— Почему рабочие не поймут? Они лучше и проще нас поймут, почему мы уезжаем, — говорил Владимир Ильич одному из товарищей, державшему в обеих руках клетчатый портплед. — Почему Смольный — символ советской власти? Переедем в Кремль — символом станет Кремль. Что за сентиментальная чепуха — символ! Понадобится — и в Екатеринбург переедем.

Чтобы сгладить, что он говорит так сердито, Владимир Ильич рассеянно улыбнулся человеку с портпледом и торопливо влез в вагон. Комендант поезда махал рукой запоздавшим:

— Скорее, скорее, товарищи!

Вагоны громыхнули. Латыши вскочили на подножки. Поезд отошел.

Одновременно с других платформ отошли два другие поезда с членами Всероссийского центрального исполнительного комитета и учреждениями. Ночь была черная, ледяной дождь барабанил по вагонным крышам. Справа, где неясно проступали очертания Ижорского завода, мутно различалось огненное сияние, — должно быть, выпускали сталь из мартена.

Владимир Ильич постучал ногтем в стекло:

— Вот это — символ, если вы уж хотите… Несмотря на голод, на то, что немцы в Пскове, —

льют сталь… Поезд, где находился Ленин, вышел вторым в составе трех поездов. Но уже через час машинистом было обнаружено, что впереди идет не один поезд, а два. Какой-то неизвестный состав товарных вагонов с двумя паровозами вклинился где-то на стрелках между головным поездом, где ехали члены Всероссийского центрального исполнительного комитета, и вторым — с Лениным.

Это было сообщено управляющему делами помощником машиниста, который перебрался на ходу с тендера по крышам вагонов. Никому, даже Ленину, не было сказано об опасности. Латыши распахнули на площадках дверцы, приготовили пулеметы. Был третий час ночи. Дождь перестал, за волочившимися над чахлым ельником туманными облаками начала показываться половинка луны. Впереди в полуверсте ясно различался красный огонь загадочного поезда, замедлявшего ход. С паровоза сообщили, что сейчас — Любань и идущий впереди поезд, видно, там намерен остановиться на первом пути.

Так и вышло. Загадочный поезд, несмотря на закрытый семафор и отчаянные знаки жезлом начальника станции, стал против буфета первого класса. Заскрипели, завизжали двери теплушек.

Поезд с Лениным также был принужден остановиться, ударив в передний по буферам пыхтящей грудью паровоза.

Первым на перрон выскочил управляющий делами в треплющемся по ветру кашне. Карманы его распахнутой шубы были набиты рукописями и документами. Заросшие бородой щеки, мясистый нос со съехавшими очками багровели от возбуждения. Он был вооружен карандашом.

— Приказываю очистить перрон! — крикнул он, протягивая карандаш к зло гудящим кучкам людей в морских бушлатах, в солдатских шинелях. Они выпрыгивали из вагонов. У многих в руках уже вертелось оружие. Тут же находился отпущенный давеча насмешливый гражданин в очках с толстыми стеклами и еще несколько по-господски одетых.

Управляющего делами заметили: «Чекист, сукин сын, под колеса его». Людям в бушлатах и шинелях явно давались указания: человек сто решительно двинулось к поезду Ленина. Но им навстречу с площадок соскочили латыши, — они бегом по асфальту тащили пулеметы.

Управляющий делами с поднятым карандашом перекрикивал грохот пулеметных катков:

— Назад, по вагонам!

При виде пулеметов толпа бушлатов и шинелей остановилась. Из дверей теплушек высовывались женщины в пестрых шалях, визжа, махали руками. Толпа отступила, — побежали, полезли в вагоны, хватаясь за руки женщин… Задвигались двери. Через несколько минут перрон был очищен, загадочный поезд погружен.

Дальнейшее произошло просто и быстро. Под дулами пулеметов дверные скобки в теплушках были замотаны проволокой, запечатанный наглухо загадочный поезд отведен на запасный путь, и все стрелки забиты пустыми составами.

Дорога в Москву была свободна.

2

Теперь, когда мир в Бресте был подписан, Ленин со всей энергией начал организовывать обороноспособность республики. На месте рассеявшейся царской армии, на линии соприкосновения с немцами, оперировали различные пестрые революционные отряды, кое-как подчинявшиеся трем главнокомандующим. (Один был назначен военным комиссариатом, другой — советом «Калужской федеративной республики», третий выбран на фронте, как Цезарь — легионами.) Отряды состояли из рабочих Питера и Москвы,

из фронтовиков последних призывов, из местных крестьян-партизан, из беженцев, из таких необыкновенных формирований, как «Особая армия Ремнева», состоявшая на тридцать процентов из бандитов, или полка «ангелов смерти», набранного из всякого рода охотников за приключениями командиром Юркой Цибулько. При появлении такого эшелона, с черным знаменем на паровозе, станционная прислуга разбегалась, и начальник станции залезал под платформу или в другое место.

Трое главнокомандующих были сняты. Многочисленные отряды подчинены военному руководителю — военруку — и расположены в две линии завес, северную и западную, обороняющих подступы к Петрограду и Москве. Бесформенные отряды начали сводиться в роты и батальоны, комплектоваться через военные отделы местных советов добровольцами — по подписке и круговой поруке с жалованьем — пятьдесят рублей одинокому, полтораста семейному. Тем же порядком происходил набор командного состава из бывшего офицерства. Комплектование шло с большими затруднениями. В добровольцы записывалось немало людей, кому окончательно некуда было деваться и хотелось есть, но не во-

евать. Офицеры боялись уходить на фронт, где случалось, что иных командиров приходилось выручать от расправы вооруженной силой.

С продовольствием было совсем плохо. Местные советы и управы не могли справиться с твердыми ценами, — хлеб шел к спекулянтам, скупался кулаками. Отряды голодали. Штабы дивизий в отчаянии отправляли по деревням фуражиров с солью и сахаром — менять на муку и картошку. Даже «военрук завесы» сам выезжал в поезде менять у крестьян разное барахло на муку и сало.

Армейские лошади с торчащими ребрами паслись на крестьянских межах. Нехватало сапог, пушек, седел, упряжи. Все это лежало где-то по военным складам, но чорт их найдет — эти склады, а и найдешь — такая начнется переписка, что уже сам чорт сломит ногу...

Все же, несмотря на беспомощность и саботаж снабженческих организаций, на то, что для многих дик и непонятен был возврат кадровых офицеров, несмотря на отвращение к войне людей, просидевших четыре года в окопах, и также на то, что деревня была с головой погружена в свои дела, в борьбу бедноты с кулачьем, — начали обозначаться первые очертания костяка

Красной армии.

3

— Вы под охраной, генерал.

— Два каких-то болвана… Они ли меня охраняют, я ли их охраняю… Анекдот!

На задней площадке последнего вагона, в поезде, идущем из Харькова в Москву, разговаривали двое военных — один в «окопной», с оборванными крючками, шинели, в солдатском картузишке с красной ленточкой, — худой, с узким, когда-то холеным, давно не бритым лицом, испорченным выражением брезгливости и преодоленного унижения. Это был генерал-майор Носович.

Другой — низенький, плотный и румяный — в хорошей бекеше и круглой шапочке, лихо — несмотря ни на какие революции — сдвинутой на ухо, — полковник гвардейской артиллерии Чебышев.

Носович, судорожно затягиваясь папиросой, со злой усмешкой рассказывал:

— Четвертого я получил от генерала Драгомирова инструкции — разыскать в Москве Савинкова, стоящего во главе «союза защиты родины и свободы», и через него связаться с добровольческой армией. Пятого я выехал из Харькова на лошадях,

восьмого меня задержали красные под Белгородом… Начальник отряда Мухоперец, — недурная фамилия, — трогательно боролся с желанием расстрелять меня тут же из нагана. Я потребовал у красных, чтобы они телеграфировали в Москву в Высший военный совет, Троцкому. Разумеется, этот гусь немедленно ответил: «Со всевозможными удобствами препроводить бывшего генерал-майора Носовича в Москву…» Анекдот, доложу вам…

— Вы не находите, генерал, что вся эта мерзкая история слишком долго длится…

Носович бросил окурок в разбитое окно на убегающие рельсы. Над мартовскими грязными снегами ползли грязные тучи. Кое-где под неприглядным небом на равнине темнели убогие крыши деревенек.

— Родина. Извольте полюбоваться. Святыня! — сказал Носович. — Этот российский народец на свободе нужно завоевать так, как его завоевывал Чингиз-хан… Саботаж, мелкая подрывная работа разных социал-демократов — это только трусливые укусы. Этим их не проймешь… Нужна армия — маленькая, отлично снабженная, хорошо подобранная, способная легко маневрировать и наносить молниеносные удары… Материала

— достаточно из двухсоттысячного офицерского корпуса…

— Господа офицеры предпочитают заниматься чисткой сапог на улице, — сказал Чебышев.

— Нельзя их винить, полковник. Нет знамени, нет железной руки… Почему за три месяца генералу Драгомирову удалось отправить из Харькова к генералу Каледину всего тысячу офицеров? Каледин — не знамя… И я считаю благодеянием его самоубийство… Дон нужно уметь поднять. Каледин был все же генералом старой школы, — казаки ему не доверяли… Вот — перед отъездом я говорил с генералом Красновым…

— Ну — это фрукт, знаете…

— Да, с авантюрным душком… Но — молод, полон самых обширных планов.

— Генерал Краснов делает ставку на немцев, — сказал Чебышев, зло приподняв губу над мелкими опрятными зубами. — Краснов тайно ездил к генералу Эйхгорну, в Киев… Вам это известно?

Носович промолчал. Насупился. Некоторое время глядел на убегающие рельсы. Он почувствовал утомление, — плечи опустились под скороблённой шинелью, будто на них легло все безумие последних месяцев: захват власти чернью, окончательная гибель армии, гибель личной карьеры.

Этот фрукт Краснов — шикарный краснобай, любитель женщин, сочинитель-романист, легко маневрирующий политик — скорее других понял дух времени… Вместо громоздкой верности союзникам (а после Бреста эту верность снова нужно было доказывать кровью) Краснов, учитывая текущую обстановку, несомненно, сукин сын, на немецких штыках пройдет в донские атаманы.

— Что ж, — хмуро проговорил Носович, — если ему удастся сколотить казачью армию — не так уж плохо… Армия — всегда армия…

Чебышев ответил резко:

— Единственное здоровое образование — добровольческая армия. Генерал Алексеев, генерал Корнилов — это знамя. А казаки — в лучшем случае — подсобный материал… Какие у вас сведения о добровольцах?

— Последние сведения были о блестящем успехе под Лежанкой… Вот уже месяц, как восемь тысяч штыков и сабель пропали где-то в кубанских степях… Наша ближайшая задача: разыскать добровольческую армию и установить с нею связь.

— Вам придется, генерал, войти в Высший военный совет…

— Это будет нетрудно через Троцкого… Прости-

те, полковник, но мне недостаточно ясна ваша позиция.

У Чебышева опять открылись мелкие злые зубы.

— Моя позиция? Генерал-майор Носович, во всякой другой обстановке я счел бы ваш вопрос неуместным. Официально — я еду в Москву так же, как и вы, по телеграфному вызову Троцкого… Видимо, мне предложат инспектировать артиллерию.

4

По приезде, прямо с вокзала, Носович отправился разыскивать штаб Троцкого. Найти какое-нибудь учреждение в Москве было до отчаяния трудно. Казалось, люди задались целью говорить неправду, путать и посылать по неправильным адресам.

Москва казалась ему кашей, без плана и порядка. Хотя прошло уже пять месяцев с октябрьского переворота, — московские обыватели плохо разбирались в конструкции советской власти: всех большевиков называли комиссарами и твердо верили, что все это питерское нашествие с автомобилями, декретами, с проходящими по Тверской — особым медленным шагом, плотно,

плечо к плечу — красногвардейскими отрядами — неудобное явление это — временное, и, как жила Москва по кривым переулочкам, с азиатчиной, с купцами, хорошенькими гимназистками, с огромными текстильными фабриками, свободомыслящими чиновниками, лихачами, сплетнями, всемирно-известными актерами и ресторанами, — так, перемолов свирепых комиссаров, и будет жить, торговать, жульничать, бахвалиться, перемалывать темную деревню у ткацких станков в фабричный люд, перезваниваться колоколами старых церковок, обжитых галочьими стаями.

Поздно вечером, получив, наконец, пропуск, он добрался до Александровского вокзала, где на путях стоял поезд Троцкого. В полночь он был впущен к Троцкому и говорил с ним.

5

Носович спалил коробку спичек, покуда в грязном и темном переулке близ Тверской разыскал конспиративную квартиру — в небольшом домишке в глубине двора. Постучавшись особенным образом, он спросил через дверь: «Георгий дома?» Дверь приоткрылась, заслоняя свечу, появился молодой человек в очках с толстыми

стеклами. «Не знаю, кажется вышел», — ответил он условным паролем. Тогда Носович вытащил из-за подкладки штанов половинку визитной карточки, разрезанной наискось. Молодой человек в очках вынул из кармана другую половинку ее и — со снисходительной усмешкой:

— Пожалуйста, генерал, — вас ждут.

Он ввел Носовича в непроветренную комнату, слабо освещенную настольной лампой. Навстречу с дивана поднялся лысоватый, с прядью жидких волос — на лоб, невзрачный мужчина среднего роста, в желтых крагах, сухой, вежливый — Борис Викторович Савинков, бывший эсер, переживший славу террориста и писателя и теперь, с опустошенным мозгом, с опустошенным сердцем, продававший самого себя за призрак власти.

Он находился здесь, в Москве, конспиративно — представителем добровольческой армии, хотя отлично понимал, что при серьезном успехе добровольцы его же первого и повесят. С годами и неудачами в нем накопилось достаточно много презрения к людям. Ленина он считал хитрецом и не верил ни одному его слову. При виде рабочих демонстраций его тошнило. Восемь тысяч свирепо настроенных, готовых на любые ли-

шения, добровольцев под командой Корнилова — «льва с ослиной головой» — представлялись ему недурным началом. Снова в его распоряжении оказалась власть, деньги и, главное, то восхитительное состояние любования собой, которое было ему нужнее всего.

— Вам удалось видеть Троцкого? — спросил он, минуя все предварительные условности знакомства. (Такое револьверное начало он применял еще во времена боевой организации, прощупывая молодых террористов.) Носович с любопытством взглянул в его рыжие глаза, на наполеоновскую прядь волос на лбу.

— Разрешите сесть. Я устал… Разрешите курить… — Он с наслаждением вытянулся на диване, закурил хорошую папиросу. — Дело значительно упрощается, Борис Викторович. Видно, бог идет нам на помощь. С Троцким я только что беседовал… Он произвел на меня крайне выгодное впечатление: несколько раз во время беседы он оговорился и преподнес мне — «господин генерал»…

Я тоже не остался в долгу и ввернул ему разок — «ваше превосходительство»… С ним нам легко будет работать… Ну-с, и — наконец…

Носович приостановился. Савинков, поджав

под себя ногу, не спускал с него прощупывающих глаз…

— … Он предложил мне пост начальника штаба Северокавказского военного округа со ставкой в Царицыне… Я поблагодарил и принял…

— Троцкий предвосхитил мою идею, — сказал Савинков, усмешкой вытягивая угол бледных губ. — Тем лучше. Так вот, могу вас обрадовать, генерал… На-днях вы услышите о взятии Екатеринодара добровольцами. Корнилов получит солидную базу и огромные запасы оружия.

(Носовичу захотелось перекреститься, но было неловко под немигающим взглядом сухопарого террориста, — ограничился мысленным крестом.)

— Завтра я поставлю вопрос о вас в штабе московского отдела добрармии. Мы намеревались переправить вас к Деникину, но теперь используем в более интересном плане — как красного начальника штаба. (Оба усмехнулись.) Ваша задача: организовать в Царицыне центр восстания. Не забывайте, — если немцы займут всю Украину и Донбасс — Царицын останется у большевиков единственной связью с приволжским хлебным районом. Если мы его оторвем — это будет смертельным ударом по Москве.

Носович одобрительно кивал. Ему начинал нравиться этот щелкопер, — в нем были упругость организатора и, видимо, большой опыт по части всяких взрывных дел…

— Простите, Борис Викторович, хотел вам задать вопрос… Почему вы подняли тогда руку на великого князя Сергея Александровича, на Плеве… А вот на разных Лениных… Решимости, что ли, нехватает. Или — как? Простите…

Савинков нахмурился, медленно поднялся с дивана, взял со стола папиросу, постучал о ноготь, закурил, медленно задул огонек спички.

— О таких вещах обычно не спрашивают… Но вам я отвечу… Неделю тому назад Совет народных комиссаров должен был покончить свое существование на станции Любань. Только случайно они избегли возмездия…

Прищурясь, он осторожно поднес папиросу ко рту, выпустил тонкую струйку дыма.

— Знайте, генерал, никто и ничто не остановит карающей руки.

Слова и жесты его были на границе литературного фатовства. Носович поймал себя на том, что любуется…

— Хотите вина? — спросил Савинков. — Мне достали превосходного Амонтильядо.

Глава четвертая

1

Выйдя с вокзала, Марья Карасева оглянула дымящуюся влажным весенним маревом степь, плавающих коршунов. Свет, синева. Марья села на траву, положила голову Мишки к себе на колени, — у него голова висела, до того был худ. Поезд ушел. Теперь только слышно было, как слабо посвистывал ветер в траве, звенели жаворонки.

Марья уехала из Петрограда с продовольственным отрядом. На заводе было много споров из-за этого отряда. Коммунисты кричали, что это срыв плана, самотек, мешочничество… Старые рабочие кричали коммунистам: «Речами брюхо не набьешь. Покуда социализм построите, все сдохнем». Собрали между собой денег, достали солдатской бязи, соли да разного железного барахла — гвоздей, шурупов, дверных петель — и с этим послали шестерых надежных ребят на Дон — менять на муку…

Уговаривали ехать Ивана Гору. Он отказался: «А какими я глазами на Владимира Ильича посмотрю? Гавкать на митингах, скажет, гор-

ласты, — брюхо подвело — лавочку на колесах послали… Это мировой позор». Марье он все же решительно велел взять детей и ехать на юг. Сам усадил ее в вагон, дал детям в дорогу по пяти вареных картошек. «В станице Чирской, Марья, прямо ступай к моему брату Степану. Он тебя приютит. Недели две отдышишься, потом дела для тебя найдутся…»

Алешка принес воды в консервной банке. За дорогу он научился говорить грубым голосом.

— Мать, пойдем в станицу пешие.

— Сейчас, сынок, посижу.

— Мишка, — сказал он, с удовольствием топчась босыми ногами по теплой траве, — пойдем кузнечиков ловить.

У Мишки задорно заблестели глаза, не поднимая головы с мамкиных колен — улыбнулся морщинками:

— Ну, пойдем…

— Успеешь, наловишь, — проговорила Марья, — их тут много. Лучше вон до телеги добеги, может добрые люди подвезут.

По песчаной дороге, правя сытой гнедой лошадью, ехала, стоя в телеге, широкоплечая девушка в линялом, очипком повязанном, платке, ветер отдувал ее заплатанную юбку. Алешка догнал

ее: «Тетенька, подожди-ка». Девушка натянула вожжи, обернула к Алешке смуглое лицо с темными бровями, с неласковыми пристальными глазами.

— Шесть суток, стоя, ехали, тетенька, не спавши, не емши, у мамки ноги опухли…

— К кому в станицу? — спросила она сурово.

— К Степану Горе — Иванову брательнику.

Услышав имя Ивана Горы, девушка изумленно подняла брови, широкое лицо ее осветилось лаской. Кивнула Алешке, чтобы сел в телегу, повернула коня к вокзалу. Соскочила около Марьи, опустила подоткнутую юбку на босые ноги.

— Вещи где?

Марья силилась встать, бормотала, благодарила, — девушка взяла у нее багажную квитанцию. Вещи — тяжелый сундучок и два узла — бегом вынесла с вокзала. Подняла Марью, как ребенка, посадила в телегу на узлы, дала ей на руки Мишку и, не разговаривая, погнала сытую лошадь в станицу. Только, когда Марья спросила: «Как звать тебя, золотая» — ответила с досадой:

— Да Агриппина…

Ехали долго степью, холмами до станицы Чирской. Переехали по мосту извилистую речку Чир, затененную кудрявыми кустарниками. Показа-

лись высокие тополя, мазаные, желтые хаты с крепкими воротами. На широкой улице — куры, занятые своим делом у навозных кучек. Над станичным управлением вылинявший кумачовый флаг, на крыльце, прикрыв лицо фуражкой, дремлет человек с винтовкой между ног. Идет горбатая свинья, свесив на рыло грязные уши, за ней рысцой такие же грязные горбатые поросята. Жгло солнце, отсвечивало в пузырчатых стеклах. Проносились стрижи с белой колокольни…

Марья сказала:

— Вот тишина-то, покой…

На это Агриппина, не оборачиваясь, строптиво дернула плечом. Остановилась около кирпичного белого дома в три окошка, с крепкими ставнями. Агриппина спрыгнула с телеги, стала отворять крашенные охрой ворота.

— Ступайте, — сказала, — вон — до хаты, наискосок, — то хата Степана Горы. Я узлы принесу.

Она ввела телегу во двор. Оттуда грубый голос позвал:

— Гапка… Кого привезла?

— К Степану родственники.

— А я велел коня мучить?

В воротах, затворяя их, показался чернобородый, большеротый казак, средних лет, в рубахе,

заправленной в старые штаны с красными лампасами. Он недобро, из-под черного чуба на лбу, глядел вслед переходившей улицу Марье, одетой в питерскую шубейку с вытертым рыжим мехом, худенькому, с болезненно крутым затылком — Алешке и маленькому Мишке, обвязанному — крест-накрест — вязаным платком…

— Питерские! Ха! — гаркнул казак, разинув большой белозубый рот…

2

В тот же день верстах в двухстах на запад от станицы Нижнечирской, в степном городке Луганске, где на окраинах и в рабочих поселках стояли те же мазаные хаты в три окошечка, но уже без скирд хлеба в просторных огородах, и по улице брела такая же свинья с поросятами, так же мирно цвели вишни и кричали грачи над гнездами, — на машиностроительном заводе Гартмана шел митинг.

Народу было столько, что сидели на высоких подоконниках, на станках, свешивали головы с мостового крана. Председательствовал организатор и начальник луганской Красной гвардии Пархоменко — большой мужчина с висячими усами, в сдвинутой на затылок бараньей шапке.

На трибуне, наскоро сколоченной из неструганых досок, где прямо по доскам написано дегтем: «Не отдадим Донбасса империалистам», — стоял небольшого роста человек, румяный от возбуждения. Бекешу он сбросил, военная рубашка обтягивала его крепкую грудь, край ворота потемнел от пота.

Он говорил звонко, напористо. Веселые глаза расширялись, когда он обводил лица слушателей, — то угрюмые, то мрачно решительные. Вот они раскрыли рты: «Ха-ха» — громко прокатывается под закопченной крышей, и его глаза сощуриваются от шутки. И снова согнутая в локте рука ребром ладони отрубает грань между двумя мирами — нашим и тем, беспощадным, кто наступает сейчас миллионами штыков…

— …Мы должны понять, что только в нас самих решение нашей судьбы. Грозный час пробил. Российская буржуазия призвала на помощь немецкую буржуазию. Им нужно залить кровью пролетарскую революцию… Им нужно захватить наши заводы, наши рудники. И вас, товарищи, приковать цепями к этим станкам…

Ему так внимали — казалось, при иных его словах услышишь, как у тысячи человек шуршат зубы. Ему верили, его хорошо знали — старого

подпольщика, Климента Ворошилова, здешнего уроженца. Во время мировой войны он работал в Царицыне, в подполье, где сколачивал группу большевиков. Преследуемый полицией, бежал в Петроград и там работал в мастерских Сургайло. После февральской революции вернулся в Луганск, издавал газету, писал статьи, был избран председателем совдепа. С мандатом в Учредительное собрание уехал в Петроград. После Октября был там комиссаром порядка. В дни немецкого наступления снова вернулся на Донбасс, вошел членом Совета народных комиссаров в Донецко-Криворожскую республику, и сейчас митинговал с земляками — гартмановскими металлистами.

— …На Донбассе мы должны оказать решительный отпор немецким псам, готовящим в первую голову вам, товарищи, кровавую неволю… Немцы уже окружают Харьков. Революционные красные отряды малочисленны и разбросаны. Центральная рада продала Украину, продаст и Донбасс. Кто согласен протянуть шею под ярмо? (Ворошилов обвел глазами окаменевшие лица.) Таких здесь нет…

Чей-то чугунный голос проговорил вслед за ним:

— Таких здесь нет… Правильно.

Многие обернулись туда, где за чугунной станиной стоял человек, говоривший чугунным голосом. Это был литейщик Бокун (поднимавший руками, когда неудобно было поддеть краном, сорокапудовые отливки).

— Здорово, Бокун! — крикнул Ворошилов. — Так вот, товарищи, по примеру его перейдем от слов к делу…

Пусть немцы встретят на Донбассе двести тысяч пролетарских штыков. Почин за Луганском… Мы должны немедленно сформировать отряд в шестьсот — семьсот бойцов… Выступим навстречу интервентам. За нами каждый завод, каждая шахта пошлют отряды. Оставшиеся должны готовить броневики и бронепоезда. Оружие у нас есть, а нехватит — достанем в бою. Сотня пролетариев, воодушевленных революционной целью, вооруженных классовой ненавистью, стоит бригады империалистических наемников…

— Записывай — Тарас Бокун! — опять покрыл его чугунный голос из-за станка.

Председательствующий Пархоменко, кашлянув не менее густым голосом, чем Бокун, пометил его на листе, пошевелил усами. Навстречу его взгляду начали подниматься тяжелые руки.

— Ставь—Солох Матвей…

— Прохватилов Иван, ставь…

— Чебрец…

Пархоменко опять зашевелил усами:

— Как? Повтори…

— Ну, Миколай Чебрец… Не знаешь, что ли.

— Записывай — Василий Кривонос и другой Василий Кривонос…

Записывались — подумав и не спеша. Пропихивались к трибуне и, моргая, следили, как председатель проставляет его фамилию на листе. Вздохнув, отворачивались:

— Так, значит…

Иной, возвращаясь к товарищам, встряхивал головой:

— Воюем, ребята…

Иной и бахвалился и шутил нескладно. Иной, как оглушенный, глядел перед собой невидящим взором. Все понимали, что дело нешуточное, и уж раз взялся — надо вытянуть. Народ был здесь серьезный…

3

Части первого германского корпуса двигались из Киева на Ромодан — Полтаву в юго-восточном направлении и в северо-восточном — на Бахмач — Конотоп, охватывая глубоким объятием Харь-

ков и весь северный Донбасс.

Оперативный штаб главнокомандующего украинскими Красными армиями не мог установить прочной связи с многочисленными отрядами, разбросанными на подступах к Харькову. Отряды действовали по своему революционному разумению, отступая и скопляясь в местах, которые они считали нужным оборонять.

Не существовало более ни телеграфной, ни телефонной связи. Ориентировались — дозваниваясь до ближайшей какой-нибудь станции, и, если в трубку лаяли непонятные слова, определяли, что станция занята немцами.

Немцы нажимали на Ромодан, и, когда обошли его, красные, отступая, начали скопляться под Бахмачем и Конотопом, загораживая район сахарных и пороховых заводов. Под Бахмач отходили отряды киевских рабочих-«арсенальцев», отряды Шарова, Ремнева. В том же направлении двигался из Харькова «Первый луганский социалистический отряд», — командовал им прапорщик Гришин, комиссаром в нем был Климент Ворошилов. Ядро составляли гартмановские рабочие, остальное — рабочие других заводов и железнодорожники. Еще в пути пришлось вычистить из отряда до полсотни бандитов.

Все эти группы, колонны и отряды, кроме Луганского, заняли фронт под Бахмачем — подковой на юго-запад. Немцы, смутно представлявшие местонахождение и силы русских, наткнулись на них неожиданно: локомотив головного эшелона повалился под откос. По поезду хлестнуло свинцом. Немцы высыпали из вагонов и, когда подтянулись силы, перешли в наступление по всем правилам современного боя.

Красные дрались неровно. Отряд Ремнева, разгромивший в пути конячинский винный склад, под огнем откатился в степь, в овраги и начал митинговать. Бойцы, взбираясь на телегу, раздувая голые шеи, кричали:

— …Ввиду того, что на фронте мы были подвергнуты самому беспорядочному состоянию по причине глупого командования, мы, бойцы партизанского отряда имени товарища Ремнева, протестуем против движения на немцев, потому что с этакой техникой результаты наступления будут нашей предсмертной агонией…

— Голосуйте за протокол, — сбиваясь около телеги, орали горячие от злобы личности… — Не можем драться с этакой техникой… Катись по домам!

Наиболее стойкими оказались киевские «ар-

сенальцы» и красный отряд партизана Капусты, порубивший целый корпус гайдамаков атамана Петлюры: их немцы бросили вперед, как буйволов на частокол. На ровном поле долго валялись и гнили никем не убранные гайдамаки в синих жупанах и красных, как огонь, шароварах.

Немцы пришли в неописуемую ярость, обнаружив на правом фланге красных отлично дисциплинированную часть: это был полк из арьергарда чехословацкого корпуса (из бывших военнопленных), который после Брестского мира начал отступление на восток, в Великороссию.

Ярость немцев разбилась о спокойную стойкость чехословацкого арьергардного полка. Но неожиданно ночью он самовольно снялся с фронта, погрузился в эшелоны и направился на соединение со своим корпусом. Через образовавшийся прорыв немецкая конница зашла в тыл красным частям, и им пришлось откатываться, оставляя немцам и Бахмач и Конотоп.

Луганский отряд, не зная еще об этих событиях, подходил с востока. Восемнадцатого марта эшелон Луганского отряда ворвался через закрытый семафор на станцию Ворожба — в одном перегоне от Конотопа. На Ворожбе все пути были забиты платформами с пушками, товарными вагонами,

где в открытых дверях, свесив ноги, сидели бойцы разных отрядов. Повсюду — костры, шумные кучки людей, звон котелков, белеющие под вагонами зады присевших за надобностью, крики, ржание коней, треплющиеся по ветру портянки и рубахи.

Ворошилов и Гришин пошли на вокзал в комендатуру — доложить о прибытии отряда и по прямому проводу связаться с главнокомандующим. Здесь толкался разный пестрый народ в ватных пальто длиной до пят, з деревенских кожухах, в окопных шинелишках. Боеспособность определялась количеством навешенного оружия, в особенности — ручными гранатами. На вокзале двери выломаны, на полу — вповалку — спящие.

В помещении коменданта в махорочном дыму стояли — особняком каждый — мрачные люди. Они явились сюда с трясущимися от ярости щеками, чтобы получить что им надо, или тут же застрелить, сукиного сына, коменданта. Он, конечно, скрылся.

И они поджидали его, страшась даже взглянуть друг на друга, потому что в глазах ни у кого из них не было пощады.

— Пойдем, найдем коменданта, — спокойно сказал Ворошилов. Он знал вокзальные порядки

и прямо прошел в пустую багажную каморку. Там на лавке для багажа спал комендант, завернувшись с головой в кожух. Ворошилов начал трясти его, покуда тот не высунул из-за кожуха свинцовое опухшее лицо.

— Ну? — сказал комендант, косясь — нет ли у них в в руках оружия.

— Ты чего же? — спросил Ворошилов.

— А вам чего надо?

— А то, что я должен тебе доложить о прибытии отряда.

— Ну, докладывай.

— Пойдем в комендантскую.

— Не пойду. Это бесполезно. Я семь суток не спал. И он опять полез под кожух, но Ворошилов сбросил его ноги с полки и отчетливо выговорил о прибытии Луганского отряда в пятьсот штыков.

Комендант моргал. Слова, какие бы страшные ни были они, отскакивали от его мозга.

— Ну, прибыли, — проговорил он, — прибыли, выгружайтесь.

— Требуем пропустить наш эшелон на Конотоп, на фронт.

— Невозможно. Забиты все пути.

— Мы требуем соединить нас по прямому с главнокомандующим.

— Невозможно, боже ж ты мой…

— Почему? Где командующий? В Конотопе?

— А чорт его знает — где командующий… Провода не работают… Вообще — большая путаница…

— Хорошо… Тогда мы знаем — как нам поступать.

— Поступать не имеете права, — с вялой угрозой сказал комендант, опять косясь на ручку нагана, торчащую из кобуры у Ворошилова.

Больше здесь нечего было делать. Ворошилов и Гришин вернулись к эшелону. Гришин от негодования шипел, как гусак. Бывший прапорщик, сын фельдшера, Гришин был неплохим парнем, но, видимо, в командиры ни к чорту не годился. Расставив длинные, без икр, ноги, он говорил:

— Что же нам делать, товарищ Ворошилов? Мы прямо в какой-то ловушке… Тут прямо какая-то каша из небоеспособных элементов. Стоять здесь, — наши ребята прямо-таки разложатся.

Маленький подбородок у него, когда он разговаривал, скрывался в вороте суконной рубашки. Командир должен нравиться бойцам и твердой находчивой речью, и строгим, а когда нужно — веселым блеском глаз, и храбростью, и всей повадкой. Гришин не пил водки, не курил, был честен до простоты. Но Ворошилов уже понимал,

что с таким командиром много не навоюешь.

— Поставь караульных, чтобы никто из вагонов не выходил под страхом смерти, — сказал он Гришину. — Приходи в мое купе, будем совещаться.

На совещание Ворошилов позвал начальника разведки — Чугая, матроса черноморца. Было решено: первым делом выяснить обстановку: где немцы? И соответственно этому занимать фронт, действуя самостоятельно, поскольку связь с командующим не установлена.

Чугай спросил чарку спирта и по-морски — косолапо — полез из вагона, выкрикивая охотников. Гришин должен был до получения сведений от разведки накормить бойцов и беречь их от разлагающих слухов. Ворошилову предстояло самое трудное: достать паровоз, платформы и вывести их с охотниками на свободный путь.

Вначале с ним не желали разговаривать.

«Ты кто такой? — с угрозой спрашивали атаманы отрядов. — Отойди от вагона. Отойди далеко…»

Железнодорожники отворачивались: «Ничего не знаем, никаких паровозов, площадок нет».

Настойчивый, веселый — в зеленой бекеше на бараньем меху, — он бегал по путям, залезал в вагоны, на паровозы, знал уже, кого как зовут, у

кого какой характер, — одного — убедил, другого — напугал, тому — пригрозил, третьему — рассказал про немецкую оккупацию в таких горячих словах, — человек начинал засучиваться.

И вот все бесформенное скопление поездов и людей пришло в некоторое движение: где толкнули вперед состав, где подались назад. Грязный, сопящий паровоз и две платформы были выведены на первый путь. Поставили орудие, пулеметы, погрузили снаряды. Семьдесят пять охотников, обвешанные гранатами, полезли на платформы. Ворошилов, Чугай и пропагандист отряда встали на паровоз. Поезд вышел на Конотоп.

На западе, куда уходила полоска рельсов, зеленела мирная степь. Из-за ее края поднималось, — не могло подняться, — облако, похожее на снежную гору. Быстро приближались — проскакивали телеграфные столбы с опадающими проволоками и птицами на них.

Паровоз прибавлял скорость. Проплыла железнодорожная будка, бочка на телеге, белая коза, со страхом потянувшая веревку прикола. Сторож что-то кричал, испуганно махая неразвернутым флагом.

Чумазый машинист прокричал:

— На перегоне неблагополучно!..

Чугай сказал ему лениво, сквозь зубы:

— Давай, давай пару, что ты — спишь.

Чугай, навалясь боком на поручни площадки, подставлял ветру широкую шею, налитую силищей грудь. Ему всегда было жарко. Все на свете казалось ему слишком медленно двигающимся. Ветер бил в его широкое, неподвижное лицо, с закрученными усиками и светлыми, круглыми, как у птицы, глазами.

Ворошилов, перекрикивая лязг колес, спросил: не будет ли осторожнее выслать разведчиков, не доезжая до Конотопа? Чугай, не оборачиваясь, свернул губы:

— Не надо осторожнее… Подойдем на полной скорости. Там разберемся…

Высунувшись по пояс с площадки, он стал махать ребятам, чтобы готовились. Пролетели железнодорожную будку на двенадцатой версте от Конотопа. Впереди, на фоне белого, как снежная гора, облака обозначился паровозный дым. Ворошилов тронул машиниста за плечо:

— Давай тихий…

Завизжали тормоза, паровоз дышал, запыхавшись. Когда пар отнесло, впереди — верстах в двух — ясно был виден германский бронепоезд — купола башен и блиндированный паровоз.

Дали задний ход, но было уже поздно. Из башен вылетели ржавые дымки. Снаряды взвыли из синевы. Грохочущие космы земли, дыма, огня поднялись перед самым паровозом и — правее — у платформы. Два громовых удара потрясли степь. Взвизгнули летящие осколки. Ворошилова сорвало с паровоза на насыпь. Он скатился под откос, вскочил, обсыпанный землей, оглушенный. Снова прошипел снаряд, — удар, слепящий огонь… Спина паровоза раскрылась со скрежещущим взрывом, словно в отчаянии посылая высоко в небо свою душу в облаках пара.

Одновременно второй снаряд второй очереди ударил в заднюю платформу. Люди, не успевшие соскочить, взлетели вместе со щепами и комьями земли, и разорванные остатки их тел в клочьях дымящейся одежды были раскинуты по степи.

От разведывательного отряда осталось меньше половины бойцов, развороченный, осевший набок, паровоз и горящие платформы, где в огне рвались жестянки с патронами.

Чугай был контужен — кружился под насыпью, силясь встать на ноги. Пропагандист отряда растерянно стряхивал пыль с лацканов пальто. Бойцы — кто лежа стрелял по немцам, кто ошалело глядел на горящие остатки поезда.

Прошло несколько минут с первого орудийного выстрела.

Нужно было немедленно принимать решение. (Снова рыжий дымок из башен бронепоезда.) Ворошилов побежал к бойцам:

— Выходи из линии огня. Подбери винтовки… Скрытый дымом и пылью разрыва, он перелез через полотно и по ту сторону, крича, ругаясь, тыча наганом в ошалелых бойцов, велел поднимать раненых, отступать:

— Спокойно, хлопцы… Ничего страшного.

С остатками отряда он отошел, унося на шинелях семерых раненых. Немцы послали вдогонку очередь, но, видимо, пожалели тратить снаряды ради кучки людей. Бронепоезд стоял на горизонте, на фоне снежной тучи, густо дымил.

Зайдя под прикрытие железнодорожной выемки, Ворошилов приказал развинчивать рельсы. Бойцы положили раненых на траву. Глядели на рельсы, качали головами. Чугай силился что-то выговорить, но только перекашивал посиневшие губы. Ключей — развинчивать рельсы — ни у кого не оказалось.

— Не годится, — сказал Ворошилов. — Надо сходить к поезду. Ключей было много.

Сидя на корточках, он быстро оглядывал лица.

Один хмуро отвернулся, другой засопел, не глядя в глаза…

— Добровольно. Кто пойдет?

— Ладно. Я сбегаю, — сказал Бокун.

Он был без шапки с обгоревшими волосами, в стеганом жилете из зеленого коленкора.

— Сейчас разуюсь, Климент Ефремович.

Он присел на рельс и начал разматывать бечевки, — ими были прикручены к босым ногам резиновые калоши.

— Ребята, смотрите — поберегите калоши…

Он подмигнул Ворошилову и пошел, точно по горячему, — босыми ногами по щебню насыпи, спустился на траву — и ух, тут мягко — запустил, мелькая черными пятками.

На станции Ворожба началась паника: никто не ждал германского бронепоезда на этом перегоне. Лазали на водокачку — глядеть в синеватую даль, где колебался весенний воздух, и оттого, что на горизонте ничего не было видно, — еще грознее казалась опасность.

Как налетевший степной ветер вдруг завертит пыль на дороге, так по всей станции закрутились беспорядочные митинги. Надсаживаясь, орали командиры, грозя наганами с площадок вагонов. Дымили паровозы. Дергались, громыхали соста-

вы с бойцами на крышах вагонов. Часть отрядов отступила в эшелонах. Часть ушла грунтом. К вечеру на опустевшей станции остался один Луганский отряд. Командир Гришин мужественно выполнил приказ комиссара: никто из бойцов не покинул эшелона, никто из посторонних на десять шагов не подошел к вагонам.

Гришин не знал — жив ли Ворошилов. На горизонте каждую минуту мог показаться дым бронепоезда, — нужно было одному, не колеблясь, принимать решение, выгружаться, занимать фронт или отступать. Но решение, как всегда у Гришина, попадало в вилку разноречивых идей.

С наганом в левой руке, с гранатой в правой, он шагал, как цепной кобель, вдоль вагонов. Он решил ждать утра. Солнце закатывалось, увеличиваясь до неестественных размеров. Гришин присел на вагонную ступеньку. Широко разливался свет зари—оранжевый, зеленоватый, предвещающий безветрие… «Рисковать своей шкурой, — пожалуйста… Но я же отвечаю — шутка! — за пятьсот бойцов… При чем же тут нерешительность…»

В быстро темнеющей лиловой высоте разгорались звезды. Послышалось цоканье копыт спотыкающейся лошади. Гришин свирепо за-

кричал:

— Кто идет?

Человек соскочил с лошади, — таща ее за повод, подошел.

— Свои, свои…

От радости Гришин нелепо взмахнул руками: это был Ворошилов. Он сказал, положив руку на понурую шею крестьянской неоседланной лошаденки:

— Пошли человек двадцать — взять раненых из телег. Бойцов накорми. Рельсы мы кое-где разобрали. Мосточков подорвать не смогли. Пошли на паровозе команду, — на пятой версте и на четырнадцатой надо подорвать мосточки…

— Немцы в Конотопе?

— Немцев жди к утру.

— Значит, — как же мы, товарищ комиссар? С одной стороны…

— А ты решай без одной и без другой стороны.

В голосе его была насмешка. Но Гришин так обрадовался, что комиссар жив, — только беззвучно хихикал, пряча маленький подбородок в воротник гимнастерки.

— Ну? — уже с угрозой спросил Ворошилов. — Будешь драться или отступать?

— Видишь ли, я так рассуждаю: наши под

Конотопом разбиты, связи нет… Но где немцы — неизвестно. Это уже дает обстановку. Если мы отступим — мы не выполним задания… Значит, опираясь на неизвестные нам данные, мы должны войти в соприкосновение с противником…

— Фу ты! — Ворошилов тряхнул головой (и понурая лошаденка мотнула головой). — Где ты научился этакой диалектике? Выгружайся сию минуту. Давай — митинг…

— Это и мое решение, Ворошилов.

— Правильно.

— Постой, ты, наверное, голодный?

— Шутка сказать — голодный! Ну, давай, давай, — выгружаться.

Гришин, перегнувшись с площадки вагона, держал коптящий кондукторский фонарь. Ворошилов на нижней ступеньке говорил бойцам, теснившимся у вагона:

— …Только бандит и предатель может брехать в такой серьезный час, — будто нам не справиться с немцами. Кто это крикнул?.. Не справимся с немцами? Подними, командир, фонарь, — хочу узнать в лицо предателя…

Человеческих лиц не было видно, в тусклый свет фонаря попадала ввалившаяся щека с отросшей щетиной или горящие глаза под на-

двинутыми бровями… Резкий голос Ворошилова разносился по тесно и близко придвинувшейся толпе бойцов:

— …Революционной волей самих трудящихся мы должны установить железную дисциплину… Командир приказал занять фронт, — умереть, а врага не пустить на Донбасс… Этот предмет не подлежит обсуждению… Подлежит обсуждению вопрос — как нам укрепить дисциплину. В наших рядах нет места паникерам и провокаторам… Приказываю — этому, кто крикнул, что нам не справиться с немцами, — выходи к фонарю!..

Он вызывающе протянул руку. Фонарь качался над его головой, — по крепкому лицу его ползали тени, весь он был напряжен. На секунду масса бойцов затихла. Необъятно раскинулись звезды над головами, над вагонами, над черными очертаниями вытянувшихся к звездам пирамидальных тополей… Как ветер, полетел по толпе бойцов нарастающий ропот. Где-то позади — вдруг дикий крик: «Это не я!» И голоса: «Врет! Бери его!..» Толпа зашумела. Раздались удары. Вопль: «Давай его, давай!..» Бойцы раздались, и сквозь их толпу был выброшен к подножке вагона человек в городском пальто. Он тяжело ткнулся, силился приподняться, повалился набок.

Ворошилов вырвал у Гришина фонарь. Нагнулся, освещая разбитое в кровь лицо человека.

— Понятно, — сказал он. — Этого молодца я еще утром заметил на вокзале.

И он быстро фонарем заслонил его от бойцов, придвинувшихся для расправы. Человека подняли. Он крутил головой, валился, не хотел стоять. Несколько рук залезло ему в карманы, вытащили документы; наклонившись к фонарю, прочли, смутились: человек этот оказался рабочим киевского депо из отряда Ремнева. Шмыгая носом, со слезами он повторял:

— Напрасно меня убили, ребята… Ах, напрасно…

По лицам бойцов было видно, что напрасно погорячились, уже кто-то нехорошо покосился на комиссара. Локтями раздвигая бойцов, к человеку придвинулся Бокун. Вглядываясь, положил огромную руку на плечо ему.

— Ребята, а я ж его знаю. Ему фамилия другая. — Бокун вдруг рассердился, закричал чугунным голосом: — Это не ты ли зимой кричал за Учредительное? Жаба!..

Еще до рассвета Луганский отряд верстах в пяти от станции занял позицию — по обеим сторонам полотна. Ворошилов остался в Ворожбе, чтобы

вернуть и организовать хотя бы часть отступивших давеча отрядов.

Утро было безоблачное, безветреное. Жарко пели жаворонки над свежезелеными полями. Бойцы, положив винтовки на холмики земли, подставляли солнцу спины; иной, сняв рубашку, с удовольствием поводил лопатками, почесывался. Волнистая степь была безлюдна. Гришин стоял, как жердь, на крыше железнодорожной будки, оглядывая в бинокль горизонт… Правее железнодорожного полотна, по холму, едва различаемые, ползли всадники — Чугай с разведкой.

— Разлагающая обстановка, — проворчал Гришин, опуская бинокль. — Сволочь — эти жаворонки…

Действительно, трудно было придумать более неподходящую обстановку для того, чтобы убивать и умирать в такое благодатное утро. Здесь бы итти за плугом, понукая седых, как серебро, слюнявых волов. Здесь бы, на пороге мазаной хаты, попросить крынку холодного молока у полногрудой дивчины со смеющимися глазами, под пение жаворонка пить это молоко, косясь на девичьи щеки, осмугленные весенней прелестью.

— Слушай, завхоз, — сердито крикнул Гришин с крыши, — готовь бойцам обед. Что у тебя се-

годня?

— Кулеш, — ответил завхоз, царапая щепочкой пузо тощему щенку.

За холмами, не с той стороны, куда все время глядел командир, а с северо-запада, солидно застучал пулемет. Гришин даже присел, бинокль запрыгал у него в руке. Слева, тоже за холмами, застучал другой пулемет. По степи покатился орудийный удар.

Гришин съехал с крыши и, придерживая полевую сумку, побежал к передовым окопам.

За минуту перед тем, как застучать германским пулеметам, боец Иван Прохватилов поругался с бойцом Миколаем Чебрецом. В наскоро выкопанных окопах было тесно, — бойцы Матвей Солох, оба Кривоноса и Миколай лежали около на земле, — кто грыз горький стебелек, кто, прикрыв ладонями затылок, дремал — носом в полынь. Иван Прохватилов, в разодранной на груди рубахе, сидел, поджав по-татарски босые ноги. Круглое казачье лицо его, с маленьким ртом, было злое, насмешливое.

— Ты меня с собой не равняй, хохол, — отчетливо говорил Прохватилов, и покатые сильные плечи его играли под рубашкой. — Мы ровня в цеху. А на Дону мы не ровня…

— Дурак ты, — ответил Миколай Чебрец, грызя травинку. — Что ты казак — у тебя кровь, что ли, горячей?

— Моей крови тебе не пробовать… Ее немецкая сабля пробовала… А твою кровь кто пил бесславно? Иона Негодин твою кровь пил, хохол…

Миколай отвечал нарочно — ленивее чего уж нельзя:

— Ты — заносчивый… Все вы, казаки, были нахалами и ворами, нахалами и ворами остались на вечный аминь…

Иван Прохватилов не сразу ответил, — маленький рог его приоткрылся, белые, крепкие зубы сжаты, с усмешкой пристально глядел на Миколая, пальцы загорелой ноги впились в горячую землю.

— Жалей, жалей, напрасно ты обидел меня, Миколай…

Тогда старый рабочий, Матвей Солох, видя, что, пожалуй, не миновать драки, солидно кашлянув, сказал разумно:

— Довольно вам горячиться, хлопцы! Чего не поделили? Оба вы — рабочие, оба умываетесь кровью за советскую власть. Давай покурим…

Спор у них пошел из-за девки — Агриппины, сестры Миколая Чебреца. Оба были из станицы

Нижнечирской: Иван — казак, Миколай — иногородний. Оба голодовали. Оба ушли на завод. Иван стал ругать Миколая за то, что сестра его работает батрачкой у богатого казака Ионы Негодина, всему Дону известного снохача и озорника.

«Да я бы мою сестру Анютку лучше своими руками удавил, чем отдать на такой позор… Эх вы, хохлы — одно слово…»

Миколай обиделся — ответил, что у иногородней девки и у казачки одно устройство, и прохватиловской Анютке нечего будет жрать — в те же ворота побежит за куском хлеба. Так, слово за слово, забыв уже про девок, начали считаться. У Ивана заговорила казацкая кровь, у Миколая — мужицкое упрямство.

— Кулаки отмотаете, покуда все споры решите, — еще вразумительнее сказал Матвей Солох, доставая из штанов кисет с махоркой. — А надо, хлопцы, решить главный спор — за советскую власть.

В это время и застучали пулеметы. Иван Прохватилов, будто его обожгло, схватил винтовку, оскалясь, искал бегающими зрачками еще невидимого врага. Бойцы повалились за окопы. Ржавыми дымками беспорядочных выстрелов закурилась передовая линия.

Командир Гришин, подбегая, что-то кричал. Со стороны Ворожбы бухнуло единственное оставшееся орудие отряда, снаряд свистнул над головами. Гришин остановился, задрав локти — водил биноклем по горизонту. Пулемёты стучали все настойчивее, грознее, будто подползая, — справа, слева… Пули дымили пылью перед окопами… выходило совсем не так, как предполагал Гришин: немцы, не обнаруживая себя, сметали огнем редкие цепи красных.

Взвыл и лег неподалеку тяжелый снаряд — рванул, казалось, сто тонн земли, опрокинул ее на окопы. Гришин продолжал торчать на поле, раздвинув ноги, подавая пример мужества: больше он ничем не мог помочь. Вся степь ухала, стучала, сотрясалась. Впереди за курганами поднялись железные шлемы, показались немецкие цепи.

Из окопов побежали двое, нагибаясь. Гришин закричал: «Назад!» Бойцы легли. Еще и еще — вихрь земли, свистящих осколков… Мимо Гришина пробежали трое. Это было отступление. Он кинулся к ним: «Назад! Позор!» Полз человек, из оторванного рукава торчала розовая кость… Гришин побежал к окопам: «Товарищи, держитесь!..» Прохватилов волочил, ухватив подмышки, Миколая Чебреца… «Не видишь, чорт! — задыхаясь,

крикнул он. — Обходят… Кавалерия!..»

С северных холмов спускались всадники, — германские драгуны, численностью не менее эскадрона, на рысях заходили с правого фланга в тыл.

На косматой лошаденке Ворошилов врезался в толпу бегущих. С глазами, круглыми от напряжения, без шапки, страшный, — с верха за плечи хватал бойцов, толкал их лошадью, крича, крутил наганом:

— Стой! Такие-сякие! Назад! Бокун! Солох! Прохватилов! Кривонос!

Вертелся, как чорт, среди бойцов: круглые глаза… кричащий рот… взмах лошадиной гривы… цепкая рука, рванувшая рубаху… оскаленная лошадиная морда… револьвер прямо в глаза… Ругался, хватал, толкал…

— Стой! Убью! Вперед… За мной!

Его собранная воля ворвалась в толпу суровых, мужественных, растерявшихся людей. Он сосредоточил на себе внимание, мгновенно стал более сильным фокусом, чем то, от чего бойцы побежали… Он обрастал людьми — энергичный, крепкий, на храпящей кусающейся лошаденке.

Огромный Бокун опомнился первым — обернулся в сторону немцев, вогнал обойму в винтов-

ку… Вокруг Ворошилова, его косматой лошади сбилось несколько десятков бойцов, и он приказал им сделать то единственное, что было нужно: залечь цепью и стрелять по драгунам…

Нагнувшись к гривам, немцы — всего в полуверсте — вскачь заходили в тыл; было ясно видно, как сверкали их прямые палаши.

Ворошилов поскакал дальше, собирая бегущих, — теперь их уже было легче вернуть к залегшей, стреляющей цепи… Бойцы, подбегая к лежащим, стреляли. Было видно, как один драгун начал заваливаться, и конь, шарахнувшись, поволок его за стремя.

Теперь почти весь отряд рассыпался, залег и бегло бил по драгунам. Всадники падали. Передние начали поворачивать, хлеща палашами по конским крупам, уходили за холмы…

Драгуны были отброшены. Ворошилов послал часть отряда с двумя пулеметами на северные холмы — прикрыть фланг от новой попытки обхода и со всеми оставшимися — около трехсот бойцов — пошел навстречу немецким цепям.

Он велел Бокуну развернуть красное знамя и нести впереди, рядом с собой. Он подобрал винтовку и шел, почти бежал, не нагибаясь под свистящими пулями.

Бойцы стали забегать вперед него. Отряд, разгорячась, бегом шел на немцев, оглашая степь бешеной руганью. Многие падали, роняя вперед себя винтовку.

Немцы не ждали такого натиска, — огонь их становился все торопливее, все нервнее…

— Ура! — закричал Ворошилов, проталкиваясь вперед.

— Ура! — заревел Бокун, размахивая знаменем.

— Ура… Ура!.. — Прохватилов, оба Кривоноса, Солох, — с выкаченными глазами, раздирая криком глотки, — заскочили вперед, кидали гранаты…

Немцы не приняли штыкового боя — поднялись, отстреливаясь, пятились… Побежали…

— С таким командиром нам пропадать, как баранам… Напрасно, товарищи, льется дорогая кровь… Напрасно заплачут наши семьи.

— Правильно… Скидывай Гришина… Не хотим Гришина, — загудели голоса.

В темной степи, окопавшись после долгого преследования немцев, бойцы собрались в круг под звездами.

Бойцы рассуждали, что в таком опасном деле нужен умный, находчивый и отважный командир. Злобы на Гришина не было, — пусть его

берет хозяйство на место убитого завхоза. Но командиром его не хотели. Командиром единогласно постановили выбрать Ворошилова.

За ним пошел Бокун и привел его в круг. Ворошилов поблагодарил бойцов за доверие и — отказался.

— Не принимаем. Хотим тебя командиром, — зашумели бойцы.

Выждав, когда отгорланят, Ворошилов сказал:

— Хороша у нас будет дисциплина, когда в боевой обстановке на митинге станем скидывать командиров… Гришин — наш начальник, в его руках наша судьба. Будь я на его месте, дорогие товарищи, всех, кто сейчас кричит, без пощады предал бы военному суду.

Он сказал это резко и оборвал речь. Стало так тихо, слышно было, как хрипит дергач в сырой лощине неподалеку. В круг протискался Гришин. Заикаясь от волнения, заговорил срывающимся голосом:

— Я ваш командир… Требую повиновения… Ввиду исключительной обстановки допускаю этот митинг… Ввиду того, что не могу справиться с вами, как это показало сегодняшнее беспорядочное отступление… Ввиду важности общего дела… Своею властью слагаю с себя обязанности

командира… Становлюсь рядовым бойцом… Голосую за товарища Ворошилова… И требую, так сказать, чтобы он подчинился общему решению.

4

Агриппина несла мокрый бредень и ведро с окунями. Позади стучал подкованными сапогами Иона Негодин. Подняв черную бороду, из-под козырька казачьей фуражки с досадой поглядывал на голые агриппинины ноги, по которым хлестал мокрый подол, на ее прямую крепкую спину. Шли берегом Чира — красивой речки, неподалеку впадавшей в светлый Дон, скрытой за густыми зарослями.

Годы ли Ионы уж были не те, или времена, что ли, были не те, — такой неподатливой, злой девки ему сроду не попадалось. Бывало, каких объезжал степных кобыл!

Бывало, шутя, в разлив переплывал Дон, когда, обманув спящего мужа, молодая казачка поджидала его ночью, притаясь у омета соломы.

Раз вечером Агриппина тащила охапку сена, Иона схватил ее за сильные бока: обернулась резко, — у него разлетелись руки, — сказала:

— Брось, не люблю этого.

— Но, но, тише — женщина…

— В последний раз — брось…

И пристально взглянула из-под темных бровей… (Золотом бы одарил такую.)

— Жаловаться не побегу, а ножу в тебе быть. Изловчусь, попомни, Иона Ларионович.

Он закричал, затопал сапогами на нее. Мотнула подолом, ушла в конюшню. Давно бы прогнать такую стерву, и все-таки держал ее.

На том берегу Чира белели гуси, лежали красные волы с белыми масками, с длинными рогами. На этом берегу, около самой тропинки, по которой шла Агриппина и за ней Иона, сидела больная Марья.

Ее меньшенький играл внизу на песке с детьми, старшенький, по колено в еще студеной весенней воде, вместе с голыми мальчишками ловил решетом мальков. Тих и светел был день над Чиром, над заливными лугами.

Иона, проходя мимо Марьи, круто остановился.

— Питерская… Почему твои дети с казачьими детьми играют?

Марья подняла бледное лицо, испугавшись, спросила:

— А чего же им не играть?

— Чего, чего! — передразнил Иона и указал на

сидевшую на песке собачонку: — Будут твои дети сосать молоко у сучки…

И он пошел, стуча подковками. Марья ничего не поняла, заморгала ему вслед. Агриппина, видимо, хорошо поняла, но промолчала, только тихо сказала Марье: «Зайду вечером…»

По деревянному мосту через Чир шагом ехал здоровый казак на низенькой лошаденке. Иона Негодин, запустив когти в бороду, стал ждать, когда казак переедет мост. Лошадка нелегко несла его семипудовое тело: и ростом и в плечах он был покрепче Ионы, пожалуй, что вдвое, — с круглым лицом, круглой головой, прямо переходящей в могучую шею. На нем был расстегнутый кожух, плохие сапоги, старая фуражка с засаленным дочерна красным околышем.

— Здорово, Иона Ларионович, — густо сказал он, не слезая с коня, — только тряхнул фуражкой и подмигнул на ведро в руке Агриппины: — Ну как улов?

— Здорово, Аникей Борисович, — ответил Иона и опять блеснул зубами. — Да что улов! Мелкий окунишко. Что теперь хорошего-то…

— Плохо, я вижу, казаки, живете на Нижнем Чиру, — сказал Аникей Борисович, нагнав на глаза веселые морщинки. — Рассказывай бабушке,

козел, какой у козы хвост поджатый…

Иона отвел глаза. Ждал, чтобы Аникей Борисович отъехал. Но тот стоял и тоже с усмешкой глядел сверху на Иону. Еще в царское время самый был скандальный, опасный казачишка, а сейчас похоронил казачью честь: стал членом совета в Пятиизбянской станице на высоком берегу Дона.

— А ведь в лошадке твоей, пожалуй, двух вершков нехватает, не по казаку лошадь, — сказал Иона.

— Что ж, Иона Ларионович, по бедности на низенькой ездим. В позапрошлом году за эту лошадку окружной атаман мне когтями лицо рвал… При советской власти ничего — езжу.

— На ней только теперь и ездить…

— Не в вершках сила, и на ней повоюем.

— С кем же воевать собираетесь, пятиизбянские казаки?

— С врагами советской власти…

Иона начал понимать, что Аникей заводит опасный разговор. Для этого, конечно, и приехал сюда — в Нижнечирскую (где издавна был окружной центр и прежде сидел атаман, а сейчас на месте атамана — ревком).

— Врагов тут у нас нет как будто.

— В добрый час, — уже сурово ответил Аникей Борисович. — А мы кое-что слышали.

— Ага! — Иона совсем насторожился. — Про что же вы слышали?

— Третьего дня будто бы на твоем дворе Гаврюшка Попов, пьяный, кричал слова…

— Гаврюшка — дурак известный.

— Вот то-то, что дурак… Кричал: «Погодите, такие-рассякие, на двадцатое в ночь — оседлаем коней, — или эта вещь случится, или нам к немцам уходить…»

— Не знаю, про какую вещь кричал Гаврюшка…

— Не знаешь?

Иона опять отвел глаза от раскрытых, заблестевших глаз Аникея Борисовича.

— Ну, не знаешь, — сами узнаем…

Аникей Борисович толкнул каблуками лошадку и рысью взъехал на изволок, скрылся на станичной улице с двухэтажными белыми кирпичными лавками, белой церковью на пыльной площади. Только теперь Иона заметил, что Агриппина, держа бредень и сачок на плече, слушала весь их разговор. Он закричал бешено:

— Глаза разинула, сука! По дворам трещать, сплетни разносить! Я тебе ужо пятки пригну к

затылку. Пошла домой!

Степан Гора — такой же длинный, худой, носатый, как и брат Иван, но намного его смирнее, — Марья и ее дети ужинали в сумерках. Огня не зажигали, не было керосина. Богатые казаки привозили керосин из Царицына, — там все можно было достать у спекулянтов, понаехавших из Москвы. В станицах про керосин забыли. За простую иголку давали курицу, а то и поросенка.

— У нас на севере, — заговорила Марья, — в деревнях стали лучину жечь.

Степан Гора, удивясь, качнул головой. Он думал медленно и говорил медленно. Торопиться некуда. Степан третий год вдовствовал. А теперь было не скучно приходить в сумерки домой: хата подметена, стол к ужину собран, дожидаясь — за столом сидит приятная тихая женщина и смирные хлопчики… Хлеба на четверых хватит.

Степан хлебал из эмалированной тарелки, каждый раз кладя ложку и долго жуя. Алешка делал все, как. Степан, и учил брата, толкая его коленкой, класть ложку и долго жевать.

— Заходила в совет, обещались дать работу по школьному сектору, — сказала Марья. — Но обещали неопределенно… Там один такой сердитый…

— Чего торопиться? Время придет — свое отработаешь. — Степан взял вяленого судака и отдирал мясо от кости. Кусок дал Алешке, кусок дал Мишке. — А кто, говоришь, там сердитый-то?

— Секретарь, что ли, Попов.

— Ага… Гаврюшки-озорника батька. Там почище в совете сидят: дьякон Гремячев, Гурьев да Пашка Полухин. Люди известные… Еще что-то будет.

У Марьи дрогнули губы, но сдержалась. Алешка — хриплым шопотом брату:

— Подавись, подавись, постылый… Не соси, ты его грызи…

Хлопнула калитка. Степан медленно повернул голову к двери. Вошла Агриппина. Поклонилась, низко нагнув одну голову, села поодаль на лавке.

— Садись с нами, — сказал Степан.

— Ужинала.

Степан настороженно поглядел на нее. Окончили ужинать, Марья убрала со стола. Он, привстав, потянулся к божнице, где на треугольной полочке стояли: бутылка из-под керосина, лампа без пузыря, — достал из-за черного образка обрывок газеты, примерившись, оторвал узкий лоскуток, высыпал из кисета крошки табаку, свернул, закурил и, закашлявшись, сказал Агриппине:

— С чем пришла?

Она вполголоса быстро начала говорить:

— Аникей Борисович здесь был, и он уехал назад еще засветло другой дорогой, и это видели Пашка Полухин и Гурьев, — и они кричали у Ионы на дворе: «Все равно — Аникею от нас не уйти…» С ними был Гаврюшка Попов, и он оседлал коня и запустил в станицу Суворовскую…

— Значит — к Мамонтову…

— Да… Мамонтов в Суворовской, приехал с низовья… Я была на сеновале, все слышала; у них и день сговорен…

Степан опять покашлял, чтобы не выдать тревоги:

— Какой день?

— Двадцатого в ночь будут седлать коней… Агриппина сидела неподвижно, держась за лавку.

В сумерках темнели ее широкие глаза, чернели высокие брови на красивом лице.

— Марью с детьми ты, может, на хутор пошлешь, Степан?

— Да, — сказал Степан. — Этого надо было ждать… Нет, Марья пускай здесь останется… Не с детьми, не с бабами они собираются эти дела делать…

Глава пятая

1

Иван Гора с делегатами от петроградских заводов сидел за длинным столом в чинном и тихом кабинете Совета народных комиссаров. За окном — стая московских галок, обеспокоенных все более скудным продовольствием, кружилась над зубцами кремлевских стен. Чинная тишина кабинета, четвертушки бумаги на вишневом сукне, кресла в чехлах, медленное тиканье стенных часов — все это понравилось делегатам, — здесь советская власть сидела прочно.

Вошел Владимир Ильич, все в том же поношенном пиджачке, — свой, простой. Вошел из боковой дверцы и сейчас же притворил ее за собой, повернул ключ.

Коротко поздоровался. Все встали.

— Садитесь, садитесь, товарищи! — Он сел в конце стола на дубовый стул со спинкой, — выше его головы. Быстро оглядел худые, морщинистые, суровые лица рабочих, и по глазам его, желтоватым и чистым, с маленькими, как просинка, зрачками, было заметно, что сделал соответству-

ющий вывод. Заметив Ивана Гору, приподнял бровь. Иван Гора улыбнулся большим ртом от уха до уха.

Ленин вытащил из портфеля, лежащего на коленях, исписанный листок, положил его перед собой и опять поднял голову. Лицо у него было осунувшееся, как после болезни.

Делегаты молча глядели на него, иные вытягивали шеи из-за плеча товарища. Многие видели Ленина в первый раз. Они приехали к нему в Кремль по крайней нужде: Петроград умирал от голода. Деревня теперь и за деньги не давала хлеба. Голод все туже затягивал пояс на пролетарском животе.

— Рассказывайте. Будем думать — какой найти выход, — сказал Владимир Ильич и опять, приподняв бровь, взглянул на Ивана Гору. — На свете не бывает «ничего невозможного».

Иван ахнул: «Помнит!» Смутился, и оттого, что не мог не глядеть на Владимира Ильича, не улыбаться от уха до уха при виде его, — покраснел густо.

Сидевший рядом с Лениным депутат, старый, в железных очках, положив отекшие руки на лист бумаги, начал:

— Плохо, Владимир Ильич. Голодуем. Держим-

ся, крепимся, пролетарскую свободу не продадим. Но тревожимся: до урожая ждать три месяца, а есть нечего, детишки по весне начали помирать. Жалко, Владимир Ильич. У женщины шатается воображение. Еду только во сне видим.

Другой депутат, широкоплечий новгородец, мрачный и красивый, с упавшими на лоб черными кудрями, сказал, не глядя ни на кого.

— Две недели петроградские районы могут продержаться при условии осьмушки. Через две недели начнем помирать. На заводах где половина, где и больше рабочих военного времени — ушло. Мы о них, пожалуй, и не жалеем. Осталось пролетарское ядро. Но его надо кормить…

Другие депутаты, не спеша, рассказывали подробности о бедствиях голода, о том, как приходится заставлять частников выпекать хлеб со ста процентами припеку: «Получается такой жидкий хлеб, Владимир Ильич, горстями его черпаешь, и этой гадости выдаем только по осьмушке».

Рассказывали о беспорядках в продовольственных управах, где повсюду наталкиваешься на тайных организаторов голода. На заводах — то тут, то там вспыхивает недовольство и обнаруживаются шептуны; одного обнаружат, на месте его — двое. Продотряды посылаются неоргани-

зованно, часто в них попадают те же шептуны, привозят мешки для себя, а на собраниях плачут, что-де ничего не могли добыть…

— К примеру, Владимир Ильич, — откашлявшись, пробасил Иван Гора. — У нас на заводе секретаря партийного коллектива, товарища Ефимова, совсем убили, едва отстояли… Вдруг в литейном цеху — митинг. В чем дело? Шум, крик: «У Ефимова на квартире — мука и сахар». И так кричат, так разгорячились, — невозможно не верить… Я вижу — дело плохо, — к телефону. Ефимов — как раз дома. Я ему — тихо, чтобы ребята не слышали: «Уходи». Он переспрашивает. Я — в другой раз: «Уходи». Он смеется: «Да куда уходить-то?» Я ему внушаю: «Уходи». — «Да кто говорит-то?» — «Иван Гора, — говорю. — Завод к тебе идет». Он понял, в чем дело. Отвечает: «Чего же им трудиться. Я сам к ним приду». Приходит в литейную. Входит смело, глядит — огнем жжет. Потом-то мне рассказывал: «Голову-то я держал высоко, а у самого кровь в жилах сжалась». Ребята увидели его — ревут: «Спекулянт! Сливочное масло жрешь!» Рвутся к нему—вот-вот убьют. Он стоит, поднял руку, ждет, когда отгорлопанят. «Ну? — говорит спокойно. — Чего кричать-то. Вот ключ». И с досадой бросает ключ от своей

квартиры. «Идите, обыщите. Найдете хоть кусок хлеба—тогда мне смерть. Ступайте, я обожду». Человек двадцать побежало. Он стоит, закурил. Возвращаются наши ребята, головы повесили — самим стыдно в глаза ему глядеть. «Вот, нашли», — говорят и показывают заплесневелую корочку… Он тут сразу и повеселел: «Значит, убедились—муки, сахару у меня нет… Теперь давайте у горлопанов поищем…» И показывает на Ваську Васильева, который дня два вернулся с продотрядом и слезы лил. Мы — к Ваське: «Веди, показывай».

— И нашли у него? — быстро спросил Ленин.

— А как же… Мука и сало, и в кухне привязана коза. Продукты и козу приволокли на митинг. Ребята озверели. Коза им, главное, в досаду. «Это, — кричат, — мировой позор!»

— Так, так, так, — повторил Ленин, уже не слушая рассказа. — Так, вот, товарищи. Теперь позвольте мне взять слово.

— Просим, — сказали депутаты.

— …Жалобами делу не поможешь… Положение страны дошло до крайности… В стране голод… Голод стучится в дверь рабочих, в дверь бедноты…

Ленин начал говорить негромко, глуховатым голосом, даже как будто рассеянно. Грудь его

была прижата к столу, руками он придерживал портфель на коленях. Депутаты, не шевелясь, глядели ему в осунувшееся, желтоватое лицо. Не спеша стукали стенные часы…

— …Все эти попытки добыть хлеб только себе, своему заводу — увеличивают дезорганизацию. Это никуда не годится… А между тем в стране хлеб есть… — Он пробежал глазами цифры на лежащем перед ним листке. — Хлеба хватит на всех. Голод у нас не оттого, что нет хлеба, а оттого, что буржуазия дает нам последний решительный бой… Буржуазия, деревенские богатеи, кулаки срывают хлебную монополию, твердые цены на хлеб. Они поддерживают все, что губит власть рабочих… — Он поднял голову и сказал жестко: — Губить власть рабочих, добивающихся осуществить первое, основное, коренное начало социализма: «Кто не работает, тот не ест». Он помолчал и — опять:

— …Девять десятых населения России согласны с этой истиной. В ней основа социализма, неискоренимый источник его силы, неистребимый залог его окончательной победы.

Он отодвинул стул, положил портфель и продолжал говорить уже стоя, иногда делая несколько шагов у стола:

— На днях я позволю себе обратиться с письмом к вам, питерские товарищи… Питер — не Россия, — питерские рабочие — малая часть рабочих России. Но они — один из лучших, передовых, наиболее сознательных, наиболее революционных, твердых отрядов рабочего класса. Именно теперь, когда наша революция подошла вплотную, практически к задачам осуществления социализма, именно теперь на вопросе о главном — о хлебе — яснее ясного видим необходимость железной революционной власти — диктатуры пролетариата…

Он подкрепил это жестом — протянул к сидящим у стола руку, сжал кулак, словно натягивая вожжи революции…

— … «Кто не работает, тот не ест» — как провести это в жизнь? Ясно, как божий день, — необходима, во-первых, государственная монополия… Во-вторых — строжайший учет всех излишков хлеба и правильный их подвоз… В-третьих — правильное, справедливое, не дающее никаких преимуществ богатому, распределение хлеба между гражданами — под контролем пролетарского государства. Он с усилием начал было отрывать захлопнувшийся замочек портфеля. Прищурясь, взглянул на часы…

— …Превосходно… Вы говорите: на Путиловском заводе было сорок тысяч. Но из них большинство — «временные» рабочие, не пролетарии, ненадежные, дряблые люди… Теперь осталось пятнадцать тысяч. Но это — пролетарии, испытанные и закаленные в борьбе… Вот такой-то авангард революции — ив Питере и во всей стране — должен кликнуть клич, должен подняться массой… Должен понять, что в его руках спасение страны… Надо организовать великий «крестовый поход» против спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов, взяточников…

Депутаты уже не сидели у стола. Движением руки он их поднял, и они окружили Владимира Ильича, — кивая, поддакивая, вздыхая от полноты ощущений… Иван Гора стоял прямо перед ним, глядя сверху вниз разинутыми глазами ему на твердый, твердо выбрасывающий слова, рот, где в углах губ сбивалась пена волнения…

— …Только массовый подъем передовых рабочих способен спасти страну и революцию… Нужны десятки тысяч передовиков, закаленных пролетариев… настолько сознательных, чтобы разъяснить дело миллионам бедноты во всех концах страны и встать во главе этих

миллионов… Настолько выдержанных, чтобы беспощадно отсекать от себя и расстреливать всякого, кто «соблазнился» бы — бывает — соблазнами спекуляции… Настолько твердых и преданных революции, чтобы вынести все тяжести «крестового похода». Это сделать потруднее, чем проявить героизм на несколько дней… Революция идет вперед, развивается и растет… Растет ширина и глубина борьбы. Правильное распределение хлеба и топлива, усиление добычи их, строжайший учет и контроль над этим со стороны рабочих и в общегосударственном масштабе — это настоящее и главное преддверие социализма… Это уже не «общереволюционная», а именно коммунистическая задача…

Подняв палец, Владимир Ильич повторил это, и зрачки его как бы искали в глазах слушателей: «Понятно? Понятно?»

Иван Гора, тоже вытянув большой палец, проговорил:

— Правильно. Это задача видимая. Можем, Владимир Ильич.

— Можем, можем, — заговорили депутаты…

— Товарищи, одно из величайших, неискоренимых дел октябрьского — советского — переворота в том, что передовой рабочий пошел в «народ», —

пошел как руководитель бедноты, как вождь деревенской трудящейся массы, как строитель государства… Но, товарищи, начав коммунистическую революцию, рабочий класс не может одним ударом сбросить с себя все слабости и пороки, унаследованные от общества помещиков и капиталистов. Но рабочий класс может победить и, наверное, неминуемо победит, в конце концов, старый мир, его пороки и слабости, если против врага будут двигаемы новые и новые, все более многочисленные, все более просвещенные опытом, все более закаленные на трудностях борьбы отряды рабочих…

Владимир Ильич кивнул, — так-то, мол… Отступил на шаг. Большие пальцы его рук попали в жилетные карманы. С висков на углы век набежали морщинки, глаза засветились юмором и добродушием…

— Вот, так-то, — сказал он…

Иван Гора засопел, с усилием удерживаясь, чтобы не сгрести лапами этого человека, не расцеловать его — друга…

— Теперь, товарищи, набросаем конкретный план действия… Присаживайтесь.

Глава шестая

1

Перед отъездом Иван Гора с двумя товарищами из продотряда пошел купаться на Неву. Петроград был тих и прекрасен. На полноводной Неве лишь кое-где струи течения колебали зеркальные отражения дворцов. Белые колоннады, гранитные львы, облупленные ростры с носами кораблей, золотая игла крепости, пышные ивы на отмели у ее подножия — погружали свои отражения в бездонную глубину.

Редкий прохожий, с продовольственным мешком за спиной или с жестянкой от керосина, косолапо шагал по булыжной мостовой, где между камнями уже начинала зеленеть травка. Изредка слышалось громыхание трамвая. Небо было чисто, бездымно над опустевшим наполовину городом.

Иван Гора сидел на нижней ступеньке гранитного спуска с набережной. Ноги его были по щиколотку в воде. Скребя ногтями голые коленки, он щурился от солнечных бликов в струях под ногами.

— Так-то, друг мой Замоткин, — говорил Иван Гора сидевшему рядом с ним товарищу, с посиневшими губами, со старой кожей на прыщеватом от истощения лице. — Это ничего, что дрожишь: польза будет. Разве дело — пролетарию ходить грязным… Завоевали Неву, давай первым делом купаться. Свежая вода! В ней сила…

— Эх, с мылом бы их простирнуть, — сказал Комаров, другой товарищ, тоже голый: он караулил наверху мокрые рубашки, чтобы ветер не унес их с гранитного парапета.

Иван Гора продолжал с благодушием:

— В царское время тебе бы городовой по сопатке надавал, — здесь купаться… Видишь — какое царство завоевали: красотища! И ты должен подтягиваться, друг мой Замоткин. Энергия солнца при свежей воде заменяет недостатки питания. Ну, лезь…

— Постой немножко, — жалобно сказал Замоткин. — Дай посидеть… Ведь я утону…

— Ничего, ты барахтайся, я вытащу…

Иван Гора будто невзначай задел рукой Замоткина по торчащим позвонкам, и парень бултыхнулся в воду. Комаров наверху засмеялся:

— Тренируешь парня…

— А как же… Поедем, — там, брат, с кулачьем

нужны нервы.

Иван Гора вытянулся — едва не в сажень ростом, с впавшей грудью, с могучей сутуловатой спиной, и плашмя упал в воду… Казалось, Нева с плеском раздалась под ним… Доплыл до барахтающегося, отплевывающегося Замоткина, взял его за плечо, пригреб к ступенькам, помог вылезти и уселся рядом с ним, ладонями стер с ляжек воду.

— И второе — студеная вода в нашем холостом положении — отвлекает… Поедем, там, брат, ни гу-гу… Мало ли нашего брата погибло через эту слабость: «Ах, питерские гости, ах-ах, а мы вам и баньку истопили…»

— Это кто же — «ах-ах»? — спросил Замоткин.

— Кулацкая женка. Там тебе подсунут бабенку подходящую… И только ты размяк, бдительность у тебя ослабела, винтовка осталась в предбаннике, — шасть в баню хозяин!..

— Лаврентия Козлова так убило кулачье в Луге, — сказал Комаров.

— Ухо держать востро, ребята… Чтобы про нас шла слава: приехали железные… Мне, друг Замоткин, несравненно тяжелее твоего… У тебя одни позвонки, у меня массы больше, — Иван Гора вытянул одну ногу, потом другую. — К осени — наладим революцию, — ей-богу, отпрошусь

домой, в Нижний Чир…

— Жениться? Краля ждет? — спросил Замоткин, усмехаясь синими губами.

— Ага! Такая краля ждет… — Всю бы Неву с дворцами ей подарил…

— Это Агриппина, что ли?

— Ну, ну, ладно, — лезь в воду… Чего там, — Агриппина…

2

Продовольственные отряды питерских рабочих разъезжались повсюду по хлебным селам, глухим деревням. Строгого плана не существовало. Отряды по собственному разумению кидались с головой в закипающую деревенскую революцию.

В ином селе мироед-христопродавец, накурив самогону, собрав сход, тряс мокрой от слез бородой, просил православных, вдов и сирот о забвении грехов своих. «Что мое — то ваше, — говорил, — господь прогневался за наши грехи, наслал заразу… Так неужто я дьяволам — большевикам — отдам хлебец? Берите лучше вы из мово анбару по два пудика, уж мы сочтемся, бог нас рассудит».

В ином селе орудовал протопоп, грозно зала-

мывая на амвоне косматые брови: «Видали у коммунистов на фуражках козлиные рога? А кто не видал, пусть глаза пошире разинет… Понимать можете? И кто им хоть зерно даст, — это зерно на страшном суде спросится… Хлеб наш насущный даждь нам днесь, — сказано в писании. А про монополию в писании не сказано».

В ином селе кулачки по ночам пристреливали беспокойных мужичков на огородах и гумнах, в страхе держали деревенскую бедноту. Были и такие углы, где все еще сидел «либеральный» помещик, беседуя в сумерках на крылечке о французской революции, о выкупных платежах, о славянской богоискательской душе.

Продовольственный отряд, появляясь в селе, вылезал из телег у сельсовета. Вызывали председателя, — человек приходил, в страхе моргая на суровые лица питерских. Садились за шаткий столик, закапанный чернилами. Выясняли причины недостачи хлеба, «просвечивали» и самого председателя. Не верили никаким оправданиям, глядели в классовый корень вещей — в нерасслоенность деревни. Надымив полную избу махоркой, созывали на завтра общее собрание.

Иван Гора забрался со своим отрядом в семь человек далеко в черноземье, в Миллерово — ближе

к знакомым местам.

В селе Константиновке, куда приехали на двух телегах, начали с того, что арестовали сельсовет: председатель оказался бывшим урядником, писарь — дьяконом. Все село загудело с утра у сельсовета.

Иван Гора распорядился: «Здешнее кулачье нам устроит провокацию. Ни в каком случае не открывать огня, — только в крайности. Двое — со мной, без винтовок, — на крыльцо. Остальные сидите в избе».

Иван Гора вышел на крыльцо. По толпе человек в четыреста полетел ропот. Кое у кого в руках были здоровые палки, выдернутые из плетня. Иван Гора немного помахал на толпу, будто это был рой пчел:

— Стращать меня станете потом, товарищи. Давайте поговорим.

Поговорить, конечно, нашлись охотники. Ропот утих. Он начал с главного:

— Что такое советская власть? Советская власть — это вы да мы… Мне сам Ленин приказал об этом сказать… А вы что делаете? Выбрали кровавого палача, царского урядника, Гнилорыбова, выбрали кутейника секретарем. Чьи они агенты? Гнилорыбов живет на дворе у Митрохина,

всему свету известного мироеда. Дьякон — его, Гнилорыбова, зять… Вот они чьи агенты, вот кто их поставил в сельсовет. Для чего? А для того, чтобы кулак Митрохин сидел в этом глухом селе царьком да вам бы — кому пудик, кому два, — а вы ему летось за пудик два пудика, и вы бы у него батрачили хуже, чем при Николашке Кровавом… Понятно?

— Понятно, понятно, — ответили из толпы голоса. Иван Гора метнул глазами в ту сторону.

— Не думаю, чтобы вы были такие дураки, товарищи… Не для того мы, питерские рабочие, делали переворот в октябре, чтобы Митрохин с Гнилорыбовым и вся их шатия жрали горячие блины в свое удовольствие, а вы бы… — Тут он начал указывать пальцами на тех, про кого узнал давеча от возчиков по дороге. — А вы бы, Иван Васильевич, вы бы, Миколай Миколаевич, вы бы, Степан Митрофанович, без шапки под их окошком слезно просили — повремените с должишком, — «детишкам, мол, есть нечего…» Устроили вы у себя советскую власть, ребята, — спасибо…

Он ожидал, — так и вышло: в задних рядах опять начался ропот, злые голоса: «Других ступай учить. Не хуже тебя знаем про советскую власть!»

Не давая разгореться шуму, Иван Гора раздул шею — загудел басом:

— Советская власть: «Кто не работает, тот не ест». Наша первая и последняя заповедь… Батрак, бедняк, однолошадник — это советская власть… А тот, на кого вы работаете, а он ест, — это враг советской власти…

— Это как так мы не работаем? — бешено закричало десятка два голосов. — Дармоеды питерские! Грабить приехали! У христиан последний кусок отнимать!

Иван Гора решительно шагнул с крыльца.

— Правильно! Революция послала нас к вам за хлебом. Вооруженные пролетарии, умываясь на фронтах кровью, требуют у вас хлеба. Они, бедняги, умирают, чтобы ваши дети были сыты… Требуют хлеба не у тех, у кого нет… А требуют у тебя, богатей Евдокимов… У тебя, Третьяков… У тебя, Митрохин… Стойте! — Он поднял руку. Кричавшие сильнее всех, видя, что их недружно поддерживают и к крыльцу не дают пробиться, замолчали на минуту. — Стойте!.. Мы действуем по революционному советскому закону… В силу этого мандата… (выдернул из пиджачного кармана, помахал бумажкой) председателя Гнилорыбова, как скрывшего свою принадлежность

к царской полиции, и зятя его, дьякона, — арестуем, и они будут преданы революционному суду… В силу этого мандата объявляю на завтра новые выборы в сельсовет… И новый сельсовет произведет справедливую разверстку хлебных излишков… У кого мало хлеба — с того не спросится, у кого много хлеба — тому придется немножко поделиться с революцией.

Иван Гора своротил большой нос, мигнул, и одобрительно засмеялось большинство собрания.

Весь день шумело село, покуда на улице, уходящей черным шляхом в степь, не показалось стадо. Позади садилось широкое солнце, ударяя сквозь пыль низкими лучами по коровьим раздутым бокам. Запахло парным молоком. Заскрипели ворота. Перекликались женские голоса.

Кучки спорящих начали расходиться. Улица опустела. Только у сельсовета еще виднелся народ, — входили и выходили, хлопая дверью. Желтел сквозь ставни свет. На завтра были намечены удачные кандидаты в председательсовета и в секретари — бойкие, неглупые ребята — из самых захудавших на селе. Выяснены приблизительные запасы хлеба по кулацким дворам. Казалось — все шло гладко.

Опустела и площадь у сельсовета. Над высоким тополем разгорались семь звезд Большой Медведицы. Конечно, если вслушаться в ночную тишину не городским, а деревенским ухом, можно было бы различить непривычные звуки, например, — далеко в степи конский топот. Но мало ли кому понадобилось скакать среди ночи…

Замоткин, завхоз отряда, раздобыл хлеба, яиц и кислого молока. Комаров, Жилин, молчаливые братья Уйбо и больной цынгой Федичкин (все путиловцы, из одного цеха) поужинали. Иван Гора приоткрыл ставень…

— От этой махорки с души воротит…

Ночь была черная, влажная, тихая. Даже собаки перестали брехать. Лениво принимался шелестеть тополь, заслонивший несколько звезд… Замоткин сообщил, что на дворе роскошный сарай, правда, без крыши, но внутри чисто и пусто…

— Тут бабенка одна вертелась в сумерках: «Не надо ли вам чего, товарищи?» Велел ей соломы принести.

— Бабенка вертелась? — удивленно спросил Иван Гора.

— Сбоя вполне, товарищ начальник. Я к ней

ведь не сразу, а с подозрением: «Ты что, — говорю, — тут нюхаешь, толстенькая? Может, баню истопила?»

— Вот дурной! — Иван Гора захохотал, топая сапогом. — Ну, как, ребята, в сарай пойдем?

Все согласились, что обстановка не внушает опасений. Все-таки для осторожности решили по очереди дежурить. Захватили остатки хлеба, портфель, винтовки, пошли в сарай. Здесь действительно было хорошо, прохладно, пахло свежей травкой, растущей у порога широких, щелястых, покосившихся дверей.

— Заметкин, ты как же — так ее в лоб и спросил про баню?

— Ага. Думаю, — ну как скажет про баню — сейчас арестую…

— Умора!..

Иван Гора закрутил головой. Начал стягивать сапоги, но подумал — не стоит, пожалуй. Один из братьев Уйбо взял винтовку, пошел к воротам. Семь человек легли на жиденькую соломенную подстилку, и тут же — кто ровно задышал, кто начал посвистывать носом…

Иван Гора еще слышал, как Уйбо, видимо, соскучась стоять у ворот, сел на бревна, тяжело прислонился снаружи к доскам сарая. Над го-

ловой смутно темнел переплет стропил, горели большие донские звезды.

Внезапно Иван Гора, не разлепляя глаз, привстал: показалось, что в стену сарая ударили чем-то, будто застонал человек. Но проснулся Иван Гора от раздирающего треска повалившихся дверей, от звериного вопля. Вскочил, протянул руки. Кто-то кинулся на него, остро воняющий потом, — бешено обхватил, ломая, и сейчас же ударили лезвием вскользь — мокро — в голову…

3

Первый Луганский отряд, когда обнаружилось, что красные под Конотопом разгромлены, отступил от Ворожбы на юго-восток, на станцию Основа, под Харьковом.

В Харькове шла торопливая эвакуация рабочих отрядов, военного имущества, машин, заводских материалов. Уезжал и Совет народных комиссаров Донецко-Криворожской республики — большевистское правительство Донецкого бассейна.

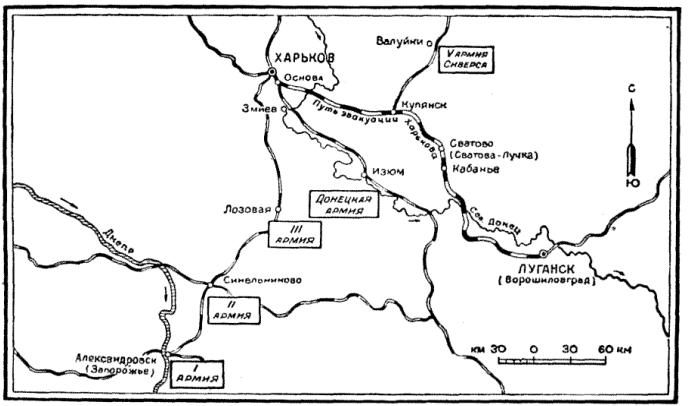
Когда началось наступление немцев, председатель правительства — Артем — послал ультиматум императору Вильгельму, где предупреждал, что в случае нарушения границ

Донецко-Криворожской республики, которая никакого отношения к Украине не имеет, республика будет считать себя в состоянии войны с Германией.

Этот документ на четвертушке бумаги со смазанным лиловым штампом был доставлен главнокомандующему наступающих германских войск генералу Эйхгорну. Три раза переводчик читал генералу удивительный документ. «Это шутка? — спросил генерал. — Господин товарищ Артем — чорт возьми! — считает себя в состоянии войны с Германией». Секунду генерал колебался: лопнуть ли от возмущения или, схватясь за ручки кресел, захохотать до слез…

Но, так или иначе, Донецко-Криворожская республика считала себя в состоянии войны с германскими оккупантами. Правительство переехало в Луганск и вместе с украинскими красными силами прилагало все усилия, чтобы не пустить немцев в районы заводов и шахт Донбасса.

Силы были не равны. Остатки пяти красных украинских армий, присоединившиеся к ним партизанские и спешно формируемые рабочие отряды не насчитывали и двадцати тысяч бойцов.



Под давлением батальонов первого германского корпуса красные отступали восточнее Харькова на линию, идущую с севера на юг. (На севере, в Валуйках, располагалась 5-я армия под командой Сиверса, в Изюме — Донецкая, в Лозовой — 3-я, под Синельниковым — 2-я, на юге, в приазовских степях, восточнее Александровска — 1-я армия.)

По магистрали Харьков — Луганск (между рас-

положением 5-й и Донецкой армии) происходила эвакуация Харькова. Здесь, не теряя ни одного дня, нужно было создать сильную и стойкую группу.

Ядром для нее мог послужить Луганский отряд Ворошилова, стоящий на этой магистрали на станции Основа. В него был влит Харьковский коммунистический отряд под командой Лукаша. К нему было решено присоединить бывшую 5-ю армию Сиверса. В него должны были влиться по пути от Харькова до Луганска шахтерские и рабочие отряды. Эта новая группа войск получила название 5-й армии. Командармом ее, по решению Донецко-Криворожского правительства, назначался Ворошилов.

На станции Основа Ворошилов начал формирование своей армии. Но события разворачивались слишком стремительно: немцы крупными силами уже подходили к Харькову. Луганскому и Коммунистическому отрядам пришлось отступить со станции Основа к следующей станции — Змиево.

В это время пришло известие, что бывшая 5-я армия Сиверса в Валуйках присоединиться к Ворошилову не может, так как в ней шло полное разложение…

«…Вместо боевого расположения солдаты массами покидают свои участки и ловят рыбу в реке Осколе… Караулы на линии играют в карты и спят… Через фронт идут всякие шпионы… Происходит дикая ружейная стрельба, притупляющая возможность распознавания — где происходит хулиганская трата патронов, а где действительно идет бой…»

4

Из Харькова удалось вывезти все военное имущество. Когда немцы заняли Холодную Гору и оттуда начали стрелять из пушек по вокзалу, когда несколько груженых телег с отчаянным грохотом промчалось к вокзальным воротам, когда на опустевших улицах уже раздавались одиночные выстрелы неизвестно из каких чердаков, — у перрона дымил последний паровоз последнего эшелона.

Задержка была только затем, что не могли отыскать начальника штаба 5-й армии, молодого человека Колю Руднева, посланного Ворошиловым в помощь инженеру Бахвалову, занятому эвакуацией Харькова. Руднев не спал трое суток и, видимо, где-то свалился. В разбитые окна вагонов с тревогой посматривали бойцы. Машинист

кричал с паровоза:

— Що вы не бачите, мать вашу так, немцы ж мост обошли! Зимовать нам у Харькови!

Бахвалов, стоя у вагона, сердито хрипел сорванным голосом. Снаряды с Холодной Горы рвались на путях. Дымил, разгораясь, длинный деревянный пакгауз. Опухший от бессонницы телеграфист, последним покидающий станцию, отчаянно вдруг замахал из дверей:

— В царском павильоне спит какой-то хлопчик.

В царский павильон нужно было бежать через площадь, где взвивались косматые разрывы снарядов. В пустом малиновом зале, на канцелярском столе, беспечно положив русую голову на локоть, спал Руднев. Его трясли, сажали, — он только мотал головой. Его потащили на руках. Около вагона он растопырил локти, открыл синие глаза, спросил ясным голосом:

— В чем, собственно, дело?

— Чорт, — хрипел Бахвалов, — спишь, немцы мост заняли.

— Прекрасно, иду.

Руднев зевнул. Не закрывая рта, дико оглянулся. Побежал к паровозу. Влез спереди на площадку, где стоял пулемет.

Из всех вагонов закричали:

— Давай полный!

Поезд, набирая скорость, пошел к мосту. Там виднелись люди в касках, в зелено-серых мундирах. Руднев с паровозной площадки начал бить по ним из пулемета. Фигуры в зелено-серых мундирах, нагибаясь, побежали с насыпи. Поезд наддал ходу. По вагонам резнула очередь.

Поезд, грохоча на стрелках, закутываясь дымом, сверкая вспышками выстрелов из окон, с крыш, где лежали бойцы, — тяжелым ураганом промчался мимо попрятавшихся немцев, с грохотом перешел мост и скрылся за поворотом.

5

Немецкая кавалерийская разведка подорвала мост у станции Змиево и этим отрезала путь эшелонам, эвакуирующимся из Харькова. Когда на выручку с соседней станции вышел бронепоезд, немцы позади него тоже подорвали путь. Харьковские эшелоны и бронепоезд оказались в ловушке.

Из головного эшелона посыпались бойцы Коммунистического отряда — триста харьковских рабочих. Они увидели на холмах за городом Змиевом облако коричневой пыли, — это подходили

немцы.

— Смир-р-рна! — во всю молодую глотку заорал, уперевшись в бока и заваливаясь перед фронтом бойцов, румяный молодой человек в туго перетянутой кожаной куртке. — Смиррна! Щоб вам на пупе нарвало, товарищи! Що у вас горит под ногами… Стройся!.. Никакой паники! Немцы ж во сне не ждали, що нарвались на Коммунистический отряд!

Кричал командир Лукаш, ввертывая такие крепкие слова, что бойцы встряхнулись, оживились, вспомнили и строй и дисциплину.

— Пулеметы вперед! Знамя ко мне!

Он пошел впереди отряда, указывая шашкой на тополя, мазаные хаты и плетни, откуда из канав и водомоин все учащеннее стреляли немецкие цепи.

— Под пулями не ложиться!.. Добирайся до штыкового боя, хлопцы!

Отряд рассыпался по городскому выгону. Бежали, не ложась, как бешеные перемахивали через плетни. Ругань и крики покрывали стук пулеметов, обреченных на расплав. Немецкие цепи начали подниматься, перебегать, не принимая рукопашного боя. По холмам, где показались было конные драгуны, ударили с бронепоезда.

Всадники на холмах исчезли.

К вечеру путь был восстановлен. Эшелоны двинулись дальше, на восток. На станциях и полустанках к вагонам кидались мрачные шахтеры и крестьяне, уходившие от немецкого нашествия. Визгливые женщины просовывали в окна корзинки с домашней птицей, лоскутные одеяла и подушки, подсаживали детей. Иная, обхватив теплую морду равнодушно жующей коровы, голосила сквозь слезы: «Да возьмите же ее, добродеи! Возьмите кормилицу мою!»

Эшелоны пополнялись рабочими и партизанскими отрядами. В Купянске увеличилось количество поездов почти вдвое. Но, когда растянувшаяся на версты вереница вагонов и паровозов начала проходить Сватово, из степи, с юга, снова показались немцы. На этот раз они подходили крупными силами.

6

Немцы повели наступление одновременно по всему фронту завесы, расположенной с севера на юг. Несмотря на пылкую готовность красных отрядов драться и не пустить врага в сердце Донбасса, обнаружился глубочайший беспорядок в командовании. Штаб главнокомандующего

приказывал, — командармы пяти армий действовали по своему усмотрению согласно местной обстановке и настроению своих отрядов.

Южнее магистрали, по которой шла эвакуация и где формировалась 5-я армия Ворошилова, — в городе Изюме располагалась Донецкая армия, около тысячи штыков. Когда была обнаружена под Изюмом немецкая разведка, командарм Донецкой затребовал подкрепление.

Главштаб послал ему крупный Знаменский отряд. Он подошел в четырех поездах, с песнями, гармониками, свистом. Наученный опытом, командарм не пустил его в город. Отряд выкатился из вагонов и на выгоне перед мостом через Оскол начал митинговать. Попытки внести какой-нибудь порядок и заставить знаменцев занять фронт — ни, к чему не привели. Они кричали, что сами знают, где и как бить немцев, требовали, чтобы их пустили в город, требовали доставить им командарма на расправу и, наконец, открыли пальбу через Оскол по Изюму. Пришлось вызвать бронепоезд, — под защитой его пушек командарм вывел свою, начавшую уже колебаться, армию из города и отступил на восток.

Знаменский отряд кинулся в эшелоны — пошел колесить по станциям и городам. Изюм был

оставлен. Правый фланг 3-й армии, стоявшей южнее, под Лозовой, обнажился.

3-я армия в это же время перешла в наступление. Командарм 3-й доносил в главштаб:

«…Все части армии вышли из эшелонов, и наступление ведется в полном порядке. 3-я армия от имени всех ее отрядов заявляет, что отступления она не признает. Но в армии всего пять тысяч бойцов, резервов нет, правый и левый фланги не обеспечены».

Немцы, теснимые стремительным натиском 3-й, подтягивали подкрепления — бронепоезда, броневики, германскую пехоту и гайдамацкую конницу. Но пролетарские и партизанские отряды 3-й опрокидывали все понятия о непобедимости немцев, продолжали бить и гнать их, захватывая пленных, пулеметы, знамена, пушки, броневики.

Наступление длилось четыре дня — без еды и сна. Армия далеко вынеслась вперед линии завесы. Резервы не подходили, и утомленных бойцов некем было сменить.

Утром девятнадцатого апреля немцы зашли в обнаженный фланг лучшим частям — Ленинскому, Таврическому и 1-му Советскому батальонам, и в то же время германские драгуны прорвали

центр. Фланги расстреливались в упор. В этом бою 3-я потеряла половину своего состава. Остатки армии начали отходить под прикрытием Ленинского батальона.

К ночи удалось выйти из соприкосновения с противником. Но от славного Ленинского батальона в живых осталась лишь кучка—десяток израненных, перевязанных тряпьем, упорно дерущихся героев.

Вторая армия, расположенная южнее 3-й, также отступала. Ее командарм в отчаянии доносил в главштаб:

«...Немыслимо быть командующим армией то без войск, то с войсками, которых приходится собирать по крохам везде, где только можно. Такие, ничем не связанные с армией, отряды непостоянны и в первом же бою разлетаются в эшелонах по станциям...»

7

Когда немцы показались у станции Сватово (через которую проходили поезда 5-й армии), там стоял только сборный пестрый отряд Гостемилова. Ворошилов в это время укреплял Луганск, обучал и вооружал отряды, набирал добровольцев из окрестных деревень. На Гарт-

манском заводе день и ночь строили броневики и броневые площадки. Формировали полк из рабочих-китайцев.

В три часа утра немцы двинулись на станцию Сватово. В темной еще степи заворчали моторы броневиков, показались гайдамацкие сотни, различаемые в холодном свете зари. Шли цепи германской пехоты. Степь озарилась длинными вспышками пушек.

Отчаянно завыли эшелоны, продвигающиеся на восток через Сватово. Полетели телеграммы к Ворошилову. Стойкая часть отряда Гостемилова состояла из ста семидесяти бойцов при четырех полевых орудиях. На правом фланге находился партизанский отряд «Молния» с двумя пушками в пульмановском вагоне. На левом — в полуверсте от станции — в окопах лежали два отряда левых эсеров. У них были тоже две пушки — позади на проселочной дороге.

Когда в свете зари в орудийных вспышках обрисовались мчащиеся броневики, — передняя цепь эсеров поднялась и побежала, падая под пулями, бросая винтовки. Гостемилов верхом мчался к железнодорожному полотну, к пулеметам.

— Огонь по гадам! — дико закричал он пулеметчикам, указывая на бегущих, и повернул обратно

взбесившуюся лошадь. Левые эсеры под двойным огнем — и с фронта и с тыла — залегли позади своих пушек. Паника была приостановлена. Четыре полевых орудия головного отряда, пулеметы с железнодорожной насыпи, пушки и пулеметы из отряда «Молния» были сосредоточены на немецких броневиках и на развертывавшихся позади них гайдамацких сотнях.

Один из броневиков осел, завалился, другой окутался дымом, запылал, третий, как слепой, закрутился и опрокинулся… Гайдамаки поворачивали в степь… С запада, воя, дымя, подходил партизанский эшелон на подмогу. Шесть германских орудий, вспыхивая молниями на окрестных холмах, начали бить по батареям, по станции, по подошедшему эшелону. Партизанский отряд, находившийся в нем, начал было выгружаться, но бойцы заколебались, кинулись по вагонам, и эшелон под огнем бежал.

Поднялось солнце над пыльной степью, над станцией, окутанной дымом пожаров. Немцы били ураганным огнем. У Гостемилова остались только две пушки и едва половина пулеметов. Эсеровские отряды были уничтожены. Из ста семидесяти бойцов головного отряда в живых осталось меньше сотни. Перебиты были все ар-

тиллерийские лошади… Немецкие броневики, гайдамацкие сотни снова двинулись в атаку… Гостемилов приказал — тащить на руках две оставшиеся пушки, грузить на вагонные площадки и, покуда последний вагон с военным имуществом не покинет станции, — держаться…

— Держаться, хлопцы! Кровью умоемся, хлопцы… Не отдадим жабам революционного имущества!

С востока со всей скоростью, выжатой из старого паровоза, примчался небольшой состав. Загрохотав, стал. Из вагонов повысыпалось полтораста бойцов отряда — из армии Ворошилова.

Тогда под прикрытием огня двух пушек, погруженных на площадку, и двух пушек из пульмановского вагона отряда «Молния» эти сто пятьдесят бойцов и остатки отрядов Гостемилова и «Молнии» — почти все раненные, оглушенные, контуженные — бросились в штыковую контратаку и во второй раз опрокинули немцев и гайдамаков.

К двум часам дня Гостемилов, увозя все имущество и остатки артиллерии, отступил на восток, на станцию Кабанье, куда уже подходили из Луганска эшелоны Ворошилова — две тысячи бойцов, без артиллерии.

8

Гостемилов со взъерошенными усами, с обвязанной головой, ворвался в вагон командарма. Ворошилов и Коля Руднев сидели в салоне над картой.

— Чорт! — закричал Гостемилов. — Уткнули носы! Приказывай наступать!

Щека у него дергалась, глаз, горевший бешеной злобой, поминутно закрывался веком, будто месяц облаком.

— Чорт! К вечеру мы их расколошматим! Мясорубку им устроим, чорт!

Он выбрасывал руки, топтался по маленькому салону. От него резко пахло потом, порохом…

— Сядь, — сказал Ворошилов. — Кури. Успокойся. Я послал разведку в Сватово. Обстановка очень серьезная.

— К чорту серьезную обстановку! Какой ты, к чорту, командующий! Наступать! Вот тебе вся обстановка! — Он дико взглянул на Руднева. — Кто это у тебя? Начштаба? Дай-ка, начштаба, спирту полстакана… Сдохну, чорт!

Гостемилов внезапно опустил забинтованную голову в чумазые руки, лежавшие на столе. Заскрипел зубами. Ворошилов глазами показал

Рудневу — принести спирту. Встал. Наклонившись, положил руку на вздрагивающую спину Гостемилова.

— Поди ко мне в купе. Ляг. Хватит с тебя на сегодня.

— Ах, сукины дети, сукины_ дети, — сквозь зубы повторял Гостемилов. — Что они с нами сделали… Нет! (Откинулся, стукнул кулаками.) Гайдамаки! Гады ползучие! Ох, я ж их сам этими руками из пулемета…

Потянув спирт из стакана, задребезжавшего о зубы, сразу затих, щека перестала дергаться, глаза остекленели. Ворошилов опять сел за карту, сказал негромко, строго:

— Дела такие. Донецкая, 3-я и 2-я армии отступают. 1-я рассыпалась. В каком состоянии Сивере в Валуйках — узнаю вечером. Но, всего вероятнее, — Сивере будет отходить на север. Главштаб настойчиво требует, чтобы я взял обратно Сватово. Я выполню боевой приказ. Но я не сомневаюсь, что мы уже в мешке: завтра-послезавтра придется отступать на Луганск. И, вероятнее всего, отдадим немцам и Луганск. Смотри на карту… Вот они где…

Гостемилов уставился остекленевшими глазами на то место, где на карте — юго-западнее

Луганска — твердый ноготь командарма провел черту.

— Немцы выходят к Дебальцеву… Отсюда удар по станции Лихой, и путь отступления нам — заперт… (Костлявые плечи Гостемилова поднялись до ушей.) Главная задача — сохранить живую силу и военное имущество… Мы отступим, но мы вернемся уже не с партизанскими отрядами, — с армией… Давать расстреливать себя по частям, в эшелонах — это не игра… Понятно тебе?

9

Карасихин Алешка, закидывая волосы, босиком катил по улице к ионину двору. Во время перемены он бегал из школы в совет, — где теперь служила Марья в отделе агитпропа, — и мамка велела одним духом отнести Агриппине только что полученное письмо, сплошь залепленное марками.

На улице было пустынно, народ работал в поле. Только у одного кирпичного дома визжали верховые лошади, привязанные к тополям. Алешка перелез через забор, нашел Агриппину в вишеннике, — она окапывала деревья. Агриппина поправила мокрые волосы под платок, молча взяла конверт с хвостом марок.

— Я по-писанному не разумею, — сказала тихо. — Почитай.

Она села на распиленный ствол старого тополя, обхватила колени. Черные брови ее сошлись, и лицо побледнело, когда Алешка, сидя перед ней на корточках, читал с запинкой:

«Здравствуйте, Агриппина Кондратьевна, как вы живы-здоровы, часто о вас вспоминаю. Думал увидеться с вами раньше, но произошла задержка. Теперь все обошлось, — рана на моей голове заживает, и ребра срослись. В селе Константиновке нас, весь отряд, убили кулаки, — ночью в сарае зарубили топорами. Один я остался жив и дивлюсь этому до сих пор, — какая мне бабка ворожила? А вернее, что очень не хотелось умирать. Меня отвезли в Миллерово, в лазарет, — в Константиновке я просил не оставлять: кулаки бы меня там — исхитрились — все равно бы добили… Жалко товарищей: были смелые, преданные люди, еще таких не найдешь… Очень хорошие были люди, и погибли зверски. Виню первого себя в ослаблении бдительности… Теперь — поправлюсь — мы с константиновскими кулачками поговорим серьезно. До свидания, Агриппина Кондратьевна. В лазарете делать нечего, — все думаю о вас, извините меня… Кланяюсь вам.

Иван Гора».

Алешка поднял глаза. Агриппина сидела, опустив веки, — губы у нее были синие и лицо посинело. Алешка испугался, осторожно положил ей на колени письмо и конверт с марками, потихоньку выбрался из вишенника и на улице опять запустил, закидывая волосы, — ему казалось, что он — конь, он даже про себя повторял: «И-го-го».

Около тополей, где были привязаны лошади, угрюмо стояли Андрей Косолапое и Вахрамей Ляпичев — фронтовики.

Тяжело хлопнув калиткой, к ним вышел третий… (Алешка про себя сказал: «Тпру», топнув пятками, остановился — поглядеть.) Третий был Аникей Борисович, — шел, поваливаясь могучими покатыми плечами, как медведь, — круглолицый, медный, заросший закудрявившейся щетиной.

— Ну и власть у вас, казаки, — густо, как колокольная медь, сказал Аникей Борисович, — только и ждут вас продать. — Он отвязал лошаденку, пригнувшуюся, когда сел на нее. Фронтовики тоже отвязали коней, сели.

— Теперь, казаки, айда — по хуторам.

Все трое тронулись рысью. Алешка глядел, как под копытами завилась пыль. Андрея Косолапо-

ва веселый конь, сбиваясь на скок, все норовил теснить задом лошаденку Аникея Борисовича. Казаки завернули за угол. По улице торопливо шла Агриппина, полоща по коленкам линялой юбкой.

— Алеша, — позвала она, задыхаясь. — Куда же ты? — Схватила его за плечи. — Почитай еще… Там, может, еще сказано… — И, нагнувшись, глядела на него матовыми зрачками.

— Нет, я все прочел, Гапка…

— Потрудись, прочти сначала…

Из-за речки Чир донеслись отдаленные выстрелы. Снова раздался конский топот. Из-за угла опять показались Косолапов и Вахрамей Ляпичев. Они, как бешеные, промчались по улице к совету. Через минуту проскакал и Аникей Борисович, не сворачивая — прямо по дороге, что ведет по-над Доном в сторону станицы Пятиизбянской.

Агриппина проводила до Степановой хаты Алешку и Марью, убежавшую без памяти из совета, кинулась искать маленького, — худая голенастая собака озабоченно повела ее в огород, где Мишка, испугавшись выстрелов, плакал под вишней.

Прибежал и Степан Гора с поля. Запер двери в сени, сел сбоку окошка — так, чтобы видеть

улицу.

— Суворовские, — сказал он, — сурьезные казаки. Две, а то три сотни налетело… И ведь белым днем… Значит, была у них здесь рука…

По станице хлестали выстрелы. Улица была мертвая. Вдруг по улице понесся, помогая себе крыльями, петух. Степан наморщил лоб. Марья — заботливо — ему:

— Отошел бы ты от окошка, Степан.

Вслед за обезумевшим петухом промелькнул мимо окна верхоконный — пригнулся к гриве стелющегося коня. Раздались выстрелы — близко, будто за углом дома. Мишка кинулся в мамкины колени. Агриппина, стоявшая у печки, сказала:

— Уйдет. Это Петька Вострodымов, секретарь ревкома… Конь у него добрый…

Десять бородатых казаков, с лампасами на штанах, с погонами на узких черных мундирах, проскакали вслед, высоко стоя в седлах, неуклюже и тяжело махая шашками…

— Суворовские снохачи, — опять сказала Агриппина. — Курощупы.

Степан усмехнулся, качнул головой:

— Держись теперь, — начнут пороть хохлов… Алешка не испугался ни выстрелов, ни всадников с шашками, но когда Степан выговорил: «нач-

нут пороть хохлов», у Алешки затошнило под ложечкой, подошел к Агриппине, прижался к ее каменному бедру.

Улица оживала. Хлопали калитки, выходили за ворота пожилые казаки, переговаривались, не отходя все же далеко от ворот. Наискосок степановой хаты вышел Иона Негодин — в полной форме, при шашке. Воротник давил ему шею, сухая кудреватая борода отдавала вороньим блеском. Задирая бороду, наливаясь кровью, крикнул соседу:

— В добрый час!..

Сосед ответил:

— Час добрый… Давно пора кончать с этой заразой.

— Стоял Дон, и стоит Дон! — гаркнул Иона. — Коммунистам нашего куска не проглотить…

Казаки у ворот вытянулись. Иона, сверкая зубами, синеватыми белками глаз, лихо приложил пальцы к заломленной фуражке. По улице на рысях шла сотня. Впереди поскакивал длинный офицер с большими светлыми усами, в белой черкеске с серебром, в белой мерлушковой шапке. Строго, зорко поглядывал на стороны, сдерживая танцовавшего вороного жеребца, отдавал честь казакам.

— Мамонтов! — ахнул Степан. — Орел! Держись теперь…

На Крестовоздвиженской площади, между белым собором и кирпичными, побеленными известью лавками, несколько сот нижнечирских казаков — все в форме, при шашках, с широко расчесанными бородами — слушали генерала Мамонтова. Казаки стояли пешие, он говорил с коня, которого, важно надув губы, держал под уздцы Гаврюшка Попов.

В первом ряду стояли важно члены станичного совета: председатель — щуплый, седенький Попов, секретарь — дьякон Гремячев — рыжий, воинственный, мужчина, в шнурованных по колено австрийских штиблетах, и — навытяжку — по всей форме, в усах кольцами, — Гурьев…

Мамонтов, уперев руку в бок и другую, — со сверкающим перстнем, — то воздевая к синему небу, то протягивая «к доброму» казачеству, говорил со слезами:

— …Видно, плохо жилось вам, казаки, при безвинно замученном государе нашем? Тяжела была казацкая служба? Обмелел тихий Дон? Или похилились казацкие хаты, опустели закрома, захирели табуны станичные? Продали своего государя… Продали церкви божий… Продали

казачью волю. Щелкоперы, социалисты, коммунисты московские сели на казацкую шею… Что ж, погуляли, казаки, отведали революции. Не будет ли? — Он повел выпученными глазами на станичников, — они молчали, потупясь. — Теперь я вам скажу, что мыслили сделать над вами московские коммунисты… Умыслили отобрать весь хлеб на Дону, угнать станичные табуны. Исконную казачью землю отдать хохлам… И вас отдать хохлам и жидам в вечную неволю… Опомнитесь, казаки!.. Еще не поздно… Еще вострa казацкая шашка…

Сопели, багровели, слушая его, казаки. Он грозно повернулся в седле — указал:

— В пятидесяти верстах — Царицын, большевистская крепость. Не быть сердцу Дона казачьим, покуда Царицын у них в руках. Станица Суворовская, станица Нижнечирская, и Пятиизбянская, и Калач, а за ними другие станицы и хутора, восстав за волю родного Дона, должны сформировать полки и взять Царицын в первую голову… В моем лице славный атаман всевеликого войска Донского — генерал Краснов — вам кланяется на этом… (Мамонтов сорвал белую мерлушковую шапку и низко с коня поклонился на три стороны. Казаки сочувственно зароптали.)

Предлагает вам атаман мобилизовать немедля на защиту родного Дона всех способных носить оружие казаков и иногородних от двадцати до пятидесяти лет. Предлагает немедленно и сейчас же развернуть 23-й и 6-й донские казачьи полки и к ним присоединить мобилизованных. Уклоняющиеся от мобилизации подлежат аресту и наказанию розгами… Казаки, обдумайте, не теряя часа. Вынесите мудрое решение. От себя прибавлю: верю, господи, верю, — да будет стоять нерушимо тихий Дон. Наперед видя ваше решение, казаки, низко вам кланяюсь: спасибо. И особое спасибо моим золотым орлам…

Генерал в другой раз поклонился казакам и особо — бывшим членам станичного совета.

Возвращаясь пеший с казачьего собрания, Иона Негодин вдруг остановился у Степановой хаты, подошел и, вплоть прижимаясь бородой и носом к стеклу, глядел, прищуриваясь. Степан отворил окошко.

— Заходи, Иона Ларионович, что ж ты так-то… Не отвечая, Иона всунул в окошко всю голову.

— Гапка здесь?.. Здесь Гапка… И днем она здесь, и ночью она здесь…

— С маленькими все возится, — примирительно ответил Степан.

— За эту работу я ей жалованье плачу, я ее кормлю, я ее пою?.. Это какой обычай — казацкий или хохлацкий?

— Хохлацкий, — громко сказала Агриппина. Хлопнув дверью, вышла. Иона глядел ей на спину, когда Гапка наискосок переходила улицу. Опять влез головой в окно…

— Ты девку учишь так отвечать? Еще увижу у тебя ее на дворе — горло перекушу. Мать твою!..

Иона скрипнул зубами, выпятил губы. От него пахло водкой.

— Запомнил?

— Пойди с богом, Иона Ларионович…

— А эта… — Иона перекатил глаза, налитые злобным озорством, на Марью, сидящую у печи. — Питерская… Как тебе — жена, любовница? Как нам понимать?

Марья раскрыла рот, ахнула. Степан нахмурился:

— Напрасно набиваешься на шум, Иона Ларионович, не хочу я с тобой драться…

Иона обрадовался, закинулся, захохотав. Опять всунулся в окно по плечи:

— Коммунистка, не укроешь, Степан, ничего из твоего дела не выйдет… Ух ты, стерва! (Опять выпятил бороду.) Агитпроп!

И он быстро увернулся, выдернул из окна голову, когда Степан махнул кулаком. Оправив ременный поясок, угрожая, проговорил:

— Готовь на завтра коня, — мобилизация.

Агриппина сводила коней на Чир, напоила коров, загнала кур в плетеный, обмазанный глиной, курятник, принесла ведер тридцать воды на огород и не знала — чем бы еще заняться, только не итти в хату, где Иона, не зажигая огня, сидел за столом, курил папиросы (подарок Мамонтова казакам)… Хотя уже плохо было видно — сумерки, — Агриппина отворила двери сарая, сняла с деревянного гвоздя рваный хомут и села на пороге чинить его.

Низко нагибаясь, она протыкала длинным шилом кожу, зажав хомут сильными коленями, тянула дратву. Две летучие мыши появились в тускнеющей заре, закружились — все ниже и ниже — над головой Агриппины.

«Кому теперь жаловаться? У кого искать защиты? Брат Миколай — далеко на фронте. Была бы еще казачкой, — все-таки постыдились бы. Хохлушка, девка, сирота — легкая добыча…» Станичников, да еще таких, как Иона, она знала: теперь от них ногтями, зубами не отобьешься… «Убежать? Куда бежать из родной станицы?»

Подняв голову, Агриппина с тоской глядела на зарю, меркнущую за вишневыми сучьями. Мыши мягко взмыли, кружились выше над ее головой.

Она вспомнила, беззвучно шевеля губами, от слова до слова письмо Ивана Горы. Тайно уехать к нему в Миллерово? Сурово спросит: зачем прибежала? За седлом тебя, скажет, таскать — неумелую, глупую, слабую? Нет, скажет, Гапа, понадобишься — сам позову. Ведь не пожалуешься, что убежала от дикого девичьего страха, глядя сегодня на багровые казачьи затылки, что подкосились ноги, — почувствовала себя ярочкой среди волков.

Агриппина, не моргая, всматривалась в сумерки, крепче сжимала колени, когда за воротами раздавался озорной топот подкованных сапог, хмельные, крепкие казачьи голоса. И совсем обмерла от внезапного шороха листвы: кошка спрыгнула с забора в вишенник…

В хате рванули дверь, на двор вышел Иона — в одной рубашке, заправленной в штаны с лампасами. Расставив ноги — исправил нужду. Пошел, нетвердо отворил калитку Слушал, как издали долетал не то собачий вой, не то кричал человек..

— Порют, — сказал. — Порют…

Пошел, тяжело топая, от ворот, гаркнул хриплой глоткой: «Чубик, чубик, вейся, чубик, веселись, казак молодой!..»

Вдруг стал, увидев мутно белеющее агриппинино платье в раскрытых дверях сарая.

— Гапка! (Она не подняла головы, — едва видя, тыкала куда-то длинным шилом.) Гапка! — надрывающе повторил Иона. — Брось это… Давай добром… Знаешь, время теперь? Война… Собачьи ревкомы, советы — под корень… — Он медленно, бешено стиснул кулак. — Шашки наточим, коммунию — под корень… Эх ты, ярка!

Он тяжело плюхнулся на порог каретника. Царапая сапогами по земле, схватил Агриппину за плечи, — поворачивал к себе лицом. Трудно дышал, обдавая ее горячим дыханием чеснока и водки. Агриппина рванула плечи, но руки у него налились, точно каменные, — разинутыми ноздрями тянул воздух.

— Добром, добром, сука…

Боролись молча… Он только раз опустил руку, чтобы отшвырнуть хомут, зажатый в гапкиных коленях…

— Отправить если тебя на хутор, Марья, — ничего не выйдет… По всем хуторам, поди, верховые уж полетели с этой бумагой… (Степан читал и

перечитывал отстуканный на машинке приказ нового станичного атамана о свержении советской власти и мобилизации.) Одна тебе дорога — в Питер…

— Нет, — твердо ответила Марья, — туда нет.

— То-то, что — нет… А тут бы ты все-таки поприсмотрела… Корову надо выдоить утром, вечером… Птицы, поросята — пропадут… Ах, боже ж ты мой, расстройство полное… Сходи к атаману, покажи пачпорт, беспартийная же…

— Нет, — опять ответила Марья упрямо, — и царю не кланялась…

— Никто тебя здесь не тронет, — сиди смирно…

Степан быстро придвинулся, приоткрыл окошко. Слушал, не шевелясь. На сереющих стеклах уныло чернел его большой нос, отвалившаяся губа…

— Другой кричит… Порют, сволочи… Ну вот — ты говоришь, — как я не мобилизуюсь? Запорют шомполами… Брательник Иван — другое дело… Ванька — образованный, он не может итти против совести… А я за что им зад подставлю?

— Пойдешь Ивана убивать? — тихо спросила Марья (сидела она все там же — на скамье у печки).

— Как так — Ивана убивать?.. Одурела ты…

— Против кого тебя мобилизуют? Против своих же рабочих.

— Ах ты, боже ж ты мой! — Степан с досадой захлопнул окошко. — Вот всегда вы так — образованные… Наш брат покуда подумает, — а уж все и сделано… Ну, плохо сделал, ну — ах, ах. А вам все надо наперед примерить, у вас, городских, времени, что ли, много?.. Куда же я денусь от мобилизации? В степь убежать? Чего я там — сусликов буду ловить?

Марья все так же негромко, не спеша, ответила:

— Ты — не один, ты да другой… Знать надо — кто тебе враг, кто тебе друг… Ты при советах — жил?..

— Ну, жил…

— А при атамане — снимай портки…

— Фу ты, — с бабами говорить — воду толочь… Да куда же я денусь?

— Мобилизуйся… Таких, как ты, у них—тысячи… Каждая пуля дана для рабочего… Будете это твердо помнить, — атаманы много с вами не навоюют…

— Ну — и дура. Стрелять-то заставят?..

— Попадать не заставят…

— Да, это — конечно, — стрелять одно, попа-

дать другое… Ах, Марья… Ай, Марья… То была молчаливая, прямо — овца. И — скажи — как разговорилась…

Он охал и пожимал плечами, вертясь задом на лавке…

Дверь потянули снаружи. Степан и Марья обернулись. Вошла Агриппина и тут же, у дверей, села на дощатую койку, где спали Алешка и Мишка. Торопливо, брезгливо, положила что-то рядом с собой на край койки. По другую сторону двери над глиняным тазом висел рукомойник — с носиком. Агриппина глядела на него… Стремительно поднялась, вымыла руки, вытерла их о подол и снова села, низко опустила голову.

Марья молчала, вытянувшись, смотрела на девушку. Едва различимое белое лицо Марьи все будто затряслось. Агриппина вскинулась, схватила то, что принесла с собой, бросила на пол и — опять к рукомойнику, — начала во второй раз мыть руки. Ее поднятые плечи вздрагивали. Степан нагнулся со стула и поднял то, что она принесла и бросила на пол: оказалось — шило, к деревянной ручке его прилипали пальцы. Марья глядела теперь на руки Степана, вертевшего эту вещь. Будто догадавшись, она взялась за щеки, со стоном — ахнула громко… Агриппина — на койке

— замотала головой. Степан разинул рот:

— Ты чего натворила, Гапка? Агриппина ответила хрипло:

— Иону… убила…

— Иону? Да — врешь? До смерти?

— Не помню… Ничего не помню…

Марья быстро села рядом с Агриппиной, обняла, прижала к груди ее голову. Девушку всю трясло, как голую на ледяном ветру.

В ту же ночь Агриппина ушла. Марья собрала ей из своего белья узелок, подарила — хотя и жалея — совсем не ношенную полушерстяную темнобордовую юбку.

Агриппинина юбка была вся изодрана, когда Иона в дверях каретника ломал девку и она, теряя силы, почти без памяти, почувствовала в руке зажатое шило и стала колоть им в часто дышащую грудь Ионы.

В потемках, шопотом, она сказала Марье:

— Противно мне, тошнит меня, лучше я голая уйду, а эту юбку, кофту в кровище — брошу…

Тогда Марья и подарила ей бордовую юбку. Степан тоже одобрил: «Конечно, от такого страшного дела тебе надо уходить подальше, садись в Чиру на поезд, уезжай в Луганск, в Каменскую или Миллерово… Работу найдешь, пачпорт у тебя

не спросят...»

Агриппина ушла огородами. На рассвете свернула с дороги к извилистой, еще таящей ночную мглу, речонке Чир, в кустах сбросила рваное платье. Долго, крепко терла все тело мокрым песком. Присев, окунулась в студеную воду и — свежая — встряхивая влажными волосами, опять пошла по дороге к станции Чир.

10

Минуло три дня, как убили Иону. Сбежавшую Агриппину не нашли: время было такое горячее, — поспрошали на хуторе и бросили. По станицам и хуторам скидывали советскую власть. Ловили коммунистов на огородах, на сеновалах, охотились за ними по степям. Первые отряды формируемой Мамонтовым белой армии уже перестреливались через Дон с отрядами царицынских рабочих. Топили лодки и разбивали паромы на той и другой стороне.

Из станицы Пятиизбянской, по дороге, что идет над Доном, потом спускается с бугров, оставляя влево большой железнодорожный мост, а справа — хутор Рычков и дальше — станцию Чир, — шагом ехала телега об одну конь. У колес понуро шагали безусые казачата — кто в городском

пиджаке, кто в рубахе, но все в новых, синих с красным околышем, фуражках. Их было четверо, с винтовками. Пятый сидел бочком, задевая пятками спицы колеса, понукал вожжой мокрую лошаденку, едва вывозившую телегу из песка.

В телеге на соломе лежал Аникей Борисович. Круглое лицо его было раздутое, синее, в лепешках запекшейся крови, глаза затекли, губы разбиты, голова обмотана грязной, в кровавых пятнах, тряпкой. Руки скручены ременными вожжами.

Когда дорога свернула на равнину, падающую к станице Нижнечирской, — отстоящей от станции на шестнадцать верст, — на западе, на Лисинских предгорьях, замаячили всадники — трое, и еще к ним из балки выскочили двое. Всадники стояли неподвижно. Телега остановилась. Казачонок испуганно соскочил с нее, подошел к товарищам, и они стали глядеть на далеких всадников, бестолково перекидывая винтовки из руки в руку…

Тогда Аникей Борисович тяжело приподнял плечи, лег на боковину телеги. На месте заплывших кровоподтеками глаз у него обнаружились щелки. Набрав в могучую грудь воздуху, — захрипел:

— Пить дайте…

Один из казачат молча подошел к передку телеги, вытащил из-под подстилки бутылку с теплой водой, поднес ее к распухшим губам Аникея Борисовича. Напившись, он с трудом проговорил:

— Егор, ты, что ли?

— Я, Аникей Борисович.

— Не стыдно тебе?

— Батька мой велел тебя везти. Сам его знаешь, — как мне ослушаться?..

Другой из казачат, в большом картузе, задирая худощавое, нежно-румяное лицо, чтобы лучше видеть из-под надвинутого козырька, со злобой сказал:

— Ну — чего? До ночи тут стоять? Егорка, трогай… Егорка взял вожжи, дергая и понукая, пошел сбоку колеса. Всадники, повернув, шагом двинулись по бугру в том же направлении.

— Ребята, — сказал Аникей Борисович. — Получаются такие дела: лучше вы меня отпустите.

— Молчи! — крикнул казачонок в большой фуражке.

Аникей Борисович повесил голову, тяжело дышал, охал, когда телегу встряхивало. Но сквозь щелки глаза его зорко оглядывали и всадников, и степь, и лица казачат.

— Хорошего мало, — опять сказал он. — Это

разведчики на Лисинских высотах. Если белый разъезд — я помру. Если красный разъезд — вы помрете. Чего же хорошего?

Телега опять остановилась. Казачата шопотом начали совещаться.

— Ох, ребята, рвется у меня все внутри… — Аникей Борисович с трудом сел в телеге. — Ребята вы молодые, донские. Не какие-нибудь с верховых овражков паучишки, кто и Дона-то не видел, — пятиизбянские казаки. Ох, ох… Чего хорошего — пойдет про вас слава, что возили в Суворовскую казнить, известного казака… Запоют казачки по всему Дону славу про пятиизбянских… Если били меня вчера — так били старые казаки… Один старчище — меня бьют, а он стоит — привез пакет от Мамонтова — и приговаривает: «Не будешь, Аникешка, царя прогонять, не будешь…» Вот какие монархисты меня били… А из молодых никто не посмел близко подойти… Значит, это наши дела — старших… А вам лучше всего: развяжите мне руки, и я пойду с богом… А вы скажите: лошадь вдруг полыхнула по балке, телега опрокинулась, а он и удрал…

Двое из казачат начали как будто склоняться, двое молчали, отвернувшись. Аникей Борисович засопел.

— С Ваняткой моим вместе, чай, играли?.. Ванятка бы мой да вашего отца повез казнить… Куда бы он глаза потом спрятал?

— Отпустим его, ребята, — глухим голосом сказал казачонок Егор. Другой, в большой фуражке, схватил вожжи, стегнул лошаденку. Никто за телегой не пошел, и он бросил вожжи. Телега опять остановилась.

Казачатам было по пятнадцати — шестнадцати лет. Атаман Пивоваров, избранный четыре дня тому назад, после того как старые станичники разбили пятиизбянский ревком и совет, велел им отвезти Аникея Борисовича в Суворовскую и сдать под расписку Мамонтову. Пригрозили военным временем.

Казачата действительно только издали глядели, как их отцы и другие казаки с кольями и вилами прибежали на площадь, где Аникей Борисович матерно ругал атамана Пивоварова. Ругал он его за приказ — разбирать железнодорожный путь от моста до станции, — сколько возможно будет, — растаскивать по дворам проволоку, семафоры, железо всякое. «И рельсы берите, — приказывал атаман, — на что нам дорога, у нас волы и кони, без нее Дон стоял и будет стоять, а дорога нужна московским коммунистам — хлеб

у нас грабить...»

Аникей Борисович за это ругал атамана, и многие понимали, что правильно. И он еще кричал: «Мобилизацию объявили! Ну и пускай идут воевать, кому не надоело, а мы и германской войной сыты по горло!..»

Тогда-то старые казаки и кинулись к нему, крича: «Мобилизацию разбиваешь, пес, коммунист!» Начали рвать на нем рукава и рубаху. Казачата видели, как он валил по-двое, по-трое казаков, пробиваясь к своему дому. Изловчась, его огрели колом по голове, он упал на колени, и тут его били каблуками и камнями, покуда он перестал шевелиться...

— Руки мне развяжите, — сказал Аникей Борисович. — Я бы кровь высморкал...

Егор положил винтовку и уже начал раскручивать ему руки — в это время издалека, со стороны моста, торопливо зашипел снаряд, гулко ударило орудие, и над головами всадников на Лисинских холмах лопнуло белое, как вата, облачко. Всадники повернули коней и скрылись в балке.

Аникей Борисович и казачата знали, что у моста со вчерашнего дня стояла белая батарея. Казачонок в большом картузе решительно схватил вожжи и, нахлестывая лошаденку, побежал

сбоку телеги. Аникей Борисович сполз на солому. Телегу валяло. Распухшее лицо его моталось, как мертвое.

Выехали на плоскую равнину. И тогда — показалось, совсем близко — сзади, со стороны станции Чир, рявкнула пушка и — только моргнуть — другая, — так свирепо и гулко, что лошаденка споткнулась, казачата отскочили от телеги. Аникей Борисович вскинулся.

— Стой! — заревел, раздирая веки — Стой, сволочи! То — красные. То Яхим подкатил на Чир. Пустите меня!

Снова удар со стороны моста и удар со стороны Чира. Шагах в ста от телеги рвануло землю. Аникей Борисович вцепился зубами в ремни на руках своих. Казачата, одурев от страха под перекрестным огнем белых и красных, бежали за телегой. Лошаденка неслась вскачь по дороге к Нижнечирской.

Когда въехали в станицу, Егорка, едва не плача, сказал:

— Аникей Борисович, в Суворовскую не повезем, здесь тебя сдадим под расписку, бог с тобой…

У станичного управления, покуда принимали под расписку, Аникей Борисович лежал, не

шевелясь, зажмурясь. По голосам казаков, столпившихся у телеги, узнавал знакомцев, запомнил все. «Не добили собаку, жалко, жалко», — это пропищал Попов. Кто-то ткнул в голову, в окровавленную тряпку, и голос Гремячева прогудел: «Хотел быть красным, теперь ты красный… Хохо…»

Аникей Борисович лежал, как труп. Пришлось стаскивать с телеги. Подхватив его семипудовое тело, поволокли через двор к развалившейся избенке. (Все подвалы и сараи на атамановом дворе были забиты пленными.) Бросили на пол, приперли снаружи дверь. Аникей Борисович некоторое время прислушивался… Начал зубами переедать ременные вожжи. Освободил руки, встал, шатаясь. Потрогал лицо, голову, ребра. Нагнувшись — отсморкал кровь. Стало легче дышать.

Два окошечка без рам были забиты снаружи горбылями. Сквозь щели в них был виден заброшенный огород с гнилыми стеблями подсолнуха и помидор. Там показался небольшой мальчишечка, со светлыми височками. Погоняя себя прутиком, он бесился по-лошадиному. «И-го-го…» Подпрыгивая, подходил все ближе. Аникей Борисович постучал в доску ногтем. Мальчишечка

сейчас же подбежал, влез на окно, прижался к щели между горбылями. Увидев в потемках черное, раздутое лицо, — испугался. Аникей Борисович, подманивая его, разлепил разбухшие губы, — мальчонка шарахнулся. Потом все-таки опять влез.

— Сынок, ты чей?

— Питерский, Алешка.

— Марьин сын? Это — радость. Ну, малый, выручай меня.

— Ху, дядя, — сказал Алешка поблескивая глазами, — кто это тебя так отделал?

— Белые казаки, брат.

— А ты им тоже, чай, понаклал?

— Само собой... Ну-ка, лети скорей к Степану. Скажи: Аникея Борисовича избитого привезли.

— Дядя, а ведь Степана взяли сегодня...

— Ай, ай, — проговорил Аникей Борисович. — Плохо наше дело. Тогда тебе придется... Ты смелый?

— Ничего, смелый. Одних пауков боюсь.

— Ну? — Аникей Борисович присел и отчетливо, шопотом стал говорить: — Лети, Алексей, на станцию Чир. Там увидишь эшелон с бойцами — Морозовский отряд... Тебя, конечно, остановят. Может, стрелять будут, — ничего не бойся...

Возьми у мамки белый платочек и помахивай… Тебя схватят: «Кто? Куда? Зачем?» Ты говори: от Аникея Борисовича посол. Вели себя вести к начальнику, Яхиму Щаденко… Ему, видишь, дали знать, что здесь казаки поскидали советы, он и прибыл… Яхиму скажи: самое позднее — завтра утром — Аникея Борисовича будут расстреливать. Яхим, верно, пошлет бойцов меня выручать, ты их прямо веди сюда… Все понял?

— Понял, — часто моргая, сказал Алешка. — Ладно, это я сделаю…

— Молодец. Вы все такие, питерские…

— Дядя, а как я до станции добегу? Далеко.

— Чай, верхом надо, дурачок.

— Ой, верхом. Я упаду…

— Какой же ты смелый, — упаду. Я Степанову лошадь знаю, она умная лошадь: упадешь — она остановится. Упадешь — опять влезешь…

— Ну, ладно, что ли, — сказал Алешка. (С минуту еще глядел в щель на Аникея Борисовича.) Вздохнул: — Сделаю.

Он осторожно, оглядываясь, пошел по огороду — побежал, перелез через плетень.

Скоро настали и сумерки. Аникей Борисович лег на то место на полу, куда упал, когда его втолкнули в избенку. Лучше всего было задремать, но

не мог: то прислушивался, не идут ли за ним — тащить на допрос к атаману, то беспокоили мысли, что мальчишечка заробеет, не даст знать Яхиму. Мучила жажда. Хотелось холодного арбуза.

На атамановом дворе начал кричать человек: «Ой, братцы… Ой, что вы делаете!..» По крику понятно, что пороли человека не лозой — шомполами. От гнева у Аникея Борисовича едва не разорвало грудь, сердце стучало в половицы. Лежал не шевелясь. Вечер скоро померк совсем. Утихли звуки на дворе. Ночь была темная, заволоченная. Пахло дождем.

Когда на железную крышу упали первые капли и зашумел несильный весенний, теплый дождь, Аникей Борисович вдруг заснул, заснул так крепко, что только от грохота ручных гранат — где-то рядом — одурело вскочил, привалился у двери к бревенчатой стене.

Рвались гранаты… Раздались выстрелы… Дикие крики… Тяжелый, бешеный топот ног… Торопливые голоса: «Где он? Где он?»

Писклявый голосишко Алешки: «Здесь, здесь, товарищи…»

Дверь начали трясти и рвать, — затряслась избенка. Ворвались горячо дышащие люди… Аникей Борисович засопел, протягивая руки…

Его подхватили, потащили на дождь, пахнущий дорожной пылью, тополевыми листьями.

— Бечь сам можешь, Аникей Борисович? Бегим… Туточко недалеко. Яхим за тобой коляску прислал…

Глава седьмая

1

Весенний ветер гнал над степью клочья паровозных дымов. Редкие облака плыли, как белые дымы в синеве, тени от них летели по металлически черным полосам пашен, по бурьянам брошенных полей. Летели тревожные свисты паровозов. Поезда растянулись от края до края степи.

Шестьдесят эшелонов 5-й армии Ворошилова медленно ползли из Луганска в Миллерово, чтобы оттуда свернуть на север из немецкого окружения.

В классных — помятых, заржавленных вагонах, в товарных — с изломанными дверями и боками, на платформах — увозилось имущество: горы артиллерийских снарядов, пушки с задранными стволами, охапки винтовок, цинковые ящики с патронами, листовое железо, стальные болванки, машины и станки, кое-как прикрытые брезентами и рогожами, ящики с консервами и сахаром, шпалы, рельсы. На иных платформах был навален домашний скарб — кровати, узлы,

клетки с птицами.

Блеяли овцы, козы, визжали поросята, какой-нибудь самоварный поднос или зеркало, приткнутое боком, пускало солнечные зайчики далеко в степь. На крышах вагонов, развалясь, покуривали пулеметчики у пулеметов. На вагонных ступеньках сидели дети. Сбоку поездов брел скот — коровы и лошади.

Вереницы эшелонов, оглашая степь паровозными свистами, громыхая сцепами, часто останавливались. Табуны мальчишек — босиком по весенней траве — мчались вперед…

Но вот, покрывая детские веселые крики, лязг железа, свисты паровозов, слышалось знакомое грозное жужжание. С неба, поблескивая, падал серебристый германский самолет.

Начиналась стрельба с крыш, площадок и платформ… Скакали верховые, отгоняя скот подальше от полотна. Женщины отчаянно махали руками из окон, зовя детей. Самолет, свирепо ревя, проносился невысоко, от крыла его отделялся черный шарик… «Ложись! Ложись!» — кричали отовсюду тем, кто был в поле. Бомба, коснувшись земли, рвалась, подбрасывая в ржавом дыме пыль, щепы, и часто грохот разрыва замирал в жалобном крике ребенка, или корова неуклюже бежала

прочь от стада, волоча за собой синие кишки.

2

Случилось то, что говорил Ворошилов в салон-вагоне на станции Кабанье.

Главштаб приказал во что бы то ни стало опять занять Сватово. Исполняя приказ, Ворошилов выбил немцев с ветряных мельниц на буграх у села близ Сватова, сбил их батарею, и, так как конницы у него не было, бойцы долго гнались, пешие, за вскачь уходившими пушками. Начштаба Коля Руднев послал донесение главштабу: «Все пока в нашу пользу. Экстренно высылайте две сотни кавалерии и две батареи. Возьмем Сватово».

Но положение на его левом фланге было уже катастрофическим. Донецкая, 2-я и 3-я армии продолжали отступать на восток. Несмотря на мужество отдельных отрядов, ни драться сколько-нибудь успешно, ни держать фронт они уже не могли. Командармы, получая от главштаба приказания — двигаться туда-то и туда-то, — отвечали: «Хорошо, будет сделано», и двигались в том направлении, куда уносились в разбитых вагонах их взъерошенные, шумные отряды, признающие одну — свою собственную — стратегию.

Командармы, командиры, начальники штабов,

комиссары теряли голову в этой путанице зыбкого фронта на колесах. Все связи были порваны. Главштаб перебрался на самый север Донбасса, в Лиски — станцию на магистрали Миллерово — Воронеж.

Туда командарм 3-й армии послал донесение, что его отряды больше не желают покидать своих эшелонов и 3-й армии как боевой единицы больше не существует.

Донецкая и 2-я армии колесили где-то вне возможности поймать их на конец телеграфного провода.

Остатки 1-й армии, потеряв всякую ориентировку, бросились на юг, к Таганрогу, где целые сутки били и трепали 20-ю Баварскую дивизию и отступили потому, что уже не знали, что им дальше делать.

Левый фланг 5-й армии глубоко обнажился. Ворошилов, не получая от главштаба ни кавалерии, ни артиллерии, качал отходить к Луганску.

При переправе через Донец немцы нагнали его, но наткнулись на серьезное сопротивление: это были уже не эшелонные отряды со скифской стратегией — налетать, ударить и рассыпаться… Немцы не смогли сломить сопротивления передовых цепей, Ворошилов в порядке переправил

все части на левый берег Донца и позади себя взорвал мост.

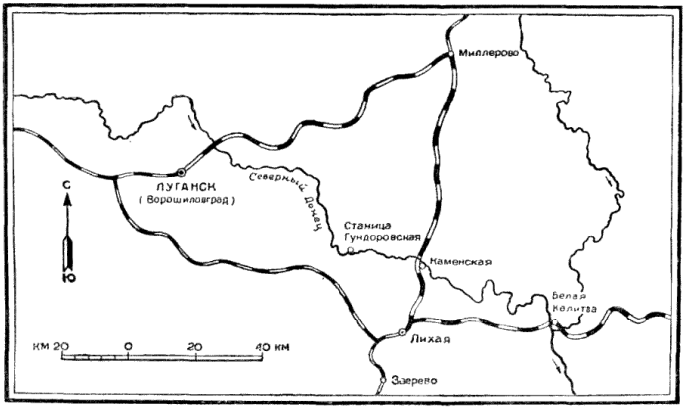
Во второй раз немцы нагнали его под самым Луганском. Эвакуация города еще не закончилась, и нужно было задержать врага по меньшей мере на двое суток. Немцы, обойдя фронт, с холмов открыли ураганный огонь по правому флангу. Он заколебался. Бойцы в панике начали покидать окопы. Тогда Луганский и Коммунистический отряды, расположенные в центре, поднялись и без выстрела кинулись на немцев. Поражаемые в рукопашном бою штыками и гранатами, немцы, бросив батарею, весь обоз и самолет, поспешно начали отступать и, наконец, бежали.

Прошло восемь дней с начала всех этих боев восточнее Харькова. В минуту наивысшего напряжения главнокомандующий красными украинскими армиями был вызван в Москву для дачи объяснений. Главштаб окончательно потерял всякую ориентировку. Отчаявшись собрать в целое катающийся на колесах фронт, он составил новый, весьма неопределенный, план: заставить немцев глубоко втянуться в Донбасс — со взорванными станциями, виадуками и мостами, — тем временем вывести основные силы из-под удара, сосредоточить их в один кулак и

начать контрнаступление.

Местом сосредоточения такого кулака назначалась станция Лихая — на юго-восток от Луганска. Остатки Донецкой и 3-й армии туда направлялись с юга, а 5-я армия Ворошилова — через Луганск, с севера.

Ворошилов понимал, что сосредоточивать войска на станции Лихой опасно и невыполнимо: Лихая была открыта со всех сторон ударам немцев. Поэтому он не выполнил этого неосуществимого распоряжения. Когда эвакуация Луганска закончилась и отряды, державшие фронт, были оттянуты, 5-я армия не свернула на юго-восток, к Лихой, а вместе с шестьюдесятью эшелонами, с формируемыми отрядами рабочей, шахтерской и крестьянской молодежи двинулась на север — на Миллерово.



3

В одном из поездов на паровозе развевался черный флаг с черепом и костями. На трех первых пульмановских вагонах, блиндированных изнутри до половины окон мешками с песком, было суриком написано: «Смерть мировой буржуазии». В вагонах размещался анархистский отряд «Буря». Сюда его занесло водоворотом гражданской войны. В нем все было окутано тайной.

Анархисты даже близко не позволяли подходить к вагонам. Выпрыгивая за нуждой на полотно, одетые — кто в гусарскую куртку, кто в плюшевый с разводами френч, кто в енотовую

шубу с отрезанными полами и в матросской шапочке на вихрастой голове, — анархисты гремели подвешенными к поясу гранатами, хрипели на тех, кто пялил глаза на таких невиданных людей:

— Проходи, чего рассматривать, проходи быстро…

Начальника у них принципиально не было: всякую попытку командовать они считали покушением на свободу личности, всякую дисциплину — насилием. Все вопросы решали большинством голосов, общее собрание у них называлось «конфедерация».

Иногда из вагона — осторожно, задом с площадки — спускался щуплый старичок с нечесаными волосами, в длинном заграничном пальто, в черной мягкой, очень пыльной, шляпе. Выставив кадык, задрав серую бородку, старичок глядел на небо через криво сидящее на плоском носу пенсне. Видимо, его интересовали немецкие аэропланы. Заложив за спину руки, пощелкивая жиловатыми пальцами, он прохаживался, поглядывая по сторонам, приятно улыбался красными, свежими губами.

Это был идеолог отряда, анархист Яков Злой, приехавший в семнадцатом году из Америки.

Отряд отбил его в южных степях у партизанского атамана Лыхо, который всюду возил за собой в тачанке бесстрашного старичка, дивясь на то, что «дид» может бойко стучать на разных заграничных языках.

Когда стемнело и в необъятной лилово-синей вышине высыпавшие звезды затянуло барашками, — на западе, в стороне Луганска, затихли немецкие пушки, погромыхивавшие весь день. Разгоралось далекое зарево. Из-за края степи вымахивал луч прожектора. По эшелонам кое-где послышались песни.

В одном из пульмановских вагонов, где вся внутренность — перегородки и купе — была выдрана и во всю длину стоял узкий из нестроганых досок стол, сидели анархисты, насупясь на колеблющиеся огоньки свечных огарков. Шла «конфедерация».

После горячих прений, когда выдергивались кольты и наганы, было решено: ввиду важности вопроса воздержаться до концах заседания от горячительных напитков. Докладчиком выступал Яков Злой.

Под стук колес, заволоченный слоями махорочного дыма, он говорил:

— …Анархия. Нет слаще слова. Нет чище идеи.

Анархия, или высшая свобода, — предельная мечта человечества…

Яков Злой выговаривал слова сочно и вкусно, улыбаясь свежими губами, лукаво — через криво сидящее пенсне — поглядывая на слушателей.

— …Анархия — борьба со всякой властью во имя безвластия… Мне пятьдесят два года. Я сидел в тюрьмах всех стран мира…

Огоньки на длинном столе заколебались от одобрительного смеха слушателей.

— …Наконец — я на воле… Я дышу воздухом дикой свободы… Наша задача — закрепить это высшее завоевание… Наша задача — создать безвластное общество… Что это значит? Вы меня понимаете?

— Вали, вали… — понукали его анархисты.

— …Мы против всякой формы власти — монархической, буржуазно-республиканской и даже коммунистической… Всякая власть, какую бы цель она ни ставила перед собой, — насилие, тюрьма для вольного духа… Не так ли?

— Так, так… Правильно… Крой дальше! — отвечали крепкие голоса… За столом, озаренным огарками, сидело пестрое общество: здесь были черноморские моряки, которым стало тесно в жизни, украинские деревенские ребята из тех,

кому не стоило вертаться домой за разные дела, и длинноволосые молодые люди, называвшие себя учителями, студентами, а то и акцизными чиновниками, — немало было и таких — по говору из Одессы и Херсона, — кто неопределенно выражался о своей профессии и своем прошлом…

— …Мы должны зажечь пламя третьей революции, — растопыря перед свечой грязные тонкие пальцы, говорил Яков Злой, — великой третьей революции безвластия… Черное знамя анархии мы утвердим над развалинами государств, — ибо всякое государство есть насилие… И пусть вас не пугает: первый удар мы должны нанести диктатуре пролетариата…

— Правильно! Крой, Яков! — одобрительно загудели голоса. Один, деревенский, Микола Могила, сказал отдельно:

— Не для того проливали кровь, чтоб комиссары глядели нам в душу, яки таки инспектора по закромам лазили…

— …Мы числимся в составе пятой армии… Но с пятой армией нам не по пути… Наш путь — к великому опыту безвластия. Наша ближайшая задача — отвоевать территорию, с густым и богатым крестьянским населением, и там поставить наш опыт безвластного общества, уничтожить

всякую зависимость крестьянина от промышленного города… Пусть хаты освещаются лучиной. Огонь лучины нам дороже электрической лампочки… Мы против электрической лампочки. По электрическим проводам город несет диктатуру. Пусть лучина! Но она освещает крестьянскую волю. С черным знаменем бросимся в гущу деревни, разбудим в душах жажду анархии, нашими клинками перерубим электрические провода…

— А нехай их города сдохнут, — сказал Микола Могила.

И другой — медлительно и лениво:

— Тряхонуть города, так щоб пух и перья полетели, — то дило.

На это — один из моряков:

— Деревенщина! Борщ да сало — до скончания времени. А кинематограф ты видишь в своем воображении? Кондитерскую? Или кофейное заведение? Это все в деревне, что ли, у вас? Барсуки.

— Предлагаю, — гаркнул другой, — вопрос о существовании городов выделить особым докладом…

Яков Злой под стук колес мог бы говорить долго, заливаясь красивыми словами. Но слушателям несколько надоели отвлеченные рассуждения.

Люди были полнокровные, реальные. Кроме того, всех озабочивало то, что были связаны по рукам и ногам: приходилось двигаться не туда, куда хотелось, а куда направлялись эшелоны. Бросить вагоны, уйти пешим — тоже было нельзя: в блиндированных вагонах отряд «Буря» увозил добытое кровавыми трудами имущество: пудов двенадцать разных золотых цепочек, часов, портсигаров и золотой монеты, дорогие меха в виде шуб и дамских манто, сахар, кофе и несколько бочек коньяку.

Начались прения по докладу. Горячую молодежь, рвущуюся в споры о текущих проблемах анархизма, скоро оттеснили более солидные. Одному чахоточному, с большими глазами гимназисту, добивающемуся ответа: «Позвольте, товарищи, — как же так? Анархизм отвергает насилие, а докладчик предлагает начать с завоевания территории, то есть — с насилия… Как же так?» — этому сопляку пригрозили выкинуть его на ходу в окошко.

Споры свелись к тому: куда ехать из Миллерова? Пробиваться ли, не давая себя разоружить, в Великороссию или вертать на юг — пробиваться с оружием к Ростову, на Кавказ?

Шумели крепко. Хватали кулаками так, что

огарки подскакивали на дощатом столе. Выяснилось вдруг, что, несмотря на запрещение, половина «конфедерации» пьяна в дым. Так ни до чего разумного в эту ночь не договорились.

4

Вокзал в Миллерове, перроны, пути, пустыри, булыжная площадь — все было запружено людьми, телегами, скотом, конными упряжками орудий, военными двуколками. Дымили костры, окруженные бородатыми фронтовиками в кислых шинелях, митинговали кучки партизан, плакали дети. На телегах — среди домашнего скарба, детей, испуганных женщин — сидели крестьяне, сокрушенно поглядывая на весь этот многотысячный табор.

Со стороны Луганска, свистя и дымя, подходили эшелоны. Но дальнейшего пути на север им не было. Поезда, успевшие проскочить на север — в сторону Лисок — стояли: за горизонтом слышалась отдаленная — артиллерийская стрельба.

На вокзале, в буфете — в углу за столом, заваленном бекешами, оружием, бумагами, — заседало правительство Донецко-Криворожской республики. Совет народных комиссаров собирался в последний раз. Сведения, полученные только

что, были ужасны: немцы, развивая наступление, зашли по грунту севернее Миллерова, верстах в сорока заняли станцию Чертково, перерезав дорогу на Лиски. На руках правительства оставалась разношерстная армия, огромное военное и гражданское имущество и тысяч двадцать беженцев…

Председатель Совнаркома республики — Артем — с обритым круглым черепом, широкий, круглолицый, медленно жуя хлеб, поглядывал ястребиными глазами на торопливо двигающиеся губы Межина. Коля Руднев, опустив веки, приоткрыв рот, с усилием вслушивался, — юношеское лицо его было подернуто пеплом усталости. Плотный, бритый, спокойный Бахвалов, брезгливо выпятив нижнюю губу, листал документы. Иные, смертельно уставшие, обожженные солнцем, сидели — кто закрыв рукой глаза, кто подперев кулаками голову. Пархоменко писал записку, — захватив горстью усы, — щелчком перебросил ее Коле Рудневу. Тот прочел: «Держи курс на Клима…» — и вспыхнул белозубой улыбкой.

— Путь на север отрезан, рисковать — пробиваться в Лиски — безумно, — взволнованно говорил Межин, вытягивая бороду в сторону Ворошилова. — Путь на юг через Лихую также,

повидимому, уже отрезан. Остается единственный путь на восток через Лихую — на Царицын. Но можем мы поручиться, что немцы пропустят нас через Лихую, не устроят нам кровавую баню? Нет, поручиться нельзя. И даже если мы успеем провести все эшелоны через Лихую, нам придется двести верст пробиваться на Царицын через восставшее казачество. Можем мы пятнадцать тысяч женщин, детей, рабочих подвергнуть случайностям войны? Нет, не можем… Вывод…

— Ага! Вывод? — встрепенувшись, проговорил Коля Руднев.

— Вывод: мы в мешке… Мы перегружены небоеспособными элементами… Боевые части еще крайне недисциплинированы… В таком состоянии мы не сможем прорваться ни на юг, ни на север, ни на Царицын… Нужно помнить: по Брестскому договору — немцы не должны занимать Донецкого округа. Если мы останемся здесь и не будем их трогать, то и немцам нет основания трогать нас… За три-четыре недели мы приведем армию в порядок, подтянем силы, дисциплинируем и тогда сможем перейти в наступление, — налегке, без кошмарного привеса в шестьдесят эшелонов… Я предлагаю остаться в Миллерове…

Он обратился к Артему, и тот тяжело кивнул головой. Угрюмый Бахвалов, не глядя, ответил: «Да, другого выхода нет». Пархоменко насупился, грыз усы. Коля Руднев повел плечами, точно у него зачесалось под рубашкой.

Ворошилов, подтянутый, свежий, румяный, посмеиваясь карими глазами, как всегда, казалось, с жадностью впитывал слова и впечатления.

— Можно мне? — Он протянул руку к Артему, и тот опять тяжело кивнул. — Я согласен с товарищем Межиным: армию распускать нельзя… Отряды нужно свести и дисциплинировать. — Он встал, коротким движением оправил наплечные ремни. — Но я не согласен, что это нужно делать в Миллерове. Немцы разбойничают на Украине и будут разбойничать на Дону. Нас они здесь не оставят в покое…

Рука его повисла в воздухе. За большими вокзальными окнами рванул разрыв, посыпались разбитые стекла. Затопали ноги бегущих… Закричали: «Двоих… Санитары… Гляди, гляди, — еще летит… Лезь под вагоны…» И снова грохнула бомба с самолета. Столб извести, дыма, осколков наискось влетел в окно, осыпая сидящих за столом. Артем усмехнулся, ладонью смахнул с голого черепа. Бахвалов свирепо выпятил губу,

оглядываясь на окошко. Пархоменко пробасил:

— А в крышу бы угодила, — так и — всмятку… Ворошилов потянулся за фуражкой, лежавшей на бумагах, глубоко надел.

— Видели, как они нас оставят в покое? Товарищи, наша священная задача — сохранить армию, сохранить все имущество, сохранить доверившихся нам беженцев… Путь один — в Царицын… Будем пробиваться месяц, три месяца. В пути сформируемся, в боях окрепнем… В Царицын мы должны притти с боевой армией… И пусть Троцкий настаивает на нашем разоружении.

— Разоружении? — переспросил Артем, багровея.

— Да… Троцкий приказал главштабу разоружить все украинские армии и отряды, переходящие границу Великороссии. Будто бы во исполнение договора с немцами. Не верю! Троцкий считает нас партизанскими бандами… Требование Троцкого считаю глубоко ошибочным…

— Предательством, — пробасил Пархоменко.

— Революция — одна. (Лицо Ворошилова вспыхнуло.) У нас один враг, один фронт и одна стратегия — на Дону, на Украине, в Великороссии… Драться сейчас здесь, в Миллерове, с немцами — задача местная и частная. Задача

общереволюционного порядка выдвигается в Царицыне… Если белое казачество овладеет Царицыном, — Волга окажется у контрреволюции, весь север останется без хлеба… Вывод понятен… Ставлю на голосование предложение: немедленно всем эшелонам дать направление на Царицын, и ни при каких обстоятельствах нашей армии не распускать и не разоружать.

5

На этот раз остановились, видимо, надолго. Иван Гора высунулся в окошко. Восток еще не зеленел, ночь была темна.

— А ну, давай котелок, — сказал Иван Гора в темноту вагона. Осторожно перешагивая через спящих, выбрался на площадку, соскочил на полотно. За ним вылезло несколько человек, таких же голодных: забыли, когда и ели, — довольствие было — одна сырая картошка.

Со вчерашнего вечера эшелон полз почти без остановок — из Миллерова в Лихую. Несколько раз пробовали вылезать — варить эту картошку, но — только разожгут огонь — начинаются короткие свистки паровоза, крики: «Садись, хлопцы!..»

Сейчас стали где-то в степи, близ Донца, неподалеку, должно быть, от станицы Каменской. Впе-

реди что-то застопорилось. Иван Гора спустился с насыпи, и те, кто вылез за ним — шахтеры, — начали ломать драночные щиты, лежавшие в штабелях у полотна. Огонь запылал, озаряя снизу черные колеса вагонов. Шахтеры молча глядели, как Иван Гора на ремешке подвешивает германский стальной шлем, полный картошки.

— Пламени много, перегорит ремень, — сказал один молодой, повыше ростом, чем Иван Гора. На нем не было ни шапки, ни сапог — все снаряжение: рваные штаны и рубаха, перепоясанная патронташем. — А шапка эта удобная, — сказал он, кивнув на германский шлем. — Надо бы достать такую шапку…

Другой, с голой грудью, с могучей шеей, с добродушным сильным лицом, едва начавшим обрастать кудрявой бородкой, присев на корточки, сказал:

— Дырочки в ней просверлить с краю — и дужку железную, — тогда будет удобно…

— Дырочки, дырочки… То ж — боевой шлем, дура, — хрипло проговорил третий, коренастый, с черными волосами, падающими на мрачные глаза. Этот одет был хорошо — в зелено-серые суконные штаны и в такую же суконную куртку, лопнувшую подмышками. Одежду он снял с нем-

ца в бою под Луганском. Не было у него только сапог: сапоги оказались тесны…

Иван Гора, примащивая сбоку костра на угольях шлем с картошкой, приглядывался к этим людям.

Вчера, когда неожиданно в Миллерово стали прибывать эшелоны, Иван эвакуировался вместе с лазаретом на вокзал. (Раны его совсем почти поджили, а в горячке этого дня он и забыл о них.) На вокзале столкнулся с партийцем Евдокимом Балабиным, путиловцем. Долго разговаривать было некогда: «Идем в Особый отдел, сейчас тебя оформим…» Протолкались к вагону, там тоже долго не спрашивали, — знали, что за человек Иван Гора.

— На ногах стоять можешь?

— Конечно, могу, что за вопрос…

— Сейчас ударная задача — поднять боеспособность армии. Тебя просим в шахтерский отряд…

Иван Гора кивнул головой, взял из кучи — на полу вагона — винтовку, пошел искать третий шахтерский отряд, из тех, что присоединились к армии на станции Варвараполье. Увидел мрачных, здоровых, чумазых, как дьяволы, хлопцев. Бросив шахты и поселки, шахтеры уходили от немцев с женами и детьми. Кое-какой домашний

скарб их помещался на крышах вагонов.

Иван Гора поговорил с тем, кто стоял на путях, дал свернуть махорочки и, не обнаруживая себя, просто — попросился в их отряд бойцом.

«Ладно, — ему ответили, — иди, будешь с нами…»

Вода начала закипать. Все присели на корточки, слушая, как запевало тонкими голосками над картошкой. Вдоль насыпи загорелось еще несколько костров.

— Это не дело, хлопцы, — сказал Иван Гора. — В поле картошку варить… Так мы немцев не побьем…

Трое сидящих перед огнем поглядели на него, стали ждать, — что он скажет дальше.

— В отряде надо организовать правильное хозяйство. Мне скажут: «Иди в разведку». Куда я пойду, голодный? Правильно? Правильно. Давайте, хлопцы, поговорим: что у кого есть. Картошку, сало, хлеб возьмем на учет. Составим ведомость — сколько довольствия нам нужно, пошлем ее в штаб армии. Выберем завхоза. И дело у нас пойдет.

Человек в немецком мундире, мрачно глядя из-под спутанных волос на Ивана Гору, спросил:

— Ты кто же такой будешь?

— Я — издалека, — ответил Иван Гора, — питерский металлист.

— Значит, коммунист…

Иван Гора настороженно покосился. Все трое глядели на него открыто, просто, доброжелательно.

— А у вас в отряде, — спросил он, — много коммунистов?

— А мы все за советскую власть, — простодушно ответил высокий хлопец в рваной рубахе. Другой, красивый, с бородкой, подтвердил: «Ага». Мрачный кивнул волосами.

— Партийных у нас мало. Грамотных мало. Мы все большевики. Слыхали, слыхали про вас, питерских металлистов. А вы слыхали про нас, — не знаю…

— Мы — подземные, — засмеялся, закидывая голову, парень в рваной рубахе. — Кроты…

— Солнышко раз в неделю видим, — сказал другой, с бородкой.

Мрачный, в досаде, что его перебивают, тяжело посмотрел на хлопцев.

— Эти вот — Федька и Володька — с тринадцати лет в шахтах. Мы тут все — потомственные. — Он качнул головой, усмехнулся, и усмешка у него была такая же мрачная, как блеск черных глаз. —

Мы сразу увидели, что ты коммунист… Свои, брат, свои, не бойся.

— Осторожность в нашем деле не мешает, — весело ответил Иван Гора. — Мы с отрядом поехали в одно село, там все за советскую власть, но без коммунистов. Наутро я один живой и остался.

Тогда оба хлопца совсем уже громко засмеялись, показывая белые зубы. Мрачный сказал:

— В деревне это может быть, а на шахтах не может быть, чтобы советы — без коммунистов… Я вот — Емельян Жук… Кем я был до советской власти? Я тебе сейчас скажу… Спал на нарах, в грязи, во вшивом тряпье. Пропивал с себя все, жену бил… Боже мой, приду пьяный, и ведь бить мне никого больше не позволено. Обид у меня много, как себя помню, — все обиды помню, у меня кровь в голове спеклась, от обид голова болит… Вот — я и зверь… Главный бы инженер не унес ног тогда, ночью, немец, сукин сын… — Он бешено взглянул на хлопца в рваной рубахе. — Володька, помнишь первый митинг за советскую власть? Я тогда хотел немцу горло выесть… Тогда первым делом взяли мы на заводском дворе досок — полуторадюймовки, — из бараков всю грязь — нары — выбросили, перегородили, — каждому отдельное помещение, дверца и замочек… Я

просыпаюсь утром, помню, что я — хозяин, иду мимо бункеров, коксовой печи, — я хозяин, спускаюсь в ствол, иду к своему забою, — я хозяин… Теперь мне незачем с женой драться. Теперь у ней — самовар, ей стыдно ходить в тряпье, она ходит опрятная, потому что я — член заводского комитета, мои дети в школу ходят… Ты, браток, подумай над этим и напиши в Петроград: чтоб не сомневались, — донецкие шахтеры пошли воевать за советскую власть. Воевать будем жестоко…

Послышался конский топот. Все четверо обернулись в темноту. На свет костра наскакивало пять всадников. Сразу осадили, — с фыркающих лошадиных морд полетела пена в огонь. Первым соскочил крепкий человек, в хорошей гимнастерке, и сейчас же присел на колени у огня, достал из полевой сумки карту — нагнулся, рассматривая.

За ним с мокрого коня слез могучий человек, с длинными усами, и — третий — щупленький юноша в серой куртке. Оба они быстро присели сбоку первого человека над картой. Он сказал:

— Ума у вас много у обоих: оставлять на своем фланге в десяти верстах вооруженную станицу. А если завтра же они взорвут мост под Камен-

ской?[3] Двадцать эшелонов у нас отрезаны?

Щуплый юноша ему с упрямством:

— Постой, Клим… Еще хуже, — ввяжемся драться с гундоровцами, потеряем чорт знает сколько времени. У нас вся задача — как можно скорее проскочить через Лихую…

— Значит, ты ведешь арьергардные бои, имея на плечах неразбитого противника? Так надо понять твою тактику?

Тогда могучий человек, затеняя своими усами полевую карту, пробасил:

— Коля, он прав…

— Конечно, прав, — горячо сказал Ворошилов. — Все равно два-три дня нам придется сдерживать врага под Каменской. На рассвете мы бросим отряды Лукаша и Луганский с батареей Кулика на Гундоровскую… Они пойдут левым берегом Донца… — Он локтем отстранил от карты голову Пархоменко. — Александр Яковлевич, убери же усы, ничего не видно… Гундоровскую занять и держать… Левый фланг у нас будет надежен. Фронт мы разворачиваем по обе стороны полотна перед Каменской…

---

[3] Примечания: 3

Станица Каменская приблизительно на полпути между Миллеровом и Лихой. Станица Гундоровская — в десяти верстах на запад от Каменской, — на левом берегу Донца. (Прим. автора.)

Иван Гора, чтобы виднее им было глядеть на карту, подбросил в костер еще парочку щитов. От поднявшегося жара Ворошилов откачнулся назад.

— Ну ты, уж будет, — сказал, глядя на Ивана Гору, и — вдруг: — А! Это вот кто… Здорово!

— Здорово, Климент Ефремович, — ответил Иван Гора.

— Ты ведь в Смольном тогда стоял на охране?

— Я, Климент Ефремович.

— Ты у них в отряде?

— Со вчерашнего дня.

— Правильно. Поработай с ними. Шахтеры — народ железный, но с дисциплиной у них слабовато. — Движением век он подозвал ближе Ивана Гору.

— С Петровым — командиром отряда — разговаривал?

— Климент Ефремович, командир у меня на подозрении.

— Ваш Петров совершенно зря угробил отряд два раза на Донце и под Луганском… Завтра я у вас промитингую. Дадим надежного человека. Ты подготовь хлопцев…

— Есть.

— В разведку идешь?

— Есть, товарищ командарм.

— Отбери человек десять. Задание такое: гляди… (Иван Гора присел, Ворошилов огрызком карандаша поставил точку на карте.) Ваш эшелон находится здесь… Каменская — в трех верстах южнее, — здесь. Ты пойдешь левым берегом Донца прямо на станицу Гундоровскую. Обстановка такая: гундоровские казаки вырезали ревком и совет. Третьего дня на них налетел Яхим Щаденко с отрядом, потрепал и ушел. Сегодня получаем сведения, что гундоровцы намерены ударить на Каменскую, взорвать мое/ и отрезать наши эшелоны. Это значит: они вошли в связь с немцами, получили оружие. Немцы близко. Где немцы? Вот твоя задача: нащупать германские силы. Желательно до полудня иметь от тебя сведения…

— Есть, товарищ командарм…

— Дело ответственное и опасное…

— Есть.

Иван Гора отвел от костра мрачного шахтера и обоих хлопцев, пошептал им, кивая на командарма, и они вчетвером полезли на полотно к вагону. Когда он обернулся, — у костра двое уже садились на коней. Ворошилов, присев над костром, смеясь, доставал из шлема картофелину. Обжигаясь, покидал ее на ладони, разломил, половину съел,

половину бросил обратно. Взяв у вестового повод, легко и мягко перекинулся в седло, смаху толкнул вскачь гнедого жеребца.

Пархоменко влез тяжело на лошадь. Руднев запрыгал на одной ноге за тронувшейся лошаденкой и, вскочив, долго ловил стремя. Всадники унеслись в ночь.

Иван Гора сказал Володьке:

— Картошку-то возьми, раздай по карманам.

Глава восьмая

1

Пархоменко перекинул бекешу через шею рыжей лошаденки, папашу сдвинул на затылок, сидя в седле боком, — вынул ногу из стремени. Солнце поднималось над буро-зеленой степью — жгло его бронзовое добродушное лицо.

По обе стороны полотна копошились люди, — с криком, говором, смехом копая и кидая землю. Линия окопов на западе упиралась в пышные заросли левого берега Донца. Позади, верстах в трех, раскинулась большая станица Каменская. Туда — через мост — ползли эшелоны.

Много разного люда переправлялось из-за реки на лодках — добровольно рыть укрепления. В станице начиналась паника. Каменская давно слыла красной станицей. Еще зимой станичный совет арестовал свыше полсотни местных и приезжих генералов и казачьих офицеров и отправил их в центр, в Луганск. Время было такое трудное, что начальнику Красной гвардии, Пархоменко, пришлось их расстрелять. Казачество близлежащих хуторов и станиц, и особенно — самой контрре-

волюционной — Гундоровской, пообещало за эти аресты расправиться с каменцами. Затаив давнишнюю злобу, ждало только случая. С подходом немцев случай представился. В Каменской ждали налета каждую ночь.

К Пархоменко подошла толпа добровольцев — были тут и ремесленники, и хуторские мужики, и мещане, жившие на окраинах станицы, и мальчики из реального училища. Некоторые его узнали, протягивали руки. Он здоровался с верха…

— Александр Яковлевич, сила-то ваша — надолго к нам?

— Остались бы у нас, мы бы тут фронт образовали, все бы взялись за винтовки, ей-ей…

— Был здесь Яхим, помог нам. Но что ж, — Гундоровскую зажег, а казаки все в степь убегли. Теперь они вдвое злее.

Пархоменко, крутя ус, говорил с верха:

— Кто с лопатами — милости прошу… Остальным придется обратно, товарищи… Шанцевого инструмента свободного нет… Катитесь, товарищи, из военной зоны.

Те, кто был с лопатами, пошли копать. Остальные неохотно поплелись к реке. Осталась стоять одна рослая, красивая, нахмуренная девка.

— А ты чего потеряла? — сказал ей Пархоменко, наезжая так, что лошадь задела губами девку. Но она и не пошевелилась. — Я ж тебе не найду — чего потеряла…

— Ну, не окопы рыть — дайте винтовку, — хриповато, молодым голосом, мрачно сказала девушка и подняла на него красивые, сердитые глаза под темными бровями…

— Воевать хочешь? — спросил Пархоменко, весело морща нос.

— Приходится…

— Почему?

— Выхода нет, — зло сказала она и опять стала глядеть на выставленную вперед босую ногу…

— Ты кто ж такая?

— Агриппина Чебрец. Я казака убила на Нижнем Чиру. Яхим меня взял в эшелон… Не для того я убила, чтоб меня всякий чорт хватал… Ну, в Каменской я вылезла… Дашь винтовку или нет? Не шутя говорю! — Она опять подняла глаза, и Пархоменко увидел: вот-вот они замутятся слезами.

Александр Яковлевич насупился, вытащил из полевой сумки клочок бумаги, написал несколько слов.

— Пойди, — видишь — где разгружают вагон. Спроси командира Лукаша, передай записку.

Постой — в юбке, что ли, воевать будешь?

— А ну тебя! — Агриппина схватила записку, стремительным шагом пошла по полю. И когда она была уже далеко, Пархоменко взялся за бока и раскатистым басом захохотал так, что лошаденка запряла ушами, сама побежала рысью.

Из вагонов уже выгружались бойцы и на поле, пятясь и оглядываясь, строились в две линии. С платформы, с криками и веселой руганью, кидали на руки артиллерийские снаряды, грузили их в двуколки. Четыре орудия в разномастной запряжке стояли впереди, неподалеку — оттуда тоже что-то кричали.

Невысокий военный с черными усиками, красный, потный, с разодранным воротом, метался от вагона к бойцам — хрипел надорванным горлом. Агриппина прямо подошла к нему, дернула за рукав:

— Начальник…

Лукаш кричал:

— Повозок для снарядов нехватает… Вторая линия бойцов возьмет по снаряду в руки, донесет до места расположения батареи…

Агриппина потянула его за рукав. Лукаш обернулся, оскалил зубы.

— Начальник, прочти записку.

— А ну тебя…

— Прочти записку, — сурово, упрямо повторила Агриппина.

Он схватил, прочел.

— Товарищ Федосеенко! — все так же надрывая шейные жилы, заорал Лукаш. — Выдай девке винтовку, патроны… (И Агриппине). Имя, фамилия? Ладно, потом запишу, если живая вернешься… Иди в цепь… Постой… Как же ты?.. Эй, Федосеев, выдай девке штаны…

Из товарного вагона ответили с досадой:

— Нет штанов…

— В бою добудешь, ступай…

Часам к семи утра в вагон Ворошилова, прицепленный к бронепоезду, стали поступать сведения разведки. Охлюпкой — без седла — прискакал Володька-шахтер, сбивчиво рассказал, что они — пять человек — ночью прошли казачьи пикеты, когда стало светать, — у самой станции увидели германский разъезд, — немцы шли на рысях со стороны Старобельского шоссе (с северо-запада) в Гундоровскую, — шахтеры не удержались, обстреляли немцев и взбудоражили всю станицу. Пришлось укрываться на гумнах. Он, Володька, как ему приказал Иван Гора, поймал казачью лошадь и охлюпкой прискакал сюда, а Иван

Гора с товарищами сидят на гумне, и их надо выручать.

Ворошилов отдал приказ — разбить противника и занять Гундоровскую. Коммунистический отряд Лукаша и 1-й Луганский двинулись левым берегом Донца, степью — еще по-весеннему свежей и зеленой. Солнце уже начинало жечь спины и затылки.

Вдали за волнами степного жара показались пирамидальные тополя, сады, белая церковь станицы Гундоровской, мирно, казалось, дремлющей на берегу Донца. Четыре пушки батареи Кулика, валясь на стороны, вскачь на рыжих, пегих, заморенных лошаденках, перегнали цепи и всползали на меловой холм.

Цепи двигались торопливо, бойцы на ходу стаскивали пиджаки и шинелишки. Из береговых зарослей начали постреливать казацкие пикеты. Агриппина шла, как во сне. Тяжелый парусиновый мешок с патронами бил по бедру, ремень винтовки резал плечо. Она глядела на коршунов, плавающих над степью… Чей-то голос время от времени кричал сзади: «Девка, не зарывайся». Агриппина останавливалась, набирая полную грудь теплого степного ветра.

Когда с мелового холма ударили пушки Кулика,

мощные звуки эти приободрили бойцов. Клубы дыма поднялись за далекими тополями. Плавающие коршуны испуганно метнулись в синеве…

Агриппина, как и все бежавшие справа и слева от нее, скатилась в мелкий окоп, только что брошенный казаками. Высокие тополя, скирды прошлогодней пшеницы, соломенные крыши амбарушек и мазаных хат были в трехстах шагах. Много хат пылало в безветрии полудня, как свечи, без дыма, высоко взметая хлопья горящей соломы и кружащихся над пожарищем голубей.

Подобрав под юбку босые ноги, вытянув шею, Агриппина, как птица, вертела головой: она не решалась стрелять попустому, как другие, — зря тратить патроны… Стрелять она умела — еще девчонкой ее научил брат Миколай… Казачьи пули поднимали пыль у нее под самым носом. Но хоть бы один показался казак…

За ее плечом, обжигая газами, застукал пулемет. Впереди стали падать веточки с кустов. Через ее голову перескочил Лукаш, вертя наганом, — раздирая пасть во все лицо, — не было ничего слышно, но понятно: «Вперед, хлопцы…» Агриппина, без усилия, будто поднятая ветром, встала и полетела босыми ногами по горячей земле. Впереди — плетень. Торопливо подумала:

«Как же полезу — заголюсь...»

Сейчас же ее обогнал пожилой человек в очках, в сваливающихся полотняных штанах. Он неловко полез через плетень. Агриппина рванула ногами узкую марьину юбку и, гонимая все тем же небывалым восторгом, перепрыгнула на зады казачьего двора — на гумно. И там, наконец, увидела врага.

Вдоль мазаной стены, нагнувшись, бежал чернобородый человек, в коротком черном мундире с красными погонами. Агриппина подняла винтовку... «Дура, стреляй!» — закричал человек в железных очках, — он весь трясся, ища в карманах обойму. Казак заскочил за угол сарая, прижавшись к стене, стал целиться. И прежде чем Агриппина нашла его искаженное злобой лицо на прыгающей мушке ружья, казак сам выстрелил, — человек в очках взмахнул руками. Агриппина вскрикнула, нажала спуск — ложе тяжело толкнуло ее в ключицу. У казака далеко отлетела винтовка. Он завизжал и головой вперед кинулся на девку, и оба — и казак и девка — схватились голыми руками, в обнимку. Агриппина чувствовала, как трещат ее и его кости. Борясь, дыша, сопя, они крутились. К ним подбегали бойцы. Казак ломал ей спину, сухой бородой

обдирал шею, добирался зубами до горла. Оба упали. Покатились. Руки его вдруг бессильно разнялись. Агриппина вскочила. Казак хрипел.

Кто-то сильно, ласково поддержал ее за плечи. «Собака… снохач… собака…» — шептала она… Стряхнула с плеч тяжелую руку, обернулась… Перед ней стоял Иван Гора.

— Гапка! — сказал он, растягивая крепкозубый рот от уха до уха… В круглых карих глазах его было такое изумление, такая радость, — Агриппина едва не обхватила его за, шею руками. Это при всех-то!.. Проговорила только, с трудом разжимая зубы:

— Иван… Здравствуй…

Волна наступающих понесла Агриппину и Ивана на широкую церковную площадь. Бой кончился, казаки были выбиты из станицы и верхами уходили в степь, за холмы… Все реже хлопали одиночные выстрелы. Слышался смех, веселые крики. Скрипели колодцы. Дым, жаркая пыль застилали станицу, медным шаром висело над ней полдневное солнце.

— Ну, встретить ее в бою!.. Гапа!.. Опомниться не могу, — повторял Иван Гора.

— Потом все расскажу, Иван… Пить хочу… Только теперь у нее начали трястись ноги и руки.

С трудом стащила ремень винтовки с плеча, голые ступки ее разъехались в прохладной грязи у колодца…

— Гапа! Гапка! — закричали грубые, веселые голоса. К ней протискался брат Миколай — оброс бородой, возмужал… Его она обняла и голову на минуту положила ему на грудь… Подошел молодой казак Иван Прохватилов, холодными, светлыми глазами прямо глядел в глаза — ударил Гапку рукой в руку:

— Что же ты не во всей боевой форме?.. Смотри, засмеем!

Подошли Матвей Солох и оба Василия Кривоноса… Как медведь, протолкался Тарас Бокун: «Это твоя сестра, Миколай?» — и рот разинул… «Девка что надо», — сказали бойцы. Здоровались, знакомились, одобрительно оглядывали Агриппину.

Она стояла, неживая от стыда, опустив голову в линялом платке, повязанном по-украински. Юбка ее была разодрана во все бедро, кофта висела клочьями, и на боку кровоподтеки от казачьих когтей…

Молча она стала выбираться из круга бойцов. Иван Гора догнал ее, Агриппина шла к опрокинутой телеге, где валялся ничком убитый казак.

— Неужели с него возьмешь? — спросил Иван.

— Командир приказал добыть. Я их сейчас у колодца выстираю.

— Пусти, пусти, — сказал Иван, сурово отстраняя Агриппину. — Я сам это сделаю. — И, присев, начал стаскивать с казака штаны с лампасами и добрые сапоги.

2

Тут же на площади зашли на опустевший казачий двор, и у колодца в корыте, где поят скот, Агриппина начала мыть казачьи штаны.

Иван Гора сидел около, держа между колен винтовку, глядел, как Агриппина вытягивала на веревке деревянную бадью и, подхватив ее за дужку, откидывалась — сильная, стройная, — выливала воду и снова опускала бадью в колодезь и усмехалась оттого, что ей было приятно, — вот Иван сидит около и смотрит на нее.

— Письмо получила мое? — кашлянув, спросил он. Агриппина кивнула. — Смотрю на тебя — не верю… Здорово ты вытянулась за полтора года.

Агриппина отвернулась. Влезла босыми ногами в корыто и топтала штаны.

— Ты их топчи с песком… Ты, Гапа, переходи в наш отряд. Я тебя запишу… И тебе легче, и мне спокойнее.

— Ладно, — ответила Агриппина и повернулась к нему спиной.

— Ты что там натворила в Нижнем Чиру?

— Ну — чего… (Она задохнулась, он молчал.) Для кого-нибудь, значит, я себя берегла… Очень даже хорошо вышло… Тебе, чай, все рассказали, — чего спрашиваешь…

— Правильно, — туда Ионе и дорога, подлецу… Правильно, Гапа… Начала жить смело, так и продолжай.

Она выстирала, крепко выжала штаны, пошла вешать их на солнцепек; Иван, как подсолнух, поворачивался к ней, стараясь все-таки не глядеть на ее смуглое бедро, мелькающее в прорехе разодранной юбки.

— Как ты с казачишкой на гумне сцепилась, ах, здорово!.. Ну, девки пошли в революцию… Себя в обиду не дают…

Агриппина — не оборачиваясь:

— А чего же девкам делать?

— Нет, правильно, правильно…

Тогда она вдруг, в первый раз, засмеялась, — брови ее по-детски разошлись, лицо стало круглым, милым, открылись ровные зубы, — расцвела, как роза.

— Ты чего? — спросил Иван, растягивая рот

вслед за ней.

— Над думкой своей смеюсь.

— Ну и дура ты…

Она еще звонче засмеялась, подгибая колени, — вот-вот, кажется, сядет на землю. Иван ударил в землю ложем винтовки, обиженно скрутил нос, стал глядеть в сторону, и все-таки и его разобрало: захохотал, разинув рот. Тогда Гапка села.

— Ой, мама! А я ждала — ты сурьезный, не подступишься к нему… А еще — боялась — скажет: что я тебя, дуру, скажет, за седлом буду возить? Ой, мама!

— Ладно, надевай штаны, ты — боец! Иди к отряду… Хватятся — будет не до смеху…

— Они же волглые…

Иван надул щеки. Но и самому хотелось еще минутку протянуть у колодца на опустевшем дворе — глядеть, как. Агриппина взяла штаны, встряхнула их, пощупала и, качнув головой, перекинула через плечо. Легко нагнувшись, — взяла с земли сумку с патронами, вдруг испуганно оглянулась — где же винтовка? Высоко подняла брови. Увидела ее у Ивана между колен, и он не сразу отдал, попридержал…

— Ну, отдай…

— Бери, бери…

С усилием она стала дергать ружье. Горячее бедро ее коснулось его плеча и так обожгло, — Иван странно посмотрел. Она быстро нахмурилась:

— Это брось, Иван…

Но договорить им на этот раз не пришлось. За воротами, оглушительно грохнув, взвился столб дыма и пыли. Закричали люди, началась стрельба. Иван, вскочив, велел Агриппине надеть волглые штаны, и покуда она прыгала на одной ноге, неумело попадая в них другой ногой, разорвалось еще несколько снарядов. Началось контрнаступление немцев вместе с казаками: их конные сотни вернулись из степи и быстро окружали станицу Гундоровскую.

3

Ночной свежий ветер, пробирающий спину, теплая земля под животом, запах молодой травы, пышное от звезд лилово-бархатное небо — видное, когда Иван поворачивался набок, залезая в сумку с патронами, — и шум боя, и вспышки выстрелов, и нагнетающий бешеный посвист снаряда, и даже напряженная тревога отступающих, которым все время заходила в тыл конница, — все, все воспринималось повышенно, остро, гулко, с уверенностью в силах, в победу,

в счастье…

И все оттого, что рядом, в водомоине, лежала Агриппина, бормоча что-то сердито и стреляя так же, как те несколько десятков бойцов, оставшихся от разбитого и рассеявшегося по степи отряда.

Была уже середина ночи. Луганский и Коммунистический отряды отступали, сдерживая натиск казачьих сотен. Бой за Гундоровскую кончился плачевно. Путь отступления на левом берегу Донца оказался отрезанным, станица окружена, по площади, по скоплению войск, били немецкие орудия. Пришлось отступать через разметанный снарядами горящий мост на правый берег. Такого оборота никто не ждал, молодые бойцы смутились, потеряли строй, и врассыпную пошел каждый спасать свою шкуру, выходя из окружения.

Начальник группы Лукаш носился верхом по степи, собирая бегущих. Батарея Кулика, выскакивая на пригорки, поворачивала стволы и посылала последние снаряды по мчавшимся конным лавам.

Бойцы и сами не понимали — откуда взялась эта паника. Всем понятно, что бегущих поодиночке, как баранов, казаки порубят клинками. И люди, казалось, не робкие — так нет же: кто-то за-

кричал диким голосом, кто-то, бросив винтовку, и бекешу, и шапку, кинулся бежать. И — нашло помрачение. А уж стыда теперь не оберешься. «Хороши, — сказал наутро Ворошилов, проезжая на гнедой лошади мимо эшелона. — Недурно пробежались ночью, красивый у вас вид, спасибо, товарищи».

В наступившей темноте казаки перестали нажимать, боясь за коней. Замолкли немецкие орудия. И стянувшиеся отряды отходили под прикрытием редкого огня цепей — на юго-восток, к полотну железной дороги, ориентируясь на далекие свисты паровозов.

Время от времени позади цепи, прикрывающей отступление, выступал в пепельном свете звезд всадник на тяжело дышащей лошади.

— Давай, давай, хлопцы, — на двести шагов… Бойцы молча поднимались, устало переходили и опять прилаживались за неровностями земли. Иван Гора говорил Агриппине:

— Не пропадай в темноте, держись рядом.

В обстановке боя думать было некогда. Но счастье казалось таким широким, что Иван только удивлялся.

Никогда бы не поверил — расскажи ему раньше про какого-нибудь серьезного человека, который

из-за пустяка, не стоящего и разговора, из-за того только, что побыл с девкой наедине у колодца, почувствовал в груди небывалое мужество… Будто Ивану только и нехватало этой щепотки соли… Земля стала легка под ногами, и звезды показались своими — рабоче-крестьянскими, мигающими, как маяки, над великой революцией, и мыслям стало легко… Странная вещь — человек…

4

Немцы поняли, наконец, отчаянный план Ворошилова — со всеми тремя тысячами вагонов пробиться на царицынское направление. Такое решение принципиально уже отличалось от партизанских действий красных отрядов, с которыми немцам приходилось иметь дело.

Немцы намеревались запереть ворошиловские эшелоны между Миллеровом и Лихой и заставить 5-ю армию покинуть вагоны и рассеяться. Они начали окружать Лихую и одновременно со стороны Миллерова бросились на прорыв арьергарда 5-й армии, окопавшейся под станицей Каменской.

Ворошилов остался здесь, в арьергарде, с наиболее боеспособными частями. Руководить

продвижением поездов в Лихую были посланы Коля Руднев и Артем. Они ускакали, перегоняя медленно двигающиеся поезда.

Рано утром, — это был день Первого мая, — в затуманенной степи на линии передовых окопов под Каменской, собрался митинг. Ворошилов говорил с коня:

— Сегодня во всем мире шумят рабочие демонстрации под красными знаменами. Сегодня день единения, день смотра. Красный день пролетариата, черный день буржуазии, готовой каждую минуту ударить беспощадным свинцом в открытые груди рабочих.

Гнедая лошадь его, со звездой на лбу, — ради такого великого дня вычищенная в шашку и туго забинтованная по бабкам за неимением холста марлевыми бинтами, — поджимала уши, вздрагивая мордой, обрызгивала пеной бойцов, сдвинувшихся вокруг командарма — загорелых, сильных, рослых, — также ради праздника опрятно застегнувших воротники и подпоясавших заскорузлые от пота рубахи. Подняв головы, бойцы напряженно глядели на веселое лицо командарма…

— Бойцы! Мы первые решились перейти от слов к делу, руководимые великим вождем, не

пугаясь всех армий и флотов мировой буржуазии — решились построить новый мир… В этом твердом решении наша первая задача — очистить территорию РСФСР от империалистов и контрреволюционеров. Эта задача поручена вам, бойцы, и ее нужно выполнить… Немцы наступают, чтобы захватить военное имущество в наших поездах и разрушить наши дальнейшие планы борьбы. Этого допустить мы не можем. Сегодня мы должны показать империалистам, что красное знамя нельзя вырвать из пролетарских рук… Сегодня во всем мире гремит «Интернационал», на нашем участке загремит победный бой. Пролетарии всего света услышат его грозные звуки… Неважно, что мы — за тысячи верст. Видят они нас? Видят. Слышат они нас? Слышат. Товарищи, да здравствует…

Голос его и крики бойцов были заглушены: из-за холмов со стороны Миллерова ударили немецкие пушки.

Лихая — большое село, раскинувшее по склонам полынных холмов белые хаты, соломенные гумна, плетни, высокие тополя, вишневые сады. Железнодорожная станция расположена у подножия холмов. На восток от села и станции лежит болотистая низина. Ее огибает путь царицын-

ской ветки, пересекающей на первом перегоне у станицы Белая Калитва реку Донец.

На юг от Лихой идет ростовская магистраль. По ней сейчас наступали немцы, обстреливая в одном перегоне — от Лихой — станцию Зверево. Туда, в Зверево, на бронеплощадке выехал Артем, чтобы угнать, что можно, из железнодорожного состава и вывезти беженцев.

Немецкие аэропланы кружились над Лихой, сбрасывая бомбы, и уже много хат и ометов пылало, застилая дымом холмы и ветряные мельницы.

Весь день Первого мая прибывали эшелоны, напирая один на другой. Запасных путей нехватало для такого количества маневрирующих поездов. Паровозы выли, машинисты ругались, высовываясь по пояс, беженцы из раскрытых дверей теплушек испуганно глядели на небо. Поезда двигались и снова подолгу стояли, казалось, по неизвестной причине.

Причина всего этого растущего беспорядка была в том, что путь на восток, на Царицын, был уже отрезан: казаки под Белой Калитвой взорвали железнодорожный мост через Донец. Лихая оказалась мешком, куда прибывали и прибывали эшелоны с десятками тысяч людей, вооруженных

и безоружных.

Жарок был день Первого мая в степи под станицей Каменской. Солнце тускло светило сквозь пыль и дым. Железный грохот сотрясал землю, разметывая линию ворошиловских окопов. Снова и снова сквозь пыль и дым появлялись полупригнувшиеся фигуры в котлах для варки картошки на головах, с уставленными вперед себя широкими лезвиями…

Из залитых кровью окопов поднимались командиры отделений, комиссары, вылезали оглушенные, осыпанные землей бойцы и, разевая криком черные рты, разлепляя запорошенные землей налитые ненавистью глаза, спотыкаясь, бежали навстречу гадам, — мать их помяни, — как вилы в сноп — втыкали четырехгранные штыки в узкоплечего, задушенного воротником, офицеришку, в набитое украинским салом пузо багрового унтер-офицера, уже безо всякой немецкой самоуверенности крутящего револьвером, в тощую грудь, — бог его прости, — немецкого рядового в очках, со вздернутым приличным носом, — посланного кровавой буржуазией искать себе могилу в донских степях…

И раз и другой немцы ходили в атаку и не выдерживали штыковой контратаки, поворачивали

и бежали, и уже немало их, бедняг, валялось на полыни или стонало в воронках от снарядов.

Оборонять приходилось, кроме того, и свой левый фланг от гундоровских казаков, не подпуская их к Каменской. Фронт страшно растянулся, перекинувшись на правый берег Донца. Пополнений нехватало. Вся надежда была на то, что за эти сутки эшелоны успеют пройти Лихую.

В конце дня оттуда начал кричать в телефон голос Коли Руднева:

«…Казаки взорвали мост под Белой Калитвой… Положение осложняется… Кроме того, испорчен путь по всему перегону до Белой Калитвы… В Лихой толкучка… Не можем больше принимать поездов… Делаю все усилия к исправлению пути до Белой Калитвы… Кроме того…»

— Хватит и этого, спасибо, — проворчал Пархоменко, принимавший телефонограмму.

«…Кроме того… немцы с часу на час займут Зверево… У нас, на высотах, где мельницы, уже были немецкие разъезды, мы отогнали…»

Пархоменко вытащил голову из-под меховой бекеши, — ею он прикрывался вместе с телефонным аппаратом от надоедливого шума пушечной стрельбы… С досадой надвинул на уши папаху и полез из штабного вагона — искать Ворошилова.

С поля, где опять разгорался бой, гнало пыль и пороховую вонь. Брели раненые, — кто, морщась, поддерживал простреленную руку, кто ковылял, держась за плечо товарища, иных тащили на носилках. Шальной снаряд рванул землю, опрокидывая идущих. Валялись разбитые телеги. У колеса, подогнув колени, стиснув в руке вырванную с травой землю, лежала женщина в пыльной юбке, на косынке ее с красным крестом расплывалось черное пятно… Пархоменко увидел гнедую лошадь командарма. Вестовой, державший ее за повод, стоял, закинув голову. Широкоскулое, безусое лицо парня было до синевы бледно, глаза полузакрыты…

— Где командарм? — крикнул Пархоменко. Парень разлепил губы, ответил:

— В бою…

Только отойдя, Пархоменко догадался, что парень смертельно ранен. Впереди, в клубах пыли, ревели голоса, рвались гранаты. Пархоменко, пригнувшись, с наганом побежал в эту свалку. Но лязг, взрывы, надрывающие крики отдалялись. Немцы опять не выдержали…

С бега он кувырнулся в окоп, ударился коленками так, что потемнело в глазах. Вскочил. Оттуда из пыльной мглы к нему шел, пошатываясь,

человек, — на ходу силился засунуть в ножны шашку, — конец ее заело в ножнах. Мокрые волосы его падали на лоб в потеках пота.

— Э! — крикнул Пархоменко. — Клим? Слушай… Чорт! Нельзя же так… Что же ты лезешь в самую драку…

Ворошилов остановился, темными, еще дикими глазами уставился на Александра Яковлевича…

— А что? — сказал. — Такая была каша… Едва не прорвали…

Он опять начал совать шашку. Пархоменко уставился на лезвие. Оно было в крови.

— Очень хорошо… А по-моему, не имеешь права… Слушай… Дела очень серьезные… Сейчас звонил Руднев…

Ворошилов тоже с изумлением посмотрел на окровавленный клинок. С силой бросил его в ножны. Пошли к вагону. Пархоменко рассказал о рудневской телефонограмме из Лихой. Ворошилов только быстро покосился на друга.

— Значит, надо драться, другого выхода нет… Покуда не починят путь — будем драться… Вагоны немцам не отдадим все равно…

5

Минули первый и второй день мая. Ворошилов продолжал сдерживать врага под Каменской. Все эшелоны уже подтянулись к Лихой. Бахвалов, мобилизовав несколько сот беженцев, под охраной пулеметов восстанавливал разрушенный казаками путь по царицынской ветке до Белой Калитвы. На холмах, окружающих с юга и юго-запада Лихую, располагались по окопам и канавам отряды 5-й армии.

Иван Гора и Агриппина присоединились к шахтерам. Настроение у большинства было выжидательное. Все знали о твердом решении командарма — не отдавать ни одного вагона. А их — этих вагонов, платформ, дымяших паровозов — внизу под холмами было необозримое количество. Никаких человеческих сил нехватит — разобраться в этой каше. Бойцы ворчали: «Хорошо приказывать командарму: сел на гнедого коня и поехал, куда душа велит! А ты живой грудью заслоняй проклятое имущество…»

О нехорошем настроении Иван Гора сразу же догадался, встретив в поле у ветряной мельницы Емельяна Жука — того мрачного шахтера, кто добыл себе одежду с убитого немца. Жук не

обрадовался тому, что Иван Гора с Володькой и Федькой вернулись живыми в отряд, не сказал ему: «Здорово», — тяжело отвернулся, не стал глядеть в глаза.

Сутуло, неподвижно, точно каменные, сидели у недорытых окопов и другие шахтеры — угрюмые, почерневшие от грязи, оборванные, босые. Не было видно горящих костров, не варили еду, будто никто здесь не располагал оставаться. Люди думали. Подняв головы, глядели на поблескивающий в лазури откинутыми назад крыльями германский самолет.

Очевидно, что в таком настроении отряд драться не может. Нужно было принимать срочные меры. Окончив рыть окопчик, пошлепав лопатой по выкинутой земле, Иван Гора сказал Агриппине, ковырявшей шанцевым инструментом в двух шагах от него:

— Личный интерес приходится отодвигать на второй план, или уж ты не берись за гуж… Так-то, Гапа.

— Понятно, — ответила Агриппина, выпрямляя ломившую спину. Солнце, падающее к краю степи, залило ее горячее лицо. Она поддернула рукав и голой частью руки вытерла мокрый лоб. Все это показалось Ивану очень приятным, и Агриппина,

щурящаяся на солнце, очень красивой.

— Я должен решиться на большой риск. Не то мне страшно, а то, что — правильно ли поступаю? Но думаю и прихожу к выводу: надо... Что из этого получится? Неизвестно. Посоветоваться со старшим товарищем — нет здесь такого. Глядеть сложа руки нельзя. Значит — нужно взять инициативу.

Агриппина не совсем разобрала — о чем он гудит, уставясь, как петух на зерно, на ее чумазые руки, сложенные на рукоятке лопаты. Но поняла, что говорит честно. В ответ она важно кивнула в сторону солнца. Иван вылез из окопа и пошел к ветряной мельнице, где находились наблюдательный пункт и штаб полка.

У ворот мельницы на расколотом жернове, вросшем в землю, сидели двое штабных — один в студенческой куртке, бледный, с мелкими зубами, с огненно-рыжими клочками бородки, другой — похожий на монаха, с грязными волосами до плеч, в пенсне, в перепоясанном веревкой пальто, надетом на голое тело. Штабные скучливо играли истрепанными картами в двадцать одно.

Иван Гора спросил, где командир. Рыжий штабной, не глядя, ответил сухо, что командир занят.

— Спит, что ли? — спросил Иван Гора, приса-

живаясь на корточки у жернова.

— Ну — спит, тебе какое дело! — тасуя карты, ответил другой, похожий на монаха.

— Не во-время командир спит. Подите — разбудите его.

— А что такое?

— Стало быть — надо.

Штабные переглянулись. Рыжий спросил:

— Вы из нашего отряда, товарищ?

— Ага…

— Командир ни о чем не приказал докладывать. Можете это понять?

— Вот вы его и разбудите…

Они опять переглянулись. Стало ясно, что этот человек все равно не отвяжется. Но мельничные ворота, завизжав, приотворились, — командир Петров вышел сам. Был он коренаст, круглолиц, сонный, сердитый, весь запачканный мукой.

— Ну? В чем дело? — спросил он, недружелюбно оглядывая Ивана Гору. — А! Товарищ питерский коммунист… С директивами, что ли? — Он косо растянул рот. Сел на жернов, вытащил жестяную коробку с махоркой. Вертел, сопел. — Ничего, товарищи, не получится из вашей затеи. Очередное сумасбродство… А мы дело имеем с живыми людьми, не с отвлеченными идеями… Так-то…

Иван Гора стоял перед ним, сдвинув ноги, опустив руки, так, как нужно стоять перед командиром. Петров густо выпустил дым из ноздрей.

— Ну, так в чем же дело?

— Настроение отряда никуда не годится, товарищ командир. Отряд не сможет выполнить боевого задания…

— А кто дал боевое задание? — вдруг, багровея бычьей шеей, закричал командир Петров. — Штаб пятой армии? Не знаю такой армии. В формировании не участвовал… Мой отряд связан с пятой армией только железнодорожной колеей… Мой отряд подчиняется только воле народа… Мой отряд не желает исполнять диктаторских приказов… Кому это нужно: тащить на плечах шестьдесят эшелонов старой рухляди?! Воля отряда — вот боевой приказ…

Измена командира была явной. Сердясь и багровея, он с головой выдавал себя… Вернее всего — сельский учитель, из метивших полгода тому назад в эсеровские трибуны в Учредительное собрание, теперь работающий по тайным директивам Центральной рады… Крепенький человек, и дурак к тому же… Иван Гора, стоя перед ним, торопливо соображал — как вернее действовать.

«Бежать вниз на станцию в главный штаб, со-

общить Рудневу об измене командира? Ясно, что в этой суматохе Руднев его же, Ивана, и пошлет ликвидировать мятеж. Да потеряешь время, бегая. Да и не уйдешь отсюда…» Иван покосился. Оба штабных, рыжий и длинноволосый, оставив карты, настороженно — правая рука в кармане — поглядывали на Ивана. Понятно: при первом неосторожном слове, движении — его застрелят…

На мельнице, кроме них, никого не было, и кругом на сотни шагов поле было пустое.

— Зверево занято немцами, товарищ командир, — сказал Иван Гора, сам не зная — почему вдруг придумал это. — Бронепоезд товарища Артема стоит уже под Лихой.

— Врешь, — сердито, но без уверенности проворчал Петров.

— Не вру, товарищ командир, влезьте на мельницу, бронепоезд отсюда видно… Немцев надо ждать с часу на час… Бой придется принимать…

Петров зыркнул на него глазами. Штабные переглянулись. Рыжий пошел на мельницу, и было слышно, как заскрипела лестница под его ногами. Теперь осталось двое перед Иваном. И он поднажал — суровее, басом:

— Митинговать вам, товарищ командир, все

равно придется… Отряд дезорганизован, — перебьют нас, как баранов, это факт. Да и вам не расчет попадать под пулю…

У командира опять мгновенно налилась кровью толстая шея. Засопел, но смолчал, разбираясь — где же тут провокация?

— Либо отряду сейчас уходить с позиции, либо держаться крепко… Давайте митинг, товарищ командир…

— Ладно. — Петров тяжело поднялся с жернова. — Ладно. Иди…

«Дураков мало, брат, хочешь мне пулю вогнать в лопатки», — подумал Иван Гора и только попятился шагов на пять. Наверху мельницы в слуховое окошко высунулась рыжая голова. У Ивана екнуло сердце.

— Федор Федорович, — крикнул рыжий из слухового окошка. — Верстах в пяти дымит какой-то чорт… Пожалуй — бронепоезд.

— Эге! — удивленно сказал командир…

«Эге!» — еще более удивясь, про себя сказал Иван Гора.

И будто в подтверждение — издалека по степи покатился орудийный удар. Тогда командир решился. Кивнув длинноволосому, приказал ему вполголоса, чтоб деньги и документы увязать в

мешок, приготовить лошадей. Не глядя на Ивана, нахмурясь, — решительно зашагал по полю к окопам. Иван шел за ним — на полшага сзади.

Голос у командира был зычный. Подняв руку, он гаркнул на все поле:

— Бойцы третьего Варваропольского отряда! Объявляю летучий полевой митинг…

Шахтеры начали вылезать из окопов, подниматься с земли. Окружали командира Петрова — хмурые и недовольные. Иван Гора, потупившись, держался около него.

— …Настал момент, когда нужно решить основной вопрос: за что мы в конце концов деремся? — заговорил командир, обводя взглядом суровые лица шахтеров. — Зачем покинули родные халупы? За что нас, как баранов, гонят на чужбину…

— На чужбину, — басом повторил вслед за ним Иван Гора, поднимая голову и усмехаясь. — На рабоче-крестьянскую чужбину от своих гайдамацких плетей и немецких шомполов…

— Товарищ! — командир бешено оглянул его. — Не перебивайте оратора… Бросьте большевистские замашки… Вы не в Москве… Товарищи! — закричал он, потрясая руками. — Мы пошли драться за родную землю и волю…

— За кулацкую землю, за эсеровскую волю, — прогудел Иван.

— Товарищи! — командир стал красный, как освежеванный. — В нашей борьбе с германским нашествием московские коммунисты нас предали! Из Москвы приказано сдать немцам Донбасс… И нас увозят из родных деревень, чтобы сделать из нас большевистских холуев… Нас привели на эти позиции — на убой… Чтобы мы тут дрались, а коммунисты гнали вагоны в Царицын…

— Хватит! Не распространяйте ваши мысли! — во всю глотку закричал Иван Гора. — Товарищи! Я питерский металлист. Вот мои документы. Гляди. Вот мои руки. Гляди… А этот человек вам знаком?

— Нет! Нет, незнаком, — ответили из толпы шахтеров голоса Володьки и Федьки, и затем голос Емельяна Жука:

— Пусть он расскажет, кто он такой… А я короче скажу. Командир Петров — эсер. Всему миру известно, что эсеры продали немцам Украину за жирные куски, за синие свитки… Кто его выбирал командиром?.. Послали его из Киева, из Центральной рады… Он провокатор…

Иван покосился на командира. И во-время.

…Петров рванул из кобуры наган и выстрелил

в голову Ивана Горы. Одновременно Иван Гора, нырнув головой, так что пуля только чиркнула по волосам, схватил Петрова за кисть руки и со всего плеча ударил его между глаз. Командир задохнулся криком, повалился. Кто-то — Володька или Федька — выхватил у него наган. Шахтеры молча глядели на лежащего без движения командира.

Иван Гора, вытирая рукавом лоб, сказал:

— Ребята… Я поступил неправильно, нарушил военную дисциплину, ударил командира… Решайте: кого расстрелять — меня или его?.. Рабочего, преданного рабочему классу, или форменного провокатора… А что он эсер и провокатор — отвечаю головой… Решайте, каждую минуту враг может начать наступление. Враг не может застать нас врасплох…

Шахтеры продолжали молчать. Тогда Емельян Жук проговорил:

— Задал загадку, коммунист… Ну как: верим этому человеку?

— Верим, верим, — ответило несколько шахтеров. Остальные кивнули головами.

— Верим, — тогда, Иван, бери команду…

6

Станция Зверево — на юг от Лихой — действительно была уже занята немцами. Третьего мая на краю степи замаячили их разъезды. Они не скрылись от первых выстрелов, как третьего дня, — всадники группками сбивались на далеких холмах, спешивались, наблюдали. Было понятно, что за ними двигается враскачку запыленная пехота, еще не видимая за горизонтом.

От мельниц к расположению отрядов промчался огромный измятый фиат. Тарахтя, дымя керосином, — остановился у окопов. В машине сидели Коля Руднев и обгоревший на солнце Артем.

Выкидывая толстую кисть руки, выпячивая запекшиеся губы, Артем говорил бойцам:

— Путь до Белой Калитвы исправлен. Первые поезда пошли. За ночь мы разгрузим всю станцию… Товарищи, мы должны выполнить задание: двадцать пять тысяч детей, женщин, стариков будут доставлены в Царицын… Наш командарм с кучкой героев три дня и три ночи дерется холодным оружием под Каменской… Интервенты страшатся пролетарских штыков… Неужели мы здесь примем на себя позор?

Артет был опытным массовиком, умел сбивать тысячи ощущений у тысячи людей в одну волю одного существа. Страх смерти всеподавляющ лишь тогда, когда все другие чувства принижены, дезорганизованы. Бывают минуты, когда ощущение позора невыносимо острее страха смерти, когда разбужено самое жгучее, мощное, действенное чувство классовой ненависти, и все личное, будничное тонет в нем и глохнет…

Фиат мчался дальше по растянутому фронту. Артем говорил бойцам, что вот-вот подойдут подкрепления — отряд Лукаша из-под Каменской, и назавтра надо ждать и Ворошилова со всеми силами… Настроение поднималось. В даль, в степь, пошли конные группы разведчиков. Завязывалась перестрелка.

Фиат, оставляя хвост чада, промчался вниз, на станцию Лихую. Несмотря на все усилия — беспорядок там был невообразимый. Население каждого эшелона стремилось поскорее уйти из этого запертого в ловушке скопления вагонов. В первую голову направляли эшелоны с беженцами — детьми, женщинами… Но чтобы протолкнуть поезд на стрелки царицынской ветки, нужно было другому поезду податься назад, и тут начинались трения — дикий крик из вагонных окон,

из раздвинутых дверей теплушек, угрозы самосудом, размахивание ручными гранатами…

Руднев отобрал особую бригаду под командой Чугая, — в ней были и силач Бокун, и злой Иван Прохватилов, и упрямый Миколай Чебрец, и оба Кривоноса. Бригада выводила намеченные поезда на стрелки. Уговоры и разъяснения ни к чему не вели. Чугай действовал одной революционной решительностью.

Он не суетился, ходил вразвалку — в распахнутом бушлате, на груди — татуированный китайский дракон.

— А ну — подайся, браток, — говорил он машинисту и шел вдоль вагонов, где надрывались люди… — А ну — закрыть двери, а ну — спокойно… Мою речь можете слушать, братишечки? С коротким революционным счетом — сейчас оболью свинцом… А ну — давай пулемет!..

Бокун, схватив в охапку, волок пулемет. Иван Прохватилов падал на живот у замка. Кривоносы подавали ленту. Чугай — спокойно отнеся ото рта папироску:

— А ну — давай очередь.

Двери теплушек захлопывались. В вагонах от окон шарахались люди… Машинист, оттянув рукоять свистка, облегчал душу оглушающим

воем, толкал поезд так, что трещали вагоны.

— Главное — спокойствие, — говорил Чугай. — Революция требует большой выдержки… А ну — теперь — давай эшелон с ребятишками…

Все же за день третьего мая удалось протолкнуть на Белую Калитву только треть составов. Всю ночь не смолкала на холмах, в степи ружейная и пулеметная стрельба. С болотистой равнины тянуло сыростью, заволокло звезды. Было темно и страшно. На станции и в вагонах запрещено было зажигать свет, — даже по вспыхнувшей спичке стреляли. Только по путям между составами ползали, покачивались, взмахивали тусклые огоньки фонарей. В вагонах никто не спал, — выходить боялись.

Среди грохота буферов вдруг раздавался в темноте дикий крик, сухой выстрел, тяжелый топот ног. И еще казалось неспящим людям, что далекий грохот битвы за горами становится яснее, приближается…

Много хлопот доставил эшелон с тремя блиндированными вагонами отряда «Буря». Анархисты, с самого начала попавшие на запасный путь и крайне этим возбужденные, получили приказ (чернильным карандашом на клочке газетной бумага за подписями Руднева и Артема) — немед-

ленно выступить с оружием на фронт.

Отряд «Буря» начал митинговать около вагонов. Мнения разделились. Те, кто был помоложе, начали склоняться к выполнению приказа, хотя бы в половинном составе. Матерые отрядчики, бывшие в переделках и потруднее этой, категорически требовали оставаться при эшелоне всем и хотя бы с боем пробиваться на царицынские стрелки. Чахоточный гимназист с большими глазами, несгибающийся идеалист, закричал тонким голосишком:

— Товарищи, настал момент, — забудьте про золотые портсигары, мы же не бандиты, мы анархисты!..

Сопляку так грохнули по затылку револьверной ручкой — повалился под колеса. Но все же отряд колебался, покуда старичок Яков Злой не нашел формулы. Со ступенек площадки, поправляя пенсне на плеском носу, держа в сухонькой руке листочек, — предложил резолюцию.

— «Приняв к сведению…» — начал читать он с подвыванием и вдруг усмехнулся…

— Го-го-го, — заржали, затопали наиболее матерые из отрядчиков. — Крой, Яков!..

— «Приняв к сведению приказ за номером таким-то, отряд «Буря» принужден отклонить

самую форму обращения к нему, ибо приказ, от кого бы он ни исходил, противоречит принципу свободного волеизъявления всякой анархической ассоциации…»

Захлопали в ладоши. Полетели шапки. «Аи да старичок! Вот — ум, так уж ум… Не будь мы анархисты — взяли б его в батьки».

Вынеся резолюцию, отряд «Буря» стал пробиваться на царицынские стрелки. В ответ на пулемет Чугая из блиндированных окошек высунулся десяток пулеметных дул. Тогда Чугай сказал Бокуну, Ивану Прохватилову и обоим Кривоносам:

— Отставить… — И обратился к анархистам: — Как рассматривать ваше нахальство? Шкурничество или контрреволюция? В этом случае будете иметь дело с военным трибуналом пятой армии… Пулеметов у нас хватит — расправиться со сволочью… — Он распахнул бушлат, ногтями рванул тельник на груди, обнажая синего дракона. — Ну… (С минуту или даже дольше выражался на авральном морском языке.) Бей в мою грудь… то будет последним вашим часом…

Анархисты заколебались. Чугаю важно было соблюсти престиж. Ночью он все же пропустил эшелон с этой сволочью…

Алыми слоями проступила в тумане утренняя заря над болотистой низиной. Забухали орудия на холмах, — все ближе, грознее слышались звуки боя… Приближался свирепый гул аэропланов. Из вагонов начали выкатываться люди. Женщины волочили детей под платформы. В туманном зареве рассвета очертания аэропланов, похожие на свирепых насекомых, казались огромными. Упавшие с их крыльев черные мячики будто ударили один за другим в чудовищный железный барабан. Задымили станционные постройки.

Поезда маневрировали среди мечущихся беженцев. Быстро светало. Туман относило ветром. Были уже видны на склонах опустевшие хаты — и вверху — очертания мельниц. Просвистали снаряды. Начался артиллерийский обстрел станции: взлетающие клубы бурого дыма. Сотряслась земля. Раздался огромный взрыв вагона с огнеприпасами. Тысячи беженцев, спасаясь, побежали от своих эшелонов вниз, на болотистую равнину.

На вокзальном перроне появился верхоконный, остановил мокрого гнедого коня и вертел головой, глядя расширенными глазами, что тут творится… Он был с непокрытой головой, весь серый от пыли. Мимо, не узнав его, пробежал

Артем — кинулся к маневрирующему паровозу, вскарабкался… Несколько человек, срываясь подошвами на шпалах, толкали вагон… Тяжелой развалистой рысью через пути шел Чугай, за ним — высокий Бокун, сутулящийся под тяжестью пулемета. Людей и вагоны заволакивало дымом… Крутя головой, точно надышавшийся этой гадости, брел начальник станции, на нем все висело — и грязная шинель, и щеки, от самых глаз заросшие щетиной. Попытался влезть с путей на площадку перрона, в изнеможении сел на край ее, взялся за обвислые края старорежимной фуражки, раскачиваясь, — повторял:

— О, боже ж ты мой!

— Климент Ефремович! — закричали из вокзального окна. Коля Руднев перелез на перрон, подбежал к верхоконному, на минуту прижался лбом к его колену.

— А я тебе звоню по всей линии… Послал конников искать…

— Каменскую мы сдали, — сказал Ворошилов. — Все части выведены из соприкосновения. А у тебя что хорошего?

— Осталось шестнадцать эшелонов… Мы к ночи закончим. (На путях опять рвануло.) Ну, как немцам не стыдно, я все думаю… Отлично,

мерзавцы, знают, нарочно лупят по мирному населению… (Опять рвануло.) Беженцы! Вот еще — публика паническая. Понимаешь, Климент Ефремович, тысяч пять драпануло на болото.

— Никого нельзя оставлять. Грузи всех…

— Пулеметов, понимаешь, нет… Я хочу с болота их пулеметом попугать…

— Парочку я тебе дам…

— Вот спасибо…

Руднев вдруг сморщил обострившийся нос, — прислушиваясь, побежал, полез в окошко к телефону…

Ворошилов повернул коня, перескочил через изгородь станционного палисадника и остановился на дворе около колодца. Слез, разминая ноги. Конь толкнул его в спину башкой. Ворошилов вытащил на скрипящем вороте ведро, придерживая его снизу коленом, стал поить коня, — тот пил, катая клубок по горлу. Ворошилов вскочил в седло и рысью погнал повеселевшего гнедого в гору — на холмы, к мельницам…

7

Петрова под конвоем отвели на станцию в Особый отдел. Штабные его — рыжий и длинноволосый — скрылись в неизвестном направлении.

Отряд постановил: позиций не оставлять и до назначения нового командира быть командиром Ивану Горе.

— Ладно, товарищи, — ответил на такое решение Иван Гора. (Происходило это там же — на летучем митинге.) — Я не военный, вызнаете. Но коммунист должен уметь командовать, я буду вами командовать в этом бою…

Иван Гора оправил просоленную рубашку, подтянул ремень на тощем животе, пятью пальцами влез в пыльные волосы, откинул и несколько пригладил их и мельком покосился на Агриппину. Она стояла тут же, среди шахтеров, держась обеими руками за штык винтовки, и мрачно, неподвижная и бледная от сдержанного волнения за Ивана, пристально глядела на него.

— Отдаю первый приказ… В боевой обстановке я — голова, вы — мои руки… Значит: повиновение смертельно беспрекословное… (Кто-то на это крякнул. Он, не допуская до разговора, повысил голос.) Митинг окончен, товарищи… Все возражения принимаю после окончания боя… Слушать приказ: первое — занять окопы, в кучу не сбиваться, лежать на дистанции пяти шагов. Второе — панически не тратить патронов и вообще не поддаваться никакой панике… Тре-

тье — твердо помнить, что наступающий враг — наш и всего мирового пролетариата классовый гнусный враг… Свинец и штык — единственный метод борьбы с классовым врагом. Колебания и трусость здесь не имеют места…

За эти дни Иван Гора несколько присмотрелся к военному делу. Отдав приказ, тотчас пошел выставлять сторожевое охранение. Шахтерам его речь и твердость понравились. Из окопов полетела земля, — рыли — кто лопатой, кто ковырял штыком и выкидывал горстями. Иван Гора, расставив секреты, вернулся и шагах в тридцати позади линии на бугре сам выкопал себе командирский окопчик. Агриппине он велел быть при себе для связи.

— Вот накачал делов, Гапа, — негромко сказал ей Иван. — Как я поступаю? Все равно — как бегу с крутой горы… Поступаю, как авантюрист…

Агриппина не поняла этого слова, но кивнула утвердительно.

— Меня, конечно, потащат за эти дела в Особый отдел. Что я отвечу? Я отвечу: товарищи, я зарвался, но я поступил по революционной совести…

— Знойно, — сказала Агриппина. — Бойцы пить хотят, а воды нет.

— Правильно. Поправляй первую ошибку ко-

мандира…

Иван Гора, сидевший на бугре, на кучке выкинутой земли, разговаривал будто сам с собой и будто сам над собой посмеивался, но большие руки его, лежавшие на коленях, дрожали.

— Положи винтовку, дуй в село, Гапа… Найди, откуда хочешь, бочку-водовозку, коня или волов — вези сюда воду. На, возьми наган…

Агриппина положила винтовку, взяла у него наган и летучим шагом — в пузырящихся по ветру казацких шароварах — побежала в сторону мельниц. Иван Гора решительно не понимал, — что ему теперь как командиру делать… А что если враг проманежит их без боя до самой ночи? Ползучий гад Петров нарочно не заготовил ни кухонь, ни довольствия. Настроение у бойцов упадет. Бойцы оголодают. Чтобы не дрожали руки, Иван постукивал пальцами по коленям. В это как раз время и появились немецкие разъезды на холмах. У Ивана точно жернов отвалил от груди. Он вскочил, глядя из-под ладони в даль степи, зыблющейся прозрачными волнами зноя… Побежал к окопам:

— Бойцы! Враг показался. Хладнокровно подпускайте его на пятьсот шагов… Хладнокровно лежите около заряженных винтовок…

Затем из-за мельниц вылетел фиат с Артемом и Рудневым.

Немного позднее с севера к Лихой подходил отряд Лукаша. Десятки телег с тяжело раненными тянулись за ним по степной дороге. Отряд оставил фронт под Каменской только вчера вечером, смененный полком отчаянного Гостемилова. Шли без отдыха — худые, обросшие, с запекшейся на лицах своей и чужой кровью. Многие — босиком, иные — по пояс голые, потому что рубахи были изодраны на бинты. Облизывая черные губы, бойцы таращились на волны степного зноя, кажущиеся прохладной рекой на горизонте.

Все ждали последнего боя и, наконец, отдыха в своем эшелоне, оставленном шесть дней тому назад. Командир Лукаш шагал рядом со знаменосцем. Когда уже и ему начинал мерещиться красноватый мираж сквозь раскаленную пыль, Лукаш говорил знаменосцу:

— А ну! Бодрей!..

И, обернувшись к нестройной толпе бойцов, пятясь, запевал хриплым тенорком украинскую, веселую, чтобы ноги сами ходили…

Со стороны Лихой все яснее доносились громовые раскаты, а вскоре и виден стал дым, поднимавшийся, как тучи. Было несоответствие

между размерами этой боевой грозы и кучкой измученных людей, бредущих туда, чтобы ударами штыков проложить себе дорогу. Но бойцы уже притерпелись, и подтянулись, и оживились, когда вдали стали различимы охваченные огнем пылающие мельницы на меловых холмах над Лихой.

Оставив часть отряда для охраны телег, Лукаш повел остальных вдоль полотна к станции. Не дошедшие туда эшелоны стояли пустыми. На станции горело в нескольких местах. Справа, с холмов, приближалось крутящееся облако пыли. Лукаш начал махать на бойцов: «Ждите, не стреляйте». Полсотни всадников пронеслось мимо, обдавая пылью и конским жаром. «Сволочи!» — закричали им вдогонку. Дело оборачивалось, видимо, совсем скверно: фронт бежал.

Под давлением немцев красные отряды, теряя связь, отступали по широкому плато. Появление Ворошилова восстановило некоторый порядок. Узнали его гнедую лошадь, когда он остановился на бугре, оглядывая размеры бедствия. Он поскакал к уходящим от пулеметного огня пригнувшимся фигурам.

— Штаны потеряешь! Остановись!

Заскочив вперед, натянув удила, опираясь ру-

кой на круп коня, кричал:

— А ну! Вперед! Давай!

Мчался дальше на хрипящем гнедом и с седла свалился в окоп к шахтерам.

— Ребята, брюхо пролежали! Давай вперед!

Тяжелые, как медведи, шахтеры поднимались и бежали за командармом, покуда он, задохнувшись, не присаживался на корточки…

— Окапывайся! Кто у вас командир?

К нему подошел Иван Гора. Пули то и дело просвистывали мимо ушей. Ворошилов крикнул ему:

— Не рисковать!

Иван Гора сел на коленки, глядя ему в глаза…

— Это опять ты? А где командир Петров?

— Ликвидировали.

— Правильно. Твой отряд фланговый. Ты сейчас держишь весь фронт. Понятно тебе? (У Ивана Горы в воспаленных глазах мелькнул ужас.) Держать до последнего…

— Разрешите вопрос, товарищ командарм…

— Ну?

— Насчет обдирания трупов…

— Чего?

— Немецких.

— Чего?

— Считать это мародерством? Или как? Ребята мои голые, босые…

— Тебя — что — в голову контузило?

— Контузило, товарищ командарм… Ребята мои сутки не евши… Озверели… Одно им, — давай штыковой… Давай им башмаки, штаны, куртки с интервентов…

Говорил он, точно лаял, придвинувшись к лицу командарма, — большой нос и рот у него были перекошены от боли. Ворошилов понял, что если сейчас рассмеется (а был он впечатлителен и смешлив), — чудак обидится на всю жизнь.

— Соображать еще можешь?

— Могу, товарищ командарм.

Тогда Ворошилов указал ему на бугры — впереди: их надо было занять во что бы то ни стало и держаться на них до ночи.

Ворошилову бегом подвели коня, вел его под уздцы, — как показалось, — чернобровый юноша-мальчик, с осунувшимся, растерянным, свирепым лицом…

— Он час без памяти лежал, он тебе не говорит этого, — сказал мальчик женским срывающимся голосом… (Коня задело пулей по уху, взмахнул башкой.) У него и морду-то всю перекосило…

— Ну? — Ворошилов нетерпеливо рванул по-

вод.

— Ты уж пришли снизу кого-нибудь подсобить… Ворошилов кивнул, вскочил в седло, ускакал в сторону горящих мельниц.

Конец этого дня был ужасен. Конные и пешие немцы напирали, казалось, со всех сторон. Их пушки ревели по всему горизонту. Низко проносились аэропланы. Вся степь кипела взрывами, будто сама земля лопалась, извергая ураганы праха. Пылью и дымом застилало медное солнце.

На станции горели вагоны, взрывались платформы со снарядами. Пути были осыпаны дымящимися осколками, безобразно валялись трупы, ползли, кричали раненые. Валил пар из боков раненых паровозов, иные завалились кверху колесами. Усиливающийся артиллерийский огонь разметывал все, что еще оставалось нетронутым.

В этой невообразимой обстановке эшелоны все же продолжали отходить, забирая людей, сгоняемых со станции и с болота. Ворошилов, Артем, Коля Руднев, Чугай со своей бригадой, — оглушенные, одуревшие от напряжения и усталости, давно за эти дни переступившие за грань жизни, — одним мужеством, решительностью боролись с паникой, делали то, что еще было

возможно в этом аду: собрать людей в последние эшелоны и вывести их на царицынские стрелки. Разбитые вагоны и раненые паровозы рвали гранатами.

С холмов, где догорали мельницы, по всем дорогам к Лихой мчалась группами и в одиночку отступающая кавалерия. Скакали орудийные запряжки без орудий… Стреляя в воздух, отступали беспорядочными кучками отряды. Они встречали Артема, пытавшегося остановить их, — верхом, весь в копоти, мокрый, страшный, в разодранной гимнастерке. Он грозил, хрипел с коня, налитые кровью глаза его казались страшнее пулеметов. Люди останавливались, и удавалось посылать их обратно… Но уже весь фронт торопливо отступал, увлекая тех, кто возвращался в бой…

Подошедшему отряду Лукаша тоже немного удалось сделать. Думали об одном — только бы враг не ворвался в Лихую на плечах отступающих. Ждали подхода Гостемилова с арьергардом, за которым был послан эшелон. На станции оставались лишь пылающие вагоны. Догорали пакгаузы. Отряды, бросившие фронт, направлялись — конные и пешие — по царицынской ветке.

Несмотря на разгром и бегство — задача все же

была выполнена: почти все шестьдесят эшелонов (за исключением небольшого числа взорванных и разбитых) прорвались из мешка на Белую Калитву.

— Гапка, патроны еще есть?

— Да нет же…

— Чего же делать-то, а? Ты присмотрись. Вон они — идут…

Говорил Володька — парень простой, но верный, невозмутимый. Он подполз к командирскому месту за патронами. Две последние жестянки валялись пустыми. Около них — ничком — лежал Иван Гора.

Агриппина приподнялась, опираясь на руки, всматриваясь. Степь была пустынна, темна. В потускневшее зарево заката валил медленный дым. Позади дышало пожарище Лихой. Красноватая тень от гапкиной головы потянулась через кустики полыни.

И закат и зарево будто взлетали в небо, когда на черном горизонте ослепительными языками вспыхивали огни из пушечных жерл. Тогда Агриппина ясно различала человеческие фигурки. Они двигались сюда, к холму, где еще держались остатки шахтерского отряда.

— Командир-то кончился, Гапка?

— Нет! — коротко ответила она.

— Чего — нет… Не дышит…

Володька стал шарить около Ивана, и в карманах его, и в сумке, — нашел несколько обойм.

— Гапка… Ну семь, ну восемь человек нас и осталось-то всего… Чего мы без патронов стоим?.. Уходить надо…

— Уходите…

Володька, сев задом на голые пятки, сопя, вложил обойму. Опять четко выступила из тьмы вся степь, обозначились на ней угольно-черные, сгорбленные фигурки. Володька выпустил по ним обойму, при каждом выстреле дергаясь назад всем корпусом…

— Уходи, Гапка…

Он потянул ее. Она с силой выдернула руку. Володька, низко пригибаясь, побежал под свистящими пулями — в темноту. Агриппина осталась около Ивана.

Он лежал — длинный, неподвижный, будто сросся с землей. Был ли он мертвый или только без памяти, оглушенный давешней контузией? Агриппина не понимала, да и не думала об этом… Все равно — живой он или мертвый, — она покинуть его не могла. Теперь они были одни на холме. Ребята уползли, ушли, — и хорошо сдела-

ли; чего же с голыми руками…

Агриппина сидела, выставив колено, положив на него тяжелую винтовку, давая отдых рукам. Вжав голову, глядела исподлобья в степь… В винтовке было пять пуль: что будет дальше — мысли ее не простирались. Мыслей и вовсе не было, — только страшная неподвижность.

Она глядела как раз на то место в степи, куда ей указал Володька… Снова проступили преувеличенными тенями все рытвины земли, кустики… Агриппина сотряслась, задохнулась страхом: черные здоровенные люди бежали в тридцати, в двадцати шагах… Она выстрелила… Раздался бешеный крик… Вспышка… Трескотня… Топот… Люди бежали к ней, и другие люди бежали сзади нее — к этим черным… Рванулись гранаты… Кто-то налетел на нее со спины, ревя матерщину. Агриппина руками, грудью, лицом упала на Ивана.

Это был посланный Ворошиловым отряд Лукаша, — последнее усилие — отбросить врага от Лихой… Немцы или спешенные казаки, — чорт их разберет во тьме, — откатились и больше в эту ночь до утра не возобновляли наступления…

По грунтовой дороге сбоку полотна устало шли шесть человек. Пятеро тащили пулеметы,

дребезжавшие катками. Шестой — Александр Яковлевич Пархоменко — плелся позади, согнувшись под тяжестью пулеметных лент.

Эти шестеро были последними в арьергарде 5-й армии. Пархоменко на бронепоезде прикрывал отступление, превратившееся под конец дня в бегство. До темноты он отстреливался из зенитки от аэропланов, пулеметами разгонял конную казачью сволочь, долбил из тяжелого орудия вдоль полотна в сторону Каменской.

В темноте подошли к Лихой. Там все пылало, — все пути были разворочены. Все эшелоны, все отряды были уже далеко впереди на пути в Белую Калитву.

Пархоменко и пять человек, оставшиеся в бронепоезде — зенитчик, три артиллериста, пулеметчик и машинист, — сняли пулеметы, испортили все орудия и, разогнав пары в паровозном котле до взрыва, пустили бронепоезд обратно к Каменской — навстречу немецкому. Сами же пошли пешком, подбирая по дороге ценное оружие.

Миновав Лихую, они свернули по царицынской ветке. За спиной у них дымным заревом горела Лихая, озаряя опустевшую равнину. Они увидели человека, сидевшего на откосе железно-

дорожного полотна. Остановились, передыхая. Пархоменко сбросил с плеч тяжелые ленты, спросил:

— Ты чего там?

— Ногу напорол, — помолчав, ответил человек.

— С фронта?

— Ну да…

— Что у вас там?..

— Ушли все…

— Командарма не видал?

Человек опять помолчал и — уверенно:

— Коня украли у него…

— У Ворошилова коня? А сам он где?

— Кто его знает? Пропал, стало быть… Тут его искали какие-то конные.

Пархоменко, обернувшись, долго смотрел в сторону Лихой, где под непроглядной тучей дыма плясало пламя и от рушившихся крыш взвивались хвосты искр. Подняв ленты, снова навьючил их на себя. Медленно пошли дальше. Пархоменко, как брата, любил Ворошилова. Были они земляки — луганчане. У обоих тяжелая молодость. Вместе работали в большевистском подполье. Неужели друг погиб? Плохая это весть, что у него украли коня, не напрасно его ищут. Командарм — не иголка. Налетел, стало быть, на шальную пулю, и

конь умчался без седока…

Александр Яковлевич шел, согнувшись, чувствовал, — чорт их возьми, — что усы у него мокрые…

Он так задумался, что отстал. И долго не слышал, как товарищи звали его. Они указывали в сторону зарева: оттуда по дороге, гоня перед собой длинную красноватую тень, ехал какой-то человек шагом на понурой лошади.

— Александр Яковлевич, гляди-ка, не тот ли это человек, что коня увел у Климента Ефремовича? Конь будто бы тот самый…

— Дай винтовку! — прохрипел Пархоменко, резким движением освобождаясь от опутавших его лент. — Эй, кавалерист! — во все горло закричал он, шагая навстречу всаднику. — Кавалерист, езжай ко мне… Слышишь, так твою так… Ссажу!

Он побежал к всаднику, бряцая затвором. Верно! Это был конь командарма, — по всей повадке — его конь… Кавалерист, будто не слыша, что ему кричат, сидел, опустив непокрытую голову, уронив руки с поводьями. Пархоменко вне себя схватил коня под уздцы. Кавалерист взглянул на него…

— Климент Ефремович! — крикнул Пархоменко. — Клим, а мы-то…

Узнав Александра Яковлевича, командарм немного повеселел. Повернулся в седле и долго глядел на пожарище.

— Видел? — спросил он, опять омрачаясь. — Видел наш позор?

Рука его, опустив повод, поднялась, будто бы еще не зная, что ей делать… Он уронил руку и опять опустил голову.

— Подожди, Клим.

Пархоменко так навалился на плечо гнедого, — тот качнулся, переступил плотнее…

— Я тебя понимаю… Позор, конечно, есть…

— Позор! — уверенно повторил Ворошилов.

— Подожди же, давай поговорим… Весь план был выработан правильно… И в общем план выполнен… Армия возложенного задания не выполнила… (Ворошилов скрипнул зубами.) Публика же молодая, неуравновешенная… Одно дело наступать… А что, — не били мы немецких генералов? А другое дело отступать… Тут нужна выдержка… Ну — пушки побросали, пулеметы… А потери у нас ровным счетом пустяк… В царскую войну корпуса гибли… А мы армию все-таки вывели из огня… Все-таки победа не у немцев, а у нас…

Ворошилов вдруг, точно отвалило от души,

негромко засмеялся:

— Чудак ты ужасный, Саша.

Соскочил с гнедого и повел его к пятерым, стоявшим на дороге, товарищам, чтобы помочь тащить пулеметы.

Глава девятая

1

Контрреволюция широко раскинула черные крылья по всем необъятным краям советского государства.

Японцы заняли Владивосток, начиная этим завоевание Сибири, долженствующей войти по самый Урал в «Великую Японию».

Немцы в порту Ганге высадили десант в помощь финской буржуазии, заливавшей кровью советскую Финляндию.

В Киеве генерал Эйхгорн разогнал Центральную раду — всех эсеров, меньшевиков, либеральных адвокатов и сельских учителей, игравших в Запорожскую Сичь, и поставил гетманом всея Украины услужливого, хорошо воспитанного, по мнению немцев, свитского генерала Скоропадского.

В Новочеркасске-на-Дону, под защитой немцев, собрался «Круг спасения Дона», на котором казачье офицерство и крепкие станичники избрали указанного немцами молодого речистого генерала Краснова в атаманы всевеликого войска

Донского, и Краснов поклонился «Кругу» на том, что к осени очистит донские округа вместе с приволжским Царицыном от красных.

Немцы, отстранив притязания австрийцев, заняли войсками весь Крымский полуостров, и спасавшимся там уступчивым, совершенно безопасным, российским «либералам» предложили образовать крымское правительство.

Так германское имперское правительство приступило к реальному осуществлению широко задуманного плана «Великой Германии».

В степях, на стыке Дона и Кубани, добровольческая армия, разбитая в марте месяце большевиками под Екатеринодаром и потерявшая своего организатора и руководителя — Корнилова, — под гостеприимной защитой атамана Краснова превращалась в грозную силу. Турция, Германия и Англия проникали силой и хитростью на Кавказ. Еще слабо сбитая федерация закавказских республик распалась, — все враждебные большевикам силы разодрали ее на призрачно-независимые республики — меньшевистской Грузии, Армении и Азербайджана, принужденных немедленно искать себе богатых покровителей.

Но самый чувствительный удар по едва начи-

навшему жить советскому государству нанесен был в Сибири. Там советская власть держалась на неимоверном напряжении всех сил: Сибирь должна была кормить хлебом революцию. Москва хлестала комиссаров телеграммами: «Хлеба, хлеба...» Продовольственные отряды из пришлых из России или сибирских рабочих возбуждали кондовые села, хранившие обычаи аввакумовского раскола, крепких хуторян, сидевших на тысячах десятин пахоты и водных угодий. Бородатое сибирское купечество едва сдерживало ярость. Раскиданное по городам кадровое офицерство, не стесняясь, собиралось в белые союзы. Эсеры, изгнанные из Москвы и Питера, меньшевики, члены Учредительного собрания готовились к отторжению от советской России такого куска, как Сибирь.

Двадцать пятого мая от Пензы до Иркутска взбунтовались эшелоны чехословацкого корпуса, медленно продвигавшиеся по одноколейной магистрали во Владивосток.

Чехословацкие войска были хорошо вооружены, и в обстановке накаляющейся докрасна классовой борьбы представляли грозную силу. Их растянувшиеся на тысячи верст эшелоны, убранные хвойными ветвями, привлекали внимание

тех, кто искал оружие для свержения советов.

Консулы держав Согласия, члены разогнанного Учредительного собрания, офицеры из разных лиг спасения, эсеры — по директивам своего центрального комитета — вели бешеную пропаганду за то, чтобы чехословаки вмешались, наконец, в российские дела.

Чехословацкие эшелоны по указу французского штаба взбунтовались почти одновременно по всем станциям и городам Сибирской магистрали, поднимая за собой буржуазные, белогвардейские и кулацкие восстания.

Сибирь сразу оказалась отрезанной. Прежде всего это значило — чудовищный скачок голода. Иссякла еще одна питающая артерия. Пролетарские центры, снабжаемые осьмушкой хлеба, остались с запасами лишь на несколько дней. Контрреволюция торжествовала: казалось, еще одно усилие — каких-нибудь две-три недели, — и население обеих столиц, побросав дома, оставив настежь открытые ворота заводов и фабрик, расползется по дорогам, умирая в канавах, и Совету народных комиссаров на коленях придется просить пощады.

2

Соотношение вооруженных сил было таково, что контрреволюция, казалось, неизбежно, как в шахматной партии, побеждала. Чудес нет. В Москве собралось всероссийское совещание партии меньшевиков (еще входящих во Всероссийский центральный исполнительный комитет). Они вынесли, резолюцию: Россию может спасти только союз с Антантой и твердый лозунг: назад — к капитализму.

«Левые коммунисты» бешено вели фракционную борьбу против линии Ленина. Твердо, наперекор всему, стояли Ленин, Сталин, Свердлов, руководя всей партией большевиков. Нужно было, не теряя дня и часа, изменить взаимоотношение сил.

Полчищам и бандам контрреволюции, японским дредноутам, германским пушкам и антантовскому золоту, неисчерпаемым запасам продовольствия и одежды, угля, нефти и железа — на той стороне — Октябрьская революция противопоставляла конкретные задачи всемирно-исторической трудности и значения.

Доклад Ленина «Очередные задачи советской власти», резолюция Всероссийского центрально-

го исполнительного комитета от двадцатого мая, воззвание Совета народных комиссаров и декрет одиннадцатого июня об организации деревенских комитетов бедноты прогремели медными трубами над голодными городами, над всем взъерошенным, взволнованным, бескрайным деревенским миром. Декреты провозглашали жизненные основы социализма. Учреждались деревенские комбеды. Творчество никем никогда не испробованного, никем никогда не виданного социализма, творчество от самых низов жизни до планирующих проблем Совета народного хозяйства — становилось отныне реальной формой жизни.

В голодной Москве был созван первый съезд советов народного хозяйства, и на нем Ленин развивал основы социалистического переустройства страны.

Члены съезда, получавшие в перерыве заседаний по кусочку черного, сырого остистого хлеба, слушали, дебатировали и принимали решения со спокойствием людей, сознающих сравнительные размеры между временным затруднением и величиной исторической задачи. В этом не было ничего необычайного: в этом выражался творческий дух Октябрьской социалистической

революции, — когда мучительный голод подвел ее не к смерти, как надеялись интервенты и контрреволюционеры, но к творчеству новых, никогда никем не испытанных, форм хозяйственной жизни.

Политическая и экономическая власть в стране отошла к классу, ведущему за собой впервые в истории человечества большинство населения — всю массу трудящихся и эксплоатируемых. Поставлены величайшей важности и величайшей трудности задачи: «Нам надо совершенно по-новому организовать самые глубокие основы жизни сотен миллионов людей».

Так говорил Ленин на этом съезде. Делегаты слушали его, — худые лица были серьезны, лбы наморщены. Он отпивал несколько капель из стакана и, подыскивая точные формулировки идей, слегка картавя, — говорил залу:

«У нас нет предварительного опыта. Все, что мы знали, что нам точно указывали лучшие знатоки капиталистического общества, наиболее крупные умы, предвидевшие развитие его, — это то, что преобразование должно исторически неизбежно произойти по какой-то крупной линии, что частная собственность на средства производства осуждена историей, что она лопнет, что экспло-

ататоры неизбежно будут экспроприированы…

«Это мы знали, когда брали власть для того, чтобы приступить к социалистической реорганизации, но ни форм преобразования, ни темпа быстроты развития конкретной реорганизации мы знать не могли. Только коллективный опыт, только опыт миллионов может дать в этом отношении решающие указания.

«Нам нужно в самом ходе работ, испытывая те или иные учреждения, наблюдая их на опыте, проверяя их коллективным общим опытом трудящихся и, главное, опытом результатов работы, — нам нужно тут же, в самом ходе работы, и притом в состоянии отчаянной борьбы и бешеного сопротивления эксплоататоров — строить наше экономическое здание. Понятно, что при таких условиях нет ни тени основания для пессимизма…»

Совет народных комиссаров не падал на колени, не молил пощады. Партия большевиков круто поворачивала Октябрьскую революцию навстречу трудностям, где она должна была черпать силы и творчество. Трудности были и в том, чтобы победить голод и разорвать сужающийся круг контрреволюции, и в той, еще более грандиозной задаче — перед рабочим классом — обратить весь

накопленный капитализмом запас культуры, знаний и техники на потребность построения новой жизни.

Вместо хлеба, дров для печки и теплой одежды, нужных сейчас, немедленно, — революция предлагала мировые сокровища, революция требовала от пролетариата, взявшего всю тяжесть власти, всю ответственность диктатуры, — усилий, казалось, сверхчеловеческих. И это, и только это, спасло революцию: величие ее задач и суровость ее морального поведения.

Три лозунга были выкинуты в это страшное время: первое — централизация продовольственного дела с твердыми пенами на хлеб, который должен быть взят у кулачества «крестовым походом» продотрядов, второе — объединение пролетариата, самых широких, еще темных и забитых слоев трудящихся, и третье — организация деревенской бедноты, всех миллионов раскиданных по необъятным деревенским хозяйствам батраков, бедняков, маломощных.

3

Владимир Ильич щелкнул выключателем, гася лампочку на рабочем столе (электричество надо было экономить). Потер усталые глаза. За незана-

вешенным раскрытым окном еще синел тихий вечер. Засыпая, возились галки на кремлевской башне…

— Я только что получил сведения, правда, еще не проверенные, — сказал Сталин. — В Царицыне, Саратове и Астрахани советы отменили хлебную монополию и твердые цены…

— Головотяпы! — Владимир Ильич потянулся за карандашом, но не взял его. — Слушайте, — ведь это же — чорт знает что такое.

— Не думаю, чтобы — просто головотяпство… На Нижнем Поволжье с хлебозаготовками настоящая вакханалия… Еще хуже на Северном Кавказе и в Ставропольской губернии. Не сегодня — завтра Краснов перережет дорогу на Тихорецкую, мы потеряем и Кавказ и Ставрополь… Так дальше никуда не годится…

Галок на башне что-то встревожило, — они поднялись и снова сели.

— Конкретно — что вы предлагаете, товарищ Сталин?

Сталин потер спичку о коробку, — головка, зашипев, отскочила, он чиркнул вторую, — огонек осветил его сощуренные, будто усмешкой, блестевшие глаза с приподнятыми нижними веками.

— Мы недооцениваем значение Царицына. На сегодняшний день Царицын — основной форпост революции, — сказал он, как всегда, будто всматриваясь в каждое слово. — Магистраль: Тихорецкая — Царицын — Поворино — Москва — единственная оставшаяся у нас питающая артерия. Потерять Царицын — значит дать соединиться донской контрреволюции с казацкими верхами Астраханского и Уральского войска. Потеря Царицына немедленно создает единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. Мы теряем Каспий, мы оставляем в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа.

Владимир Ильич включил лампочку. Белый свет лег на бумаги и книги, на большие, с рыжеватыми волосками, его руки, торопливо искавшие какой-то листочек. Сталин говорил вполголоса:

— Все наше внимание должно быть сейчас устремлено на Царицын. Оборонять его можно, — там тридцать пять, сорок тысяч рабочих и в округе — богатейшие запасы хлеба. За Царицын нужно драться.

Владимир Ильич нашел, что ему было нужно, быстро облокотился, положив ладонь на лоб, пробежал глазами исписанный листочек.

— «Крестовый поход» за хлебом нужно возгла-

вить, — сказал он. — Ошибка, что этого не было сделано раньше. Прекрасно! Прекрасно! — Он откинулся в кресле, и лицо его стало оживленным, лукавым. — Определяется центр борьбы — Царицын. Прекрасно! И вот тут мы и победим…

Сталин усмехнулся под усами. Со сдержанным восхищением он глядел на этого человека — величайшего оптимиста истории, провидящего в самые тяжелые минуты трудностей то новое, рождаемое этими трудностями, что можно было взять как оружие — для борьбы и победы…

Тридцать первого мая в московской «Правде» был опубликован мандат:

> «Член Совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин, назначается Советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного дела на юге России, облеченным чрезвычайными правами.

Местные и областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары обязываются исполнять распоряжения товарища Сталина.

Председатель Совета народных комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».

Глава десятая

1

Царицын стоит на голых, выжженных солнцем, холмах по правому берегу Волги. За городом начинаются бурые степи, перерезанные пересыхающими речками и глинистыми оврагами. На юг — вдоль реки — тянутся лесопильные заводы и слободы, где живут тысяч двадцать рабочих лесного и сплавного дела и всякие люди, бродящие летом по Волге в поисках заработка. На севере за городом крупные заводы — орудийный и французский металлургический.

Царицын был промышленным и торговым центром всего юго-востока. Через него шел хлеб и скот, и нефть, и рыба с Каспия. Воображение отказывалось представить себе место, менее похожее на столицу. Город — дрянной, деревянный, голый, пыльный. Бревенчатые домишки его слобод повернуты задом — отхожими местами — на роскошный простор Волги, а пузырчатыми окошечками — на немощеные улицы, спускающиеся с холмов в овраги. Лишь из центра несколько улиц, кое-как утыканных булыжником, размы-

ваемых потоками, прожигаемых солнцем, ведут к замусоренному берегу Волги, к пароходным пристаням, складам, дощатым балаганам и лавчонкам с квасом, кренделями, вяленой таранью, махоркой и семечками.

В центре города, как полагается, на большой площади, где бродят пыльные смерчи, высился, чтобы быть видным за полсотни верст, кафедральный собор. У церковной изгороди, под общипанными кустами акации, блестело битое стекло винных бутылок да спали оборванцы. Площадь окружали безобразные каменные дома еще недавно именитого купечества. Во все стороны тянулись улицы с телеграфными столбами вместо деревьев. Их перспективы, — где человеческая радость так же должна была высохнуть, как эти аллеи сосновых столбов, — низились и нищали от центра к окраинам.

Лишь одно место было отведено для скудных развлечений в вечера, не знающие прохлады, — бульвар из обломанной, покрытой пылью, акации и такой же чахлый городской сад. Обыватели, расстегнув воротники русских рубашек, гуляли там, поплевывая семечками, пыля ногами в черных брюках, шутили с обывательницами.

В центре сада, в раковине, играл струнный

оркестр — десяток евреев, бежавших от украинских погромов. Несколько высоко подвешенных керосиновых фонарей, окутанных облачками ночных бабочек, освещали непокрытые столики, где можно получить пиво, шашлыки и чебуреки.

Здесь держалась публика почище — понаехавшие с севера «дамочки» в холстинковых хорошеньких платьях, изнывающие бородатые интеллигенты, офицеры, скрывающие свою профессию, низенькие плотные спекулянты в рубашках фасона «апаш», пронзительно воняющие потом журналисты из прихлопнутых большевиками газет и много разных людей, гонимых, как сорванные ветром листья, из города в город в поисках сравнительного порядка, минимального спокойствия и белых булок.

Белых булок и прочего съестного довольствия здесь было вдоволь в лавчонках у частников, торгующих до полуночи. Правда, стоило это отчаянно дорого. Но и на том спасибо. Большевистские власти, не в пример Москве и Питеру, властвовали здесь терпимо, даже с некоторым добродушием. И многие приезжие предпочитали потомиться еще какое-то количество недель до переворота, до полного освобождения от большевистского ужаса, чем подвергать себя

случайностям заманчивого, но крайне опасного сейчас, продвижения дальше на юг — в гудящий победоносными колоколами, освобожденный атаманский Новочеркасск или — «за границу»: в дивный Крым, в красавец Киев, успокоенный, чисто подметенный немцами.

Совсем другое происходило на обеих окраинах города. На пушечном и металлургическом заводах, среди вспыхивающих, как пожар, митингов, где малочисленные коммунисты отбивали беспартийную массу у меньшевиков и эсеров, — торопливо ремонтировалось всякое оружие, готовилось оборудование для бронепоездов и броневых пароходов.

На лесных пристанях, на сорока шести лесопильных заводах, на беньдежках (где раздаются наряды) формировались «береговые боевые отряды».

Казачьи восстания подступили теперь к самому рубежу — к Дону — и перекидывались на левый его берег. Пала Пятиизбянская, наискосок ее пал Калач — огромная левобережная станица.

Царицынские реденькие отряды, державшие фронт под станцией Чир, отступили через железнодорожный мост на левую луговую сторону Дона. Двадцать второго мая белые взорвали мост,

западная ферма его рухнула с тридцатисаженной высоты на песчаную отмель. Путь на Белую Калитву, откуда медленно двигались на помощь Царицыну эшелоны Ворошилова, был отрезан.

Восстания полыхали далеко на севере Дона, и слышно было, что казаки идут на Поворино, чтобы, отрезав Москву от Царицына, охватить его мертвой подковой. Едва держалась, как гнилая ниточка, дорога на юг — в хлебную житницу — на Северный Кавказ, Кубань и Терек: там после мартовской неудачи добровольческая армия, отдохнувшая и пополнившаяся, снова начинала военные операции.

2

— Простите за мистификацию, товарищ, заседание у нас особенное, таков приказ по линии высшего начальства, — с усмешкой говорил генерал Носович каждому входившему в комнату, где за столом, покрытым вместо скатерти газетами, уставленным пирогами и жареным мясом, сидело, расстегнув воротники, вытирая пот, человек десять. В конце стола Москалев, в парусиновой толстовке, каждый раз перебивал Носовича:

— Правильно, правильно, брось извиняться, именинник. Мы, брат, не меньшевики, не вегета-

рьянцы… Знаешь, как в станицах говорят: у нас в утробе и еж перепреет…

Он хохотал, положив большие кулаки на стол. Это и было высшее начальство: царицынский городской голова и председатель совета Сергей Константинович Москалев. Вчера он позвонил Носовичу: «Ты что ж, генерал, именины маринуешь? Это, браг, саботаж. Завтра к тебе нагрянем, жди».

Именины были им придуманы, разумеется, не просто, чтобы выпить водки. Он сам по телефону вызвал, будто бы на секретное совещание к Носовичу, военрука Северокавказского военного округа бывшего генерала Снесарева, военспеца мобилизационного отдела бывшего полковника Ковалевского, инспектора артиллерии бывшего полковника Чебышева, штабного комиссара Селиванова, — словом, всю головку окружного и запутанного военного руководства.

Сергею Константиновичу, считавшему себя очень хитрым человеком, хотелось на дружеской пирушке прощупать этих спецов. В совете, в исполкоме ползли неопределенные слухи о военных неудачах, о непонимании командирами отрядов приказов, о непрекращающейся склоке между четырьмя царицынскими штабами: шта-

бом военрука местных формирований, штабом губвоенкома царицынского фронта, штабом обороны юга России и штабом Северокавказского военного округа.

Слухи эти, вернее всего, вздорные, ползли с заводов, от низовых партийцев. Тем более это был вздор, что Снесарев, Носович, Чебышев и Ковалевский приехали сюда с мандатом от Троцкого. Все же не мешало, конечно, и самому составить впечатление…

За столом, кроме них, сидели: спец по нефтяному транспорту, на-днях командированный сюда из Москвы, инженер Алексеев — холеный седоватый человек, с моложавым решительным лицом, и два его сына — двадцатилетний штабс-капитан и двадцатидвухлетний подполковник. Они приехали с отцом и уже были зачислены Носовичем в штаб. Сидели рядышком, сдержанно, не вытирая обильных капель пота, проступивших на их сизо-выбритых круглых головах.

Носович, — да не он один, — отлично понимал затею Москалева. Разговор за столом не налаживался. В такую жару никому не хотелось жевать мясо. Водка была теплая. Только комиссар Селиванов — донской казак — провожал каждую рюмку прибаутками, изображая казачьи обычаи,

с хрустом грыз хрящи, хитро скользил прозрачными глазами по хмурым лицам штабных. Он, видимо, чувствовал себя уязвленным и готов был задираться, но ему не давали повода.

Носович, корректный, любезный, — весь внутренне настороженный, — много раз начинал одну и ту же фразу: «Уж право, Сергей Константинович, вы придумали с этими именинами…»

— Я, брат, попович, — перебивая, кричал ему Москалев с другого конца стола. — Мне и книги в руки… (Пятерней откидывал волосы, выпятив губы — запевал.) «О долголетии дома сего господу помолимся…» — И раскатисто смеялся. Наливали, чокались, но непринужденность не налаживалась. Чебышев сидел, глядя в тарелку с таким лицом — точно на пиру у разбойников. Военспец Ковалевский, — большой и длинный, с маленькой головой, с круглой бородкой, с неприятно напряженным лицом и карими бегающими глазами, — до того невпопад фальшивил — лучше бы молчал. (Но Москалев, увлеченный самим собой, не замечал этой скребущей ухо фальши военспеца.)

Самый старший за столом — военный руководитель силами Северного Кавказа Снесарев — небольшой, плотный, в очках, с мясистым

носом, с короткими — ежиком — седоватыми волосами — сообразно своему бывшему чину и теперешнему положению — строго поглядывал из-за стекол.

Он был из той уже вырождающейся породы русских людей, которая сформировалась в тусклые времена затишья царствования Александра Третьего. Он по-своему любил родину, никогда не задумываясь, что именно в ней ему дорого, и если бы его спросили об этом, он — несколько подумав, — наверное бы, ответил, что любит родину, как должен любить солдат.

Позор японской войны (он начал ее с чина подполковника) поколебал его душевное равновесие и бездумную веру в незыблемость государственного строя. Он прочел несколько «красных» брошюрок и пришел к выводу, что — так или иначе — столкновение между опорочившей себя царской властью и народом — неизбежно. Этот вывод спокойно улегся в его уме.

Во время мировой войны он не проявил — уже в чине генерала — ни живости ума, ни таланта. Эта война была выше его понимания. Потеря Польши, разгром в Галиции, измена Сухомлинова и Ренненкампфа, бездарность высшего командования, грязный скандал с Распутиным

— вернули его из воинствующего патриотизма к прежней мысли о неизбежной революции. Он ждал ее, и даже в октябрьский переворот, когда его обывательское воображение отказывалось что-либо понять, он остался на стороне красных. Он полагал, что революционные страсти, митинги, красные знамена, весь водоворот сдвинутых с места человеческих масс уляжется и все придет в порядок.

Поход Корнилова с горстью офицеров и мальчишек-кадетов на завоевание Северного Кавказа он счел безумной авантюрой. Но когда добровольческая армия, окрепшая в степных станицах Егорлыцкой и Мечетинской, начала бить главкома Сорокина, возомнившего себя Наполеоном, когда атаман Краснов в пышных универсалах заговорил о «православной матушке России», — на Снесарева пахнуло давно утраченным, родным, вековечным… И мысли и чувства его поколебались.

Зорко наблюдавший за ним Носович попросил разрешения поговорить «по душам». Носович рассказал ему, будто бы под видом своих сомнений и колебаний, его сомнения и колебания. Снесарев, сурово выслушав Носовича, ничего не ответил и отослал его. Но этот ночной разговор

стал для него решающим. Большевики, комиссары, социализм, оборванные рабочие — все это было действительно чужим генералу Снесареву.

— Чудные вы люди, товарищи! Поехали бы хоть разок на заводской митинг, — говорил Сергей Константинович, отчаявшись шутками пробить ледяную сдержанность. — Вот там люди! Кипят! Вылезет какой-нибудь грузчик, на самом — дыра на дыре, брюхо подвело, голова в репьях, и — что же думаете, — меньше чем на мировую революцию не замахивается… Разве тут носы вешать, товарищи? Мне лично трех жизней мало, честное слово! Мою покойную мамашу, что угодила родить меня тютилька в тютильку в нашу эпоху, ежедневно вспоминаю.

Он опять раскатился. Снесарев проговорил, отдирая кусочек вяленой тарани:

— Эпоха, что и говорить, знаменитая… Да нам-то, военным, мало приходится вдумываться в такие штуки… Наше дело прозаическое: бей врага в хвост и в гриву… А уж эпоху мы вам предоставляем, Сергей Константинович.

Носович сразу оценил неприятное впечатление от этих слов — поспешил их несколько поправить:

— Военные — это люди прочной установки,

Сергей Константинович… Прицел установлен, — стреляй… Но, боже сохрани, при этом — анализ… Это дело штатское… Наш прицел — искреннее принятие революции… Вот что хочет сказать товарищ военрук.

Москалев строго, неодобрительно покачал головой:

— Напрасно, напрасно, товарищи… Почитать книжечки никому не мешает… Ан, глядь, прицел-то подальше надо будет перенести… (И — опять с благодушием.) Ничего, дайте срок, — я из вас всех сделаю большевиков… Ведь в чем наша задача? Страна наша дикая, варварская. Мужик — зверье. А ведь его сто миллионов — мелкого-то собственника. Лапотника-то. Ясно — социализма с этакими возможностями, с этаким народом нам никак не выстроить. В этом я расхожусь — и это в лицо скажу Ленину, — нет-с, не вытянем!.. Кишка тонка! Я вот — русский человек, из самой расейской гущи… Лучше меня никто ее не знает… Мужичок наш — зверь. Но есть у Чехова одна замечательная фразочка: «Если зайца бить по голове — он может спички зажигать». Вот! Вот наша задача! Понятно? Использовать революционную ярость народа. И это — можно и должно.

Чебышев, открыв мелкие опрятные зубы, точно

собираясь укусить, спросил:

— Сергей Константинович, мировой пожар — это понятно. А вот какова конечная цель, дальний прицел? Объясните нам.

— Революция, товарищи, — это взлет, волна. — Москалев, сделал широкий жест. — Мы поднимаемся на гребень. Но каждая волна в конце концов спадает. Нам важно вовремя овладеть властью, захватить командные высоты…

Носович встал, узкое лицо его было значительно. Подняв рюмку с теплой водкой, отчеканил по-военному:

— Господа… (Без смущения поправился так же четко.) Товарищи… Я пью за нашего вождя — товарища Москалева, ведущего нас к командным высотам. Ура!

Все ответили — «ура!» Москалев был очень доволен. Удалось хорошо поговорить. Опасения его относительно военных спецов рассеялись: в конце концов это были прямодушные солдаты. Широтой ума не блистали, но зато в смысле чести, верности, боевой хватки были — кремень. В комнату вошел запоздавший гость — невысокий, худощавый, загорелый до лилового цвета, молодой человек с большими черными глазами — председатель царицынского исполкома Яков

Зиновьевич Ерман. Быстро кивая сидящим за столом, подошел к Москалеву и зашептал ему на ухо.

— Кто? — громко спросил Москалев.

— Сталин.

— Когда?

— Видимо — завтра.

— Ну что ж, встретим… Садись… Водку пьешь?

— Простите, товарищи, — обведя стол черными, не умеющими улыбаться глазами, сказал Ерман. — На «Грузолесе» сейчас митинг, настроение неважное…

Не прощаясь, он так же быстро вышел…

3

Большой митинг собрался среди бунтов бревен на усеянной щепою территории «Грузолеса» (лесопильных заводов бывших братьев Максимовых). Солнце жгло сквозь висевшую в безветрии пыль. Тысячная толпа была возбуждена. С утра в ларьках и лавчонках у частников не оказалось хлеба. «Дорогие мои, — объясняли лавочники, — сами ничего не понимаем, муку третий день не подвозят, видно — скоро конец, что ли…» В ларьках продовольственной управы хлеб был такой, что и свиньи не станут жрать, и того сразу

же нехватило.

Голодная толпа слушала разных ораторов, влезавших вместо трибуны на расшатанный столик. Коммунистов здесь было мало: большинство ушло на фронт. Оставшиеся из последних сил боролись за то, чтобы сохранить перевес на этом митинге.

Но сегодня неожиданно заговорили такие, кто раньше помалкивал, и такие, кого в первый раз видели в лицо. Толпа была настроена так, что — вот-вот — надвинется, сомнет. Толпа желала слушать всех, понять, разобраться…

Известный «сукин кот» — меньшевик Марусин — большеротый, низенький, с толстыми ногами, — сморщив лицо не то смехом, не то плачем, говорил со стола:

— Поклонимся, спасибо скажем товарищам коммунистам за сегодняшнее угощение. Дохозяйничались до ручки… Хлеб из деревень уж нам не везут и не повезут… Социализм осуществлен на деле, что и требовалось доказать… Везде, где коммунисты берут власть, — хлеба нет… Больше я ничего не имею прибавить…

Толпа угрюмо молчала. На место Марусина влез низовой коммунист, лесопильный рабочий, с чахоточными щеками, с немигающими расши-

ренными глазами. Под распоясанной рубахой чувствовалось голодное ломаное тело, волосы стояли копной.

Он убежденно сжал кулаки и уперся расширенными зрачками не в лица товарищей, стоявших вокруг, а выше куда-то — в коренную правду.

— Не поняли, что ли, вы? Да что вы его со стола не стащили?.. Марусин — это же враг трудящих… Куда он вас зовет? Он у братьев Максимовых был конторщиком… Вот отчего он против коммунизма… А вы его слушаете… Он хочет опять, чтобы вам хозяева кости ломали… Что он сказал? Хлеба нет… Эка штука — хлеб… Будет он, будет у нас хлеб! Я, как себя помню, на пристанях часами глядел на белые-то калачи… Я цену знаю хлебу… Я лучше не поем хлеба, а революцию не продам за его хлеб…

— Верно, верно, — заговорили голоса, закивали головы. К столу продирался третий оратор, — не понять — старый или средних лет, лысый, с благостной бородой. Влез на стол, низко поклонился, надел железные очки, вынул из кармана пыльной черной поддевки сложенный листочек, бережно развернул его и нараспев заговорил, поглядывая на исписанное:

— Человек есть царь природы… О, боже мой,

во что обратился человек!.. В дыму фабричном и в угольной пыли под землей он трудится, как верблюд, проливая пот и портя себе легкие… А кучка богачей пирует и предается пресыщению… Не надо нам кучки богачей… Не надо нам фабрик, заводов и шахт… Они только легкие портят и расшатывают наши нервы. Неужели нам еще и кровь проливать за эти закопченные трубы?.. Давайте разделим заводы, — каждый возьмет, что ему надо, и разойдемся по селам и деревням, на природу. Займемся хлебопашеством, скотоводством и садоводством. Станем царями природы. И воцарится покой, и кровавая война сама собой прекратится.

Странный оратор снял очки, вместе с бумажкой положил их в карман поддевки, с трудом слез со стола и важно протискался сквозь толпу. Ему давали дорогу. Слова его и то, как он говорил, удивили слушателей. Собрались они сегодня стихийно, как на вече, сзываемые темными слухами.

Было известно, что на фронте — неудачи, враг неуклонно приближается к Царицыну. С хлебом — перебои. И самое тревожное было в том, что никто не чувствовал твердой руки в защите города от нависающей угрозы.

А тут еще разные ораторы разжигали воображение. Чорт их знает — кому верить теперь. Иные влезали на стол сразу по-трое и, ругаясь, спихивали друг дружку.

Зной стоял нестерпимый под покрытым штабелями берегом, убегающим к бледной, широкой Волге, лоснящейся, как горячее масло. Один оратор кричал, что нельзя брать хлеб у мужика силой, мужик сам знает цену хлебу, а монополия — голодная смерть… Другой, потрясая кулаками, надрывался диким голосом: «Чего нам ждать? Ребята, переизберем советы, не пустим в них ни одного коммуниста… И войне конец, и хлеб будет!»

У стола появился Ерман, лицо его дергалось. С ним подошла широкая костлявая старуха в зеленых штанах, в солдатской рубашке, — из-под красноармейского картуза висели ее кое-как подобранные серые волосы. Это была известная всему «Грузолесу» Саша Трубка, чернорабочая-откатчица, член царицынского совета и исполкома. Ей закричали:

— Саша, чего штаны надела? Она отвечала низким голосом:

— Расскажу, потерпи…

Но добродушных было мало: толпа, накаленная

речами, заволновалась и теснее начала придвигаться к столу, на котором показался Ерман. Раздавались голоса:

— Дохозяйничались…

— Опять уговаривать пришел?.. Мы сыты!

— Ты брось углублять… Хлеба давай!..

Ерман только обводил матовыми гневными глазами грузчиков, откатчиков, пильщиков, красных от зноя, с дико взлохмаченными волосами, видел под рваными рубахами раскрытые груди с налитыми мускулами. Он любил эту приволжскую вольницу — с размахом чувств во все плечо, и дружную, своевольную, смеющуюся над благополучием, и грозную, когда ее охватывал гнев против несправедливости. От жизни они требовали и мало и очень много. Босые и оборванные, потому что на них оставалось только то, что уже нельзя было под горячую руку пропить, — они со страстью переживали все грандиозное. Им везде было тесно. На митингах они обсуждали планы общественных работ: устройство волжской набережной на двадцать пять верст, постройку домов отдыха для всех трудящихся, прорытие Волго-Донского канала. Их легко охватывал энтузиазм, и так же легко — недоверие и злоба.

Ерман сразу понял, что сегодня над этой воль-

ницей поработали враги. Стиснув маленькие кулаки, он заговорил высоким, резким голосом:

— Откричались? Или еще будете кричать? Хлеба нет, и покуда вы сами его не возьмете — хлеба не будет. Рабочие отряды позорно отступают, открывая дорогу врагу на Царицын. Деревенское кулачье открыто восстает против продотрядов. Всякая контрреволюционная сволочь — меньшевики и эсеры — готовится с колокольным звоном встречать красновских генералов. Слушаете врагов советской власти?.. Почему из двадцати тысяч портовых рабочих сформирован только один отряд в восемьсот штыков? Кто будет вас защищать? Кто даст вам хлеба? Никто! Если вы сами этого не хотите!

Ерман допустил ошибку: он рассердился, все, что накипело в нем за эти тревожные дни и бессонные ночи, вылилось в непонятной для толпы ненависти. Он фальцетом выкрикивал слова, дурно произнося их, и точно внезапная трещина пробежала между ним и толпой, — он оказался по эту, слушатели — по ту сторону…

Возбужденные люди кинулись к нему… Сделай он ничтожное движение защиты, — его бы стащили и разорвали…

На стол, рядом с ним, влезла Саша Трубка. За-

махала руками на толпу:

— Тише, тише, мужики, не напирайте. (И — Ерману.) Слезай, — я сама с ними поговорю… Потеснитесь, мужики, дайте человеку дорогу.

Ерман остался стоять у трибуны, опустив голову, тяжело дыша.

Саша Трубка вытерла морщинистый рот, разинула кругло бледные маленькие глаза. Ее дубленое, морщинистое лицо было простодушно и простовато, но все знали, что она хитра, умна и зубаста.

— Мужики, бабы, я с вами по-береговому буду говорить. Интеллигентно вы не понимаете… Чего набросились на товарища Ермана? Он кабинетный работник. А я — массовый работник, — вы со мной говорите…

Из толпы — голос:

— Одна шатия…

И — другой:

— Не трогай ее, а то матерком пугнет…

— И пугну, ничего с меня не возьмешь, сынок, — ответила Саша Трубка, сморща глаз и раздвинув ноги, чтобы ловчее стоять на шатком столе. — Мужик — иголка, а баба — нитка, раньше-то говорили… А теперь баба — иголка, а ты за мной тянись, не серчай…

В толпе засмеялись. Один сердитый голос:

— Командир, — штаны надела… Пройдоха…

Саша Трубка подхватила: «Ага!» — и продолжала балагурить:

— Отчего я штаны надела? А ведь хорошо! (Голоса: «Повернись!» «Присядь!» «Тесны!» «Лопнут!» и еще ввернули под хохот совсем уже непечатное.) Я и до этого косо на юбку смотрела… Влезешь на трибуну — сразу тебе говорят: нечего тебе, бабе, соваться… Прихожу в штаб: не пускают в юбке… Я уверяю: я не баба… (Опять голоса пустили непечатное.) Я товарищ боевой, я на хуторах сама ликвидировала две белых банды… И надоела мне юбка, хоть плачь… Сегодня прибегаю домой, — сына, Мишки, на стене висит фронтовой костюм, надела, взяла наган, и я — здесь…

Из добродушных морщинок на слушателей взглянули вдруг умные, выцветшие, совсем не старушечьи глазки Саши Трубки.

— Побалагурили, — давайте дело… Я уж с моими бабами сегодня говорила. На лесных пристанях у нас шесть тысяч баб… Работают они лучше вас и получают больше вашего, мужики…

— Но, но, Саша!..

— Врри, не завирайся…

— Лучше, лучше!.. Бабы мои все организован-

ные. И прогулов меньше, и водки не пьют…

— Врешь, дьявол, сама хлещешь…

— Сама—другое дело, я — правительство, мне паек особенный… (Опять засмеялись, покачали головами: «Ну и зубаста, на все — ответ».) Шесть тысяч баб да вас тут половина великовозрастных бородачей — останутся на деле… Остальным мужикам надо спасать революцию…

Сказала она это до того обыкновенно и уверенно, — сразу стало тихо. Теперь ее начали слушать сочувственно — напряженно глядели в ее мужиковатое морщинистое лицо, не хотели пропустить ни слова. И кто бы вздумал сейчас пошутить, крепко бы «погладили» такого по затылку.

Саша Трубка, самоучкой выучившаяся грамоте, за свои пятьдесят восемь лет исходившая Россию и батрачкой, и скотницей, и стряпухой, и чернорабочей на лесных пристанях, потерявшая в пятом году трех родных братьев и в великую войну—двух сыновей и мужа, — не растратила ни свежести души, ни сил, и сейчас перед тысячной толпой говорила, как в сердечный час со своими сыновьями. Слова ее были просты и коротки, от волнения у нее морщился по-старушечьи рот.

— Как ни кряхти, — никто не минует этой

старости. Давайте уж лучше помирать за дело, мужики… Не дадимся, чтобы нам, как гусям, казачишки головы поотвертели. На помощь нам идет большая армия из-под Лихой. Завтра приезжает из Москвы верховный комиссар Сталин. А мы все еще в башке ногтями дерем. Организуйте полк «Грузолеса». Вон и грузовики с винтовками стоят. Разбирай — и завтра на фронт…

Медленно, окутанные пылью, проплыли к трибуне два грузовика с оружием. «Даешь!» — закричали грубые голоса. В толпе началась давка, к матросу, сидевшему на куче ружей на первом грузовике, начали протискиваться добровольцы — все больше, все горячее…

4

Спозаранку разбудило громыхание телег по булыжнику. Утреннее, но уже беспощадное солнце резало глаза. Сергей Константинович Москалев отмахнулся от мух, ходивших пешком по мокрому лицу. «Пить сивуху в такую сатанинскую жарищу — это же прямо самоистязание!..» С минуту, сидя на кровати, глядел под ноги на окурок. Решительно поднялся, натянул синие галифе, тесные сапоги, парусиновую толстовку. Выпил несколько стаканов противной желтоватой воды

из графина. Закурив, начал рыться в газетах, лежавших кучей на ночном столике. И газеты, и руки, и, казалось, все на свете было покрыто тончайшей сухой пылью.

Он нашел номер московской «Правды» от тридцать первого мая. Несколько раз, нахмурясь, перечел мандат — народному комиссару Сталину, облеченному чрезвычайными правами… Поскреб ногтями полный невыбритый подбородок. Нетерпеливо закрутил ручку телефона, вызывая личного секретаря:

— Петр Петрович, когда московский поезд? Минут через сорок?.. Ага! Позвоните там всем, — надо встретить… Уже позвонили? Хорошо, я сейчас подъеду…

Вокзал был дрянной, деревянный, низенький, с выбитыми окошками. На исковыренном перроне — мусор, на ржавых путях — мусор… Поднимется ветер — все это полетит в рожу…

— Хоть бы подмели все-таки, ай, ай, товарищи, — сказал Сергей Константинович подошедшему к нему члену железнодорожной коллегии. Тот тоже будто в первый раз увидел все это запустение.

— Да, запакощено основательно… Вопрос этот надо поднять…

На перроне появились: длинный, с маленькой головой, Ковалевский, Носович, Чебышев; отпыхиваясь, пришел плотный, красный, весь круглый Тулак — командующий царицынским резервом. Пришел Ерман с членами исполкома… Председатели профсоюзов… Собралось человек двадцать пять. Носович, подойдя со спины к Москалеву, спросил осторожно:

— А не вызвать нам оркестр все-таки?

— Стоит ли? Как-то уж очень получится по-провинциальному…

— Слушаюсь…

Подошел московский поезд. На паровозе — спереди — пулеметы. На площадках — два броневика. В хвосте — платформы со шпалами и рельсами. Первым соскочил на перрон комендант — жилистый, черноватый человек, весь в черной коже, с деревянным чехлом маузера на боку. Ни на кого не глядя, резким голосом подозвал начальника станции.

Затем начали сходить вооруженные винтовками московские рабочие, одетые вразнобой, — в рубахах, пиджаках, кожаных куртках, кепках, — все перепоясанные новыми патронташами.

У всех — неприветливые, худые, суровые лица. Без говора, без шуток — стали вдоль вагонов,

опустив винтовки ложами на асфальт.

На площадку классного вагона вышел человек в черной — до ворота застегнутой — гимнастерке, в черных штанах, заправленных в мягкие сапоги. Худощавое смуглое лицо его было серьезное и спокойное, усы прикрывали рот. Он взялся за поручень площадки и неторопливо сошел.

Первым, шаря глазами по окнам вагонов, увидел его Москалев. Широко улыбаясь, помахивая протянутой рукой — поспешил навстречу. Взволнованно подошел Ерман. Осторожно, — не доходя трех шагов и вытянувшись, — Носович.

— Здравствуйте, товарищи, — отчетливо сказал им Сталин, и не то веселые, не то насмешливые морщинки пошли от углов его глаз. Он поздоровался, не выделяя никого, со всеми, — не слишком горячо и не слишком сухо. Быстрым движением зрачков оглядел всех, кто был на перроне.

— Товарищи, попрошу ко мне в вагон.

Повернулся спиной, поднялся на площадку и скрылся в вагоне, не оглядываясь и не повторяя приглашения. Когда все разместились в салоне, Сталин, раскурив трубку и похаживая около стола, начал задавать вопросы: о запасах хлеба в крае, о работе продотрядов, о предполагаемом урожае, о количестве штыков на фронте,

о резервах, о продвижении противника, о его силах, — десятки коротких и точных вопросов — Москалеву, Ерману, Тулаку, Носовичу… Когда тот, кого он спрашивал, начинал пространно разжевывать, — Сталин прерывал:

— Мне нужны цифры, объяснений не нужно… Собеседники его понемногу убеждались, что ему, должно быть, все уже известно — и состояние на фронтах, и цифры хлебных излишков, и все непорядки и неполадки, и даже то, чего не знают они, царицынские вожди…

Беседа продолжалась долго. Москалеву очень хотелось бы перейти к общереволюционным темам: с жаром, большими словами, как он умел, поговорить так, чтобы показать москвичу, что здесь тоже не лаптем щи хлебают. Но он никак не мог разорвать круг оцепляющих его точных, анализирующих вопросов. Было непонятно — куда клонит Сталин.

Носович сидел настороженно, не курил предложенных московских папирос, отвечал сухо и точно и несколько раз, — показалось ему, — поймал на себе быстрый, из-под приподнятых нижних век, острый взгляд Сталина. На вопрос — чем он объясняет успех противника за последние дни — Носович ответил осторожно:

— Еще месяц тому назад казаки стреляли самодельными снарядами. Я буду иметь удовольствие показать вам снаряд, сделанный из консервной банки, — музейный курьез… Теперь они получили хорошее снаряжение и отличные пушки. Вопрос решается перевесом огневых точек на фронте…

— А не объясняете вы наш неуспех недостаточной политической подготовкой? — спросил Сталин. — За огневой точкой сидит человек. Сколько ни будь у полководца огневых точек, если его солдаты не подготовлены правильной агитацией, — он ничего не сможет сделать против революционно воодушевленных бойцов — даже с гораздо меньшим количеством огневых точек.

Чтобы обдумать ответ, Носович взял папироску и чувствовал теперь, что Сталин уже не мельком — пристально разглядывает его.

— Я согласен, что это новая тактика революции. — Он постарался твердо ответить на взгляд Сталина. — Но под огнем неприятеля трудно перестраивать психику бойца. Под огнем неприятеля он больше верит пушкам, чем книжкам. В тылу, при формировании, разумеется, воспитание — это все…

У Сталина снова побежали морщинки от век на виски, он отвернулся от Носовича, чтобы выколотить трубку, и — как бы мимоходом:

— Где и перестраивать психику, как не под огнем неприятеля, — там-то и перестраивать… Теперь, товарищи, я попрошу остаться товарищей Москалева и Ермана.

И он стал прощаться за руку со всеми. Когда в салоне остались только Москалев и Ерман, он сел к столу, ладонью стряхнул пепел с клеенки.

— Здесь на путях — маршрутный состав с зерном. Давно он стоит?

Ерман вспыхнул, точно его ударили по лицу. Москалев ответил, прищуриваясь на окно:

— Дня два-три…

— Больше, — сказал Сталин, — одиннадцать дней. Почему он не был отправлен?

Москалев нахмурился, пальцы его застучали по клеенке.

— Во-первых, у нас были сведения, что дорога около Поворина перерезана казаками… Во-вторых, при создавшейся военной обстановке, когда мы можем оказаться буквально в осажденном городе, я не мог рисковать остаться без хлебных запасов. Вчера рабочие устроили такую бузу…

Он засопел носом, ожидая, что Сталин начнет

спорить. Но Сталин не стал спорить. Он спросил еще:

— В городе свободная продажа хлеба?

— Ну да…

— Чем это объясняется?

Москалев гуще засопел, но понял, что ссориться не надо.

— Тем объясняется, товарищ Сталин, что вы мало знаете наши особенные условия. В городе тысяч сто разных обывателей, мещан, словом… Кто там в огороде ковыряется, кур щупает, торгует по мелочишке… Да тысяч десять беженцев… Посади я их всех на паек — ну и назавтра разнесут совет… Хуже того — отряды повернут с фронта; у каждого здесь папаша, мамаша…

Сталин повернул голову к молчавшему, опустив глаза, Ерману:

— Вы тоже так думаете?

— Нет, я не так думаю, — резко ответил Ерман. — Считаю положение в городе ненормальным…

— Вот видите — уже два различных мнения… — Сталин достал из папки листочек. — Это получено сегодня в пути, — он положил на стол перед Москалевым телеграмму, подписанную Лениным:

«…О продовольствии должен сказать, что сегодня вовсе не выдают ни в Питере, ни в Москве. Положение совсем плохое. Сообщите, можете ли принять экстренные меры, ибо кроме как от вас добыть неоткуда…»

— Мое предложение, — сказал Сталин (покуда Москалев читал телеграмму и затем молча подвинул ее по столу — Ерману), — поставить в исполкоме вопрос о прекращении безобразного разбазаривания хлеба. Пролетариат в Москве, в Иванове, в Питере получает осьмушку. Владимир Ильич телеграфирует, что и этой осьмушки уже не выдают. Это означает, что в опасности не только эти города, но в опасности революция. Ради удобства десяти тысяч беженцев в Царицыне мы не можем лишать революцию хлеба…

— Посадить Царицын на паек! — Москалев попробовал толкнуть от себя стол — он не сдвигался. Он тяжело вылез, прошелся, поддернул галифе. — Мы тем и горды, что в кошмарных условиях, когда вся контрреволюционная сволочь кричит: «Большевистское хозяйство — это голод и разруха!» — превратили Царицын в цветущий город… Заводы вырабатывают почти пятьдесят процентов довоенного, — это при наличии фронта. Увеличена сеть школ… Профсоюзными организациями

охвачены почти все массы трудящихся… Колоссально поднято женское движение… Проводятся мероприятия по созданию общественных работ.

— Ты забыл еще музыку на бульварах, — перебил его Ерман дрожащим голосом, — офицерские кабаки с танцами… И что соль спекулянты вздули уже до ста рублей пуд.

— Накипь! Это накипь! — крикнул Москалев. — Раздавим! — Он покосился на Сталина, — тот невозмутимо попыхивал трубкой. — Вопрос гораздо глубже… Царицынский пролетарий сам, своими руками, строит свое будущее. Царицынский пролетариат верит мне, Москалеву, что я доведу его до окончательной победы. А я посажу его на голодный паек, я брошу его в общероссийский котел… Потому, что иваново-вознесенские рабочие получают осьмушку… Он этого не поймет…

Говоря все это, Москалев «учитывал» впечатление, и оно складывалось не в его пользу. У Ермана рот искажался брезгливой гримасой. Сталин спокойно предоставлял высказываться, но что-то непохоже было, что этого человека можно пошатнуть. С веселыми глазами, осведомленный, непроницаемый — хоть и не нажимает на чрезвычайные полномочия, но они у него в

кармане. И, пожалуй, не попасть с ним в ногу — оставит позади.

Боковые мысли не влияли, разумеется, на горячность слов Сергея Константиновича, но, замечая, что впечатление совсем уже становится неважным, он осторожно начал «спускаться».

— Говорю все это, товарищ Сталин, к тому, чтобы вы учли всю сложность ситуации, стоящей перед нами… Мы с вами здесь в особенных условиях. Здешний пролетариат корнями связан с деревней, с обилием хлеба, — это Волга, всероссийская житница… Поймут ли? Боюсь, боюсь…

— Волков бояться — в лес не ходить… Не разделяю ваших опасений, Сергей Константинович, — весело сказал Сталин, как будто довольный, что известный этап уже пройден. — Рабочие поймут, если им объяснить. Рабочие прекрасно поймут, что хлебная монополия и карточная система тяжелее, пожалуй, чем драться в окопах, но они поймут, что это и есть сейчас главный фронт революции. И они принесут эту жертву, если им хорошо и толково разъяснить…

Москалев, усмехаясь, помотал головой. Сел к столу…

— Задачку вы нам ввернули, товарищ Сталин… С чего же, реально, с каких мероприятий, думае-

те, нам начать?

— Мое предложение — начать с созыва общегородской партийной конференции.

— Когда?

— Завтра. Зачем откладывать…

— Повестку дня успеем составить?

— Утром — часиков в семь — приезжайте оба…

— В семь утра? (Москалев залез пятерней в волосы.) Тогда я сейчас же поеду… Надо продумать, подготовить материалы. — Он запнулся и вопросительно взглянул…

Концом трубочного мундштука Сталин начал проводить по клеенке черточки, как бы строчки.

— Вопрос об осуществлении монополии и карточной системы; борьба за транспорт; усиление военного командования; борьба с контрреволюцией; укрепление партийной организации и развертывание массово-политической работы; борьба против распущенности, смятения и хаоса… Повестка будет большая…

Сталин поднялся и опять — по-товарищески просто — пожал руки Москалеву и Ерману. Уходя, Москалев задержался в дверях на секунду, но не обернулся, хотя он на хвост себе наступать никому не позволял, кашлянул густо, тяжело спустился с вагонной площадки и только уже

— развалясь в машине — проговорил: «Да-а-а».

К этому времени вагон Сталина, отведенный на запасные пути, был включен в городскую телефонную сеть. Сталин начал работу. Два его секретаря, молчаливые и бесшумные, вызывали по телефону председателей и секретарей партийных и советских организаций и учреждений, подготовляли материалы, стенографировали, впускали и выпускали вызванных… Председатель Чека влез в вагон веселый, как утреннее солнце, ушел с другой площадки — бледный и озабоченный… Председатель железнодорожной санитарной коллегии, не дожидаясь вызова в вагон, распорядился подмести вокзал и перрон, для чего был послан грузовик в слободу за мещанками. В порядке общественной нагрузки их привезли вместе с метлами, — от страха и досады они подняли такую пыль, что пришлось отказаться от этой формы борьбы с антисанитарным состоянием.

Весь день шли разные люди по ржавым путям, спрашивая вагон Сталина. Составлялась полная картина всего происходящего в городе, в крае и на фронтах. К ночи стали приходить рабочие: представители фабричных комитетов и некоторые одиночные низовые работники.

И только когда за изломанными станционными заборами, за решетчатым виадуком, за убогими крышами, за темной Волгой разлился зеленый свет и разгорелась безоблачная заря, — в сталинском вагоне погас свет — сразу во всех окнах.

Утром была послана телеграмма — вне очереди — Москва, Кремль, Ленину:

«Шестого прибыл в Царицын. Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, все же возможно навести порядок. В Царицыне, Астрахани, в Саратове монополия и твердые цены отменены советами, идет вакханалия и спекуляция.

«Добился введения карточной системы и твердых цен в Царицыне. Того же надо добиться в Астрахани и Саратове, иначе через эти клапаны спекуляции утечет весь хлеб. Пусть Центральный исполнительный комитет и Совнарком в свою очередь требуют от этих советов отказа от спекуляции.

«Железнодорожный транспорт совершенно разрушен стараниями множества коллегий и ревкомов. Я принужден поставить специальных комиссаров, которые уже вводят порядок, несмотря на протесты коллегий. Комиссары открывают кучу паровозов в местах, о существовании ко-

торых коллегии не подозревают. Исследование показало, что в день можно пустить по линии Царицын — Поворино — Балашов — Козлов — Рязань — Москва восемь и более маршрутных поездов.

«Сейчас занят накоплением поездов в Царицыне. Через неделю объявим «хлебную неделю» и пустим сразу около миллиона пудов…

«…Послал нарочного в Баку, на-днях выезжаю на юг. Уполномоченный по товарообмену… сегодня будет арестован за мешочничество и спекуляцию казенным товаром…»

Глава одиннадцатая

1

— Стой… Кто идет?

— Боец.

— Имянно?

— Агриппина Чебрец…

Засмеялись грубо. Из темноты выдвинулись двое вооруженных.

— Идешь куда?

— Ну, на озеро.

— Это что у тебя?

— Ну, белье…

Они разглядывали Агриппину.

— Почему — не на посту?

— Отряд в резерве.

— Покажи-ка…

Один протянул руку, потрогал туго свернутый подмышкой у нее узелок. Другой спросил, кивнув плохо различимым лицом на ее винтовку:.

— Номер оружия?

Агриппина быстро отодвинулась, сквозь зубы ответила. Ей уже начинали не нравиться эти двое… Нащупала шейку винтовочного ложа. Тот,

кто спросил про номер, сказал угрожающе:

— Ступай за нами.

Только сейчас Агриппина сообразила: эти двое — должно быть — из отряда «Буря». Их эшелон двигался впереди шахтерского. Про них рассказывали дурное, будто по ночам они затаскивают к себе девчонок и будто несколько девчонок так пропало.

— По какой причине я должна итти за вами?

Опять тот же, — не разжимая зубов, многозначительно:

— Причину узнаешь…

Их было двое, она одна, — далеко от железнодорожного полотна зашла в пустую степь, ища озерцо… Давеча на закате оно краснело сквозь камыши где-то в этой стороне. Было поздно… Огни костров, где эшелонные жители варили ужин, давно погасли. В степи только потрескивали кузнечики. Агриппина шла стирать Ивановы рубашки. Днем ей, как бойцу, было стыдно возиться с мужицким бельем. Стирала ночью, когда никто не видит. Шла по тихой равнине, серой от света звезд, думала о себе, об Иване. Все-таки была же она девкой, и было ей девятнадцать лет, и теплая звездная ночь, звенящая кузнечиками, пахнущая полынью, казалась ей — после днев-

ной перестрелки с казаками, целого дня злобных криков и матерщины — казалась ей прекрасной: Агриппина шла и напевала… И вдруг — эти двое — бандиты…

Агриппина поняла, наконец, что им нужно от нее, — до того возмутилась, начала их ругать. Они стояли в десяти шагах. Один тихо сказал что-то другому. Агриппина не успела сорвать с плеча винтовку, — они кинулись на нее — головами вперед…

Хорошо, что на ней по ночному времени была только одна перепоясанная сорочка — ни штанов, ни тяжелых сапог. Как кошка, она увернулась, отскочила, пустилась бежать, летела, втягивая ноздрями степной ветер. За спиной, как будто отдалялся топот. Ждала — выстрелит… Вдруг сообразила — а ведь топочет за ней только один… А другой? И тогда различила совсем близко за спиной торопливое посапывание, легкое стремительное оттаптывание босыми ступнями…

Она вильнула в сторону, мельком взглянула через плечо: за ней, не отставая, бежал человек, совсем запрокинув голову, работая плечами. Бежал, не глядя на нее, будто по струе горячего запаха, — жилистый, настойчивый, бежал, как бывает во сне… Страх, какой бывает только во сне,

метнул ее вправо, влево… Человек легко повторил это — свернул вправо, влево… Чувствовала — сейчас потеряет голову… Прижимала тяжелую, мешающую бежать, винтовку… Дышала во весь раскрытый рот…

Вдруг сухой полынный ветер посырел, пахнуло болотом. Отражения звезд поплыли из-за черной стены камыша. Агриппина прыгнула в топкую тину, разрывая g голыми коленями осоку, разбрызгивая воду, вбежала по пояс, по грудь, по шею, подняв над головой винтовку, гребя правой рукой — поплыла.

Человек — все так же — за ней. Но в воде она далеко опередила его. Волоча за собой скользкие плети кувшинок, вылезла на обрывистый бережок. Человек — на середине озерца — перестал барахтаться, глядел на нее, — вода вокруг него успокоилась, снова отражая звезды. Над водой торчала его небольшая голова. Хриплым голосом проговорил:

— Не надо, не стреляй, я же с добром… Сволочь, не стреляй!

Зажмурясь, Агриппина выстрелила, понимая, что мимо… Не оборачиваясь — опять побежала… Теперь было совсем тихо, и ей стало досадно: бегать по степи от мужиков. До того досадно, что

споткнулась. Осторожно положила винтовку, стащила через голову рубашку, выжала, опять надела. И уже пошла степенно, как полагается бойцу.

«А узелок-то? Обронила! Вот тебе и выстирала! Мать родная, да как же теперь: Иван лег спать в вагоне, велела ему снять рубашку, — к утру, мол, высохнет… Батюшки, ему теперь голому ходить!»

Агриппина так расстроилась, — опять положила винтовку, села на землю, грызла стебелек. «Надо бы сразу, как остановили, в обоих и пугануть… Верст пять продрала со страху… Мать родная, — в отряде завтра все узнают, проходу не дадут!»

Агриппина сидела, пригорюнясь. Все тело ее гудело от беготни. Над пепельной степью из-за неразличимого горизонта всходила большая желтая звезда. До сегодняшней ночи Агриппина ничего такого не сделала, чтобы над ней смеялись. Несла службу наравне с другими, а в смысле дисциплины ее даже помянули, как пример, перед фронтом.

Две недели прошло с тех пор, как ворошиловские эшелоны прорвались через Лихую. Эшелоны медленно — версты три, пять, иногда

и десять верст в сутки — ползли на восток. Отряды, раскинутые фронтом вокруг эшелонов, вели непрерывные бои, отбивая наседающих казаков… Обычно казаки начинали тревожить красных на рассвете, когда у бойцов заводились сном глаза и когда было еще настолько темно, что казаку можно уйти на коне от пулеметного огня.

Эшелоны уже миновали Белую Калитву, — где задержались с неделю с починкой моста через Донец, — и приближались к станице Морозовской. Здесь не только в рассветный час, но и днем завязывались бои. У казаков появилась артиллерия, и всё большие массы их скоплялись в степных оврагах.

Агриппина несла двойную службу — и как боец, и как сиделка. Тогда ночью под Лихой она с товарищами вынесла из окопа огромное, тяжелое тело Ивана Горы. Никто не верил, что он жив. Очнулся он только в вагоне.

Иван был контужен и в нескольких местах ранен осколками снаряда. Агриппина выходила его, а еще вернее, что ему слишком хотелось жить и сил у него хватило бы на двух людей. Раны его теперь затягивались, от контузии осталась только судорога: сворачивался нос и дергалась щека. Эта судорога переворачивала у Агриппины сердце:

вышел он с этой печатью из смерти в ту ночь, когда горели мельницы. Тогда ей как будто и не было страшно: красноватая степь, неподвижное тело Ивана, впереди — немцы, бегущие с лезвиями. Но в воспоминании остался тоскливый ужас.

Подняв голову, Агриппина глядела на желтую звезду, — от нее стало яснее в степи. Агриппина по этой звезде соображала — в какой стороне железнодорожное полотно… Скоро, должно быть, начнет светать. Повернулась всем телом на восток, — край земли в той стороне ясно уже отделялся от ночного неба. «Немного рассветет — надо найти узелок… Не найдешь, — лучше в озеро головой…»

От сырой рубашки было хорошо—прохладно. Агриппина прилегла щекой на согнутый локоть и, не отрываясь, глядела на восток. Под кустиком полыни, как нанятый на свадьбу, потрескивал кузнечик: девки все песни отпели, все уж спать полегли, а он все пиликает… Агриппина одурело вскочила. Большое солнце глядело в ее разинутые глаза, приподнимаясь над краем степи, изрытой тенями. Вдалеке стучал пулемет. Агриппина подняла винтовку, подолом рубахи отерла от росы ствол и затвор… «Батюшки, да как же в рубашке-то вернусь?»

Она торопливо пошла к темнозеленым камышам. Обогнула озерцо. Отыскала свои следы, где вчера кинулась с берега. Пошла, вглядываясь: где-нибудь здесь должен валяться узелок.

Поезда стояли отсюда верстах в двух, растянувшись до горизонта. Были видны дымки костров: там начиналась дневная жизнь, — варили кулеш и картошку, отвязывали скотину от вагонов, гнали на водопой, развешивали пеленки на вагонных площадках…

Бойцы вылезали, крякали, подтягивали штаны. Чистили оружие. Кричали командиры, собирая отделения — на смену тем, кто провел ночь на фронте…

«Мать родная, Иван не евши, раздевши, — бормотала Агриппина. — Ну, совру чего-нибудь, только узелок найти…»

Отряды — по отделениям — кучками двигались в сторону озерца (где ночью барахталась Агриппина). В тон стороне — за бурой возвышенностью — слышались пулеметы. Казаки опять наседали.

Прищурясь, Агриппина узнала свой эшелон, — в хвосте три платформы, на средней блестит зеркало. У эшелона сбивалось много народа… Будто обручем стиснуло ее стриженую голову: «И на перекличку опоздала, теперь — дизентир, не

оправдаешься…»

Решительно кивнув, Агриппина пошла прямо к эшелону. Народ оттуда полз в степь, растягивался в цепочку. «Ой, мама, родная!» У Агриппины отлегло: народ, то есть весь их шахтерский отряд, и женщины, и дети становились цепочкой от эшелона до озерца, чтобы наливать воду в паровоз. Значит, можно успеть добежать до вагона, надеть штаны, сунуть Ивану чего-нибудь пожевать, попить — явиться к командиру и отрапортовать, что проспала… «И получу наряд — трое суток — и очень славно».

С бегу Агриппина споткнулась, — на земле валялся хороший пиджак… «Это он скинул, дьявол, когда гнался…» Вспомнила, как, закинув голову, бежал за ней человек, и холодком дернуло по спине… «Пригодится Ивану», — подумала, поднимая пиджак, и неподалеку увидела и свой узелок…

В вагон Агриппина влезла, не зная еще, как ее Иван начнет ругать. Решила сразу же отдать ему находку — бандитский пиджак, — там в карманах что-то бренчало. Иван лежал на жесткой койке, подняв колени, по пояс голый. Покуда Агриппина шла к нему по желтому опустевшему вагону, он приподнялся на локтях, — осунувшееся лицо его

будто залилось солнцем…

— Ну, что ж ты, голубка, — только и сказал, взял ее шершавую небольшую руку. Отвернулся — оттого, главное, чтобы не видела, как у него своротило нос, задергалась щека…

У Агриппины тоже засвербило в носу, но — упаси боже — зареветь… Сказала грубым голосом:

— Ну, чего, чего, — обронила в степи узелок с твоими рубашками, всю ночь — дура — и проискала, да вот чего нашла…

Положила бандитский пиджак на койку. С верхней полки достала две холодные картошки.

— Ты поешь, подремли, а мне — воду наливать в паровоз…

Из-под изголовья у Ивана вытащила свои штаны, живо оделась, побежала искать командира…

Цепочка людей растянулась версты на две. По ней — из рук в руки — ходили ведра, большие жестянки из-под солонины, глиняные горшки, всякие сосуды, — вплоть до граммофонного рупора, заткнутого снизу тряпочкой. Передние зачерпывали воду в озерце и пускали по рукам, задние подавали воду кочегару, и он лил в посапывающий паровоз.

Такие же цепочки потянулись и от других эшелонов. За бурой возвышенностью, как дятлы, с

передышками — стучали пулеметы. Когда изредка прокатывался удар орудия, люди только поднимали головы. Обыденная жизнь эшелонов шла чередом. На носилках стали подносить раненых. Одна женщина, увидев на носилках мужа, закричала, бедная, до того страшно — заплакали дети. Вдоль эшелона по пыльной дороге потянулись на восток телеги со шпалами и рельсами. Белые казачишки опять этой ночью впереди разобрали путь. Они развинчивали с одного конца рельсы, привязывали к ним стальной трос и на волах тянули, сгибали их, выворачивали вместе со шпалами. Бронепоезд «Черепаха», шедший в голове эшелона, держал путь под обстрелом, но далеко отходить опасался, боясь таким способом быть отрезанным.

Паровозы были налиты, цепочки разбрелись. Озерцо теперь было полно купающихся стриженых, коричневых ребятишек, — визг, плеск, хохот… Женщины стирали белье. Вдоль полотна начали дымить голубыми дымками костры из сухого навоза. Варили обед. Мужики лениво сидели на насыпи под вагонами, в холодке. Был полдень, зной, когда в тишине проносятся ошалелые большие мухи…

И вдруг, разрывая зной, начались тревожные

свистки паровозов. Они скликали весь народ по вагонам. Женщины у кипящих котелков замахали ложками:

— Погодите вы, дьяволы! Куда же — обед нам бросать… Машинист, подожди немного…

Голые ребятишки бежали с озера, махая рубашонками. Рысью сгоняли скотину со степи. Поезда дергались, трогались, ползли версты с две или больше. И снова, скрежеща, останавливались надолго.

Каждую версту пути приходилось брать с бою: то разобран путь, то в близлежащих оврагах засели казаки с пушкой. О богатствах, увозимых 5-й армией, летели по станицам преувеличенные слухи: сахару будто бы в эшелонах было сто тысяч пудов, соли целые вагоны, и несметно — всякой одежи, скобяного товара, золота в бочонках.

Такая добыча разжигала казачью зависть. Генералы Мамонтов и Фицхелауров говорили по станицам, что нельзя партизанить, разбивать силы, по-собачьи вгрызаться 5-й армии в зад, — нужно уничтожить ее всю в решительном бою, а добычи хватит на целый округ. Мамонтов стягивал силы к Дону — туда, где был взорван железнодорожный мост. Там 5-я армия — с отрезанным путем отступления — должна быть

запертой среди окружающих высот и уничтожена…

К вечеру, когда эшелоны опять остановились, Агриппина забежала в вагон к Ивану, принесла поесть. Он опять взял ее руку в свои большие руки, лежавшие на животе.

— Ну, рассказывай, — чего делается на белом свете?

— Соврала командиру — будто проспала, дал сутки наряду.

— Ай, ай, — врать. Боец должен мужественно сознаваться.

— Да ведь я для того, чтобы ребята не смеялись… Нет уж, кончим войну — в армии не останусь… Молода я чересчур для этого.

— Не то, что ты молода, а что чересчур красива, — сказал Иван серьезно. (Она досадливо мотнула стриженой головой.) Мы ведь тоже люди… Одно меня утешает, Гапа, — стал я тебя уважать. Конечно, я и тогда тебя любил… Теперь — особенно… (Не сильно сжал ее руку.) Бой, смерть, кровь — это паяет человека с человеком… Правда, говорю?

— Конечно, — рассеянно повторила за ним Агриппина, и опять ей вспомнилась ночь под Лихой… Вздохнула:

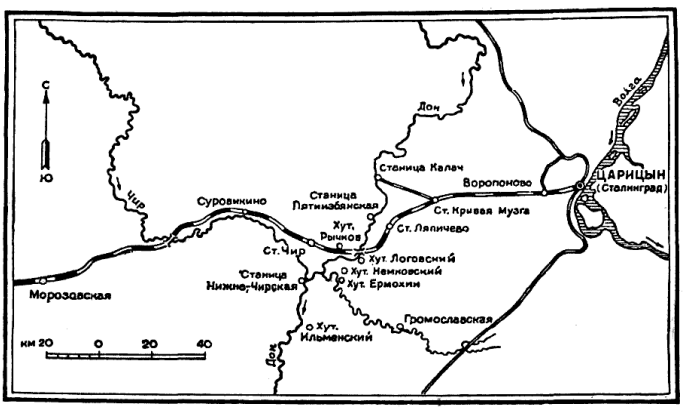
— Иван, мне надо в наряд…

Он тихо засмеялся, отпустил ее руку:

— Иди… Да, Гапа… Ты мне чей пинжак-то принесла? (Она заморгала, не ответила.) В карманах — смотри, чего было. (Из-под изголовья вытащил золотой портсигар, часы, клубок золотых цепочек.) Ты в самом деле нашла это?

— Что я — ограбила?

— И еще одну вещь обнаружил в кармане — поважнее… Ты пойди к командиру, скажи, чтобы он ко мне зашел — немедля…



2

В станице Морозовской стояло до пяти тысяч распряженных телег. Табуны коней бродили по выгону. Во всех хатах говор. У всех ворот — кучки мужиков и казаков, — покуривание, разговоры, хлопанье калиток. Ошалелая девка идет с коромыслом, косясь на незнакомых людей, — ее сейчас же обступают бородатые, усатые, рослые, и она уже бежит назад, смеясь и громыхая пустыми ведрами. Скрипят колодезные журавли. Рысью, на рыжем вислозадом меринке — на одной попоне без стремян — проезжает командир какого-нибудь отряда — грудастый, пышащий здоровьем и силой, в нагольном кожухе, накинутом на одно плечо, в подшитых валенках, но взглядом беспощадных светлых глаз и решительной речью — природный командир… Пыля ногами, сталкиваясь оружием, шагает кучка утомленных бойцов…

В станицу Морозовскую вошел трехтысячный отряд донских крестьян — иногородних. Собрал их Яхим Щаденко, когда отступал от Каменской, грунтом пробиваясь на восток через восставшие станицы. По пути вербовал бедноту и однолошадников, иногородних и казаков, и они уходили

к нему с конями и телегами, спасаясь от мамонтовской мобилизации. В Морозовской они должны были соединиться с армией Ворошилова и получить оружие. Сегодня на заре подошел бронепоезд «Черепаха» со штабными вагонами, и один за другим стали подтягиваться — впритык — шумные эшелоны и груженые составы…

В вагоне Ворошилова собрался военный совет. Сведения поступали самые неутешительные. В двадцатых числах мая Ворошилов послал Артема с товарищами в Царицын, чтобы связать в одну задачу царицынский фронт и свое отступление. Много раз обстрелянный в пути, трехвагонный состав Артема пробился к Дону и благополучно переехал мост. На другой день белые напали на станцию Чир, отбросили отряды царицынских рабочих на левый берег и взорвали мост через Дон. Что делалось в Царицыне — теперь было неизвестно, вернее всего — делалось плохое. Морозовцы рассказывали о сосредоточии крупных мамонтовских сил в станице Нижнечирской и в станицах — выше взорванного моста — Калаче и Пятиизбянской. Начальник станции утверждал, что царицынцы отошли от Дона и отдали хутор Логовский (у самого моста) и левобережные хутора — Ермохин, Немковский и Ильменский — и

даже будто бы отошли за станцию Кривая Музга, так что белые теперь под самым Царицыном.

У Ворошилова собрались командиры отрядов 5-й армии и наркомы несуществующей более Донецко-Криворожской республики. Настроены были мрачно. Говорили, что отряды вымотались в ежедневных боях, а самое трудное, оказывается, впереди: разбить сильнейшего, хорошо снаряженного немцами, противника и уткнуться во взорванный мост. Была бы помощь царицынских заводов… Но Царицын, вернее всего, уже — Митькой звали… Чинить железный мост голыми руками можно только дуракам… А хотя бы и начали чинить — нужно полгода на это, полгода кормить в голой степи ораву беженцев, полгода отбиваться от казаков. Предприятие неосуществимое…

У всех почти было одно предложение: эшелоны с имуществом и беженцев оставить в Морозовской. Отрядам, каждому на свой риск, пробиваться окружными путями на левый берег. Если Царицын еще цел — собираться в Царицыне, а в худшем случае — итти на Северный Кавказ, где красных сил много и можно воевать.

Говорили резко и категорично. Ворошилов молчал, опустив глаза, лицо его было в красных

пятнах. Рядом с ним, положив широкие руки на эфес шашки, сидел Яхим Щаденко — небольшой, коренастый, наголо обритый, похожий обветренным, крепким лицом на кречета.

Высказывались все, кроме позевывающего Пархоменко, кроме Коли Руднева, занятого каким-то неразборчивым письмом, и Лукаша, — этот провел десять дней в арьергардных боях, весь был оборванный, грязный, — подперев щеку, привалясь в угол — спал.

— Товарищи, — сказал Ворошилов, поднимая голову, — сейчас мы все пойдем на собрание с морозовцами… Там в основном будут подняты те же вопросы. Там я вам и отвечу… Но вот что сейчас не терпит промедления… (Руднев мальчишески улыбнулся, протянул ему письмо.) Покуда у нас нет единой базы снабжения — нет и дисциплины… Мы должны теперь же произвести учет всего имущества эшелонов. Здесь, в Морозовской, мы должны создать единую базу снабжения армии. Образована особая комиссия учета, в нее входят товарищи Руднев и Межин. Этим товарищам вы доверяете? («Доверяем, доверяем».) В штаб армии передано вот это письмо… — Он разгладил на столе запачканный листочек, исписанный чернильным карандашом. — Это письмо нашли

в пиджаке одного из анархистов из отряда «Буря». Впрочем, оно подписано…

Руднев, — близоруко наклонившись:

— Фамилии нет, Клим, подписано просто — «Рыжий»…

— Это дела не меняет… Письмо адресовано какой-то Жене, в Одессу…

Руднев опять:

— Позволь, я уже разобрал. — Ворошилов подвинул ему письмо, и Руднев, морща нос, начал читать:

«Женька, дорогая… Мы который месяц тащимся в своих блиндированных вагонах. Я уже не рад, что связался с анархистами, — половина — заядлые бандиты и все такое, — словом — сифилитики. Шестерых мы по дороге уже прикончили. Для тебя берегу скунсовую шубу, купил ее в Харькове, в буржуазной квартире. И еще тебя ждет что-то… Так по тебе скучаю — все бы кинул к чорту. Жалко, с собой много не возьмешь. У нас золота в монетах и плавленого — двенадцать бочонков, меховое барахло и сукно диагональ — восемьсот аршин, — купили в Елисаветграде у жидов. Вернусь в Одессу — мы с тобой погуляем, только, сука, не гуляй с другими, — я об этом подумаю, — вся кровь свертывается… Нашему отряду

надоела эта петрушка: вчера на конфедерации единогласно пришли: ликвидировать Ворошилова и весь штаб. Тогда армия сразу разбегится, наш блиндированный эшелон будет пробиваться, куда хочет».

— Вот все существенное из письма, — сказал Руднев и покосился на Климента Ефремовича. Ворошилов слушал, прикрыв глаза рукой, — по сжатому рту было видно, что едва сдерживается: что-то его в этом письме насмешило. Проведя по глазам, сказал:

— Товарищи, документ красноречивый… Я предлагаю комиссии начать работу сейчас же…

Несколько тысяч крестьян-иногородних, старых фронтовиков, казаков окружало станичный совет, где делегаты и восемнадцать командиров восемнадцати отрядов из восемнадцати волостей, откликнувшихся на призыв Яхима Щаденко, заседали вместе с командирами 5-й армии.

Окна были раскрыты, и толпа, поднимая пыль под знойным солнцем, размахивая винтовками, а то и косами, топорами, кольями, поддерживала выступление своих. Сразу же обнаружилось расхождение: морозовцы и слушать не хотели — итти с эшелонами в Царицын…

— Чего мы там не видали? — говорили некото-

рые командиры. — Здесь у нас своя земля, свое хозяйство… Не для того поднялись, чтобы оставлять станичникам наши хаты… Будем воевать за свое.

— Даешь оружие! — ревела толпа за окнами. Щаденко, сидевший, насупленный и мрачный, сбоку стола, стукнул шашкой о пол.

— Залупить в бога, в веру, в мать — это и я могу, хлопцы. Не в крике дело. Давайте говорить спокойно… Оружие будет дано, если наш отряд войдет в состав пятой армии…

Командир, в кожухе на одно плечо, бешено закричал ему:

— Кто она такая, пятая армия, чтоб нам приказывать?

В окна просовывались бородатые дядьки.

— Хлопцы, не ходте под красных генералов! Щаденко, стукая шашкой, наливаясь кровью:

— А такая она, пятая армия, что у них восемь тысяч штыков, а у нас — три, у них — пулеметы, а у нас — вилы да косы.

Более разумные отвечали ему:

— Мы тебе верим, Яхим… Да ты — хитер, а мы не проще тебя. Что ж, формируй из нас дивизию. Но так, чтоб при каждой части было два командира — один от Ворошилова, другой от нас…

В окна — дядьки:

— Станичники нам и сейчас предлагают мировую, — хотят с нами землю делить… Нам только оружие дайте!

Чем дальше разговаривали, тем злее упрямились морозовцы. Но вот к столу подошел человек с подвязанной рукой, — на маленьком, заросшем щетиной, лице его заметны были одни глаза: пристальные и неподвижные. Тихим голосом и плохо по-русски он заговорил, придерживаясь за край стола:

— Я сербский коммунист… Я работал на Украине и побежал. Я бежал два месяца, и я хочу говорить о плохих делах, которые я видел на Украине… Немцы сказали помещикам: вернитесь. И помещики вернулись. И взяли обратно всю землю и весь урожай… Но этого мало. Крестьян надо наказывать. Я видел эти плохие дела. На свеклосахарном заводе пришел помещик и пришел немецкий лейтенант. И там стояло много бочек. Лейтенант сказал, чтобы привели крестьян, которые должны быть наказаны. Их привязали к бочкам, и гайдамаки снимали с них штаны и секли их шомполами. Они наматывали на штык волосы и вырывали. Были ужасные крики и ревение. Один крестьянин взял у помещицы

Петровской зеркало. Оно не влезало в хату, он поставил его в коровник, корова увидела себя в зеркало и разбила рогами. Когда помещица Петровская вернулась, она велела этого мужика повесить около его хаты, и ему на шею привязали раму от разбитого зеркала. Другой крестьянин взял жеребца. Потом он привел его помещику и просил простить его, помещик велел привязать крестьянина к хвосту, сел в автомобиль и погнал жеребца в степь. Это я видел, как мужик бежал за жеребцом и потом упал… Я видел, как в селе хоронили убитого гайдамака. Помещик велел всем крестьянам и крестьянкам итти за гробом и громко плакать, и, чтобы они громко плакали, гайдамаки их били нагайками. Я могу много рассказать, что я видел, но я думаю, что и этого будет достаточно… Вот что принесли немцы на Украину. И они принесут это вам, если вы не захотите организоваться. Ленин говорит: «Наш способ борьбы — организация и организация…»

В помещении и за окнами в тишине — слушали слабый голос серба. Он улыбнулся, неожиданно открыв на заросшем черном лице зубы, как сахар, оторвал руку от стола и пошел на место.

Тогда встал Ворошилов. Осунув тугой кушак, повернулся к окнам, чтобы его могли хорошо

слышать:

— ...Немцы захватили на Украине военные склады царской армии. Теперь они посылают целые эшелоны винтовок, пушек и огнеприпасов в Новочеркасск атаману Краснову. А он снабжает этим оружием восставшее казачество. Красновские генералы еще год назад стреляли из этих пушек по немцам, теперь стреляют по вас, мужики, из тех же пушек... Они выполняют волю немцев — оккупантов... Мы вывезли из Харькова и Луганска все оружие, чтобы оно не обратилось против вас... Ребенок поймет, что если мы бросим наши эшелоны, их подберут казаки и из наших ружей и пушек будут расстреливать всю трудовую громаду и на Украине, и на Дону, и в Великороссии... Значит — наша первая задача: вывезти оружие и передать его революционному рабоче-крестьянскому правительству... Понятно? А это возможно, если мы пробьемся к Царицыну и соединим наши силы с царицынским гарнизоном... Здесь говорят—Царицын уже сдан... Скажем — мы поверили этой панике... Ну — что ж... переберемся на ту сторону Дона и будем пробиваться на Поворино и дальше — на Москву... (Заметив немедленное после этих слов движение — повысил голос.) Мы поступим в распоряжение

центрального командования революцией и этим докажем, что мы не какая-нибудь отдельная глупая федерация, что боится расстаться со своими хатами… Мы — часть нашей создаваемой единой Красной армии, дерущейся за землю и мир всех трудящихся. Теперь не то, что было в феврале или марте… Красногвардейские и партизанские отряды сводятся в полки, батальоны, роты, образуют дивизии и корпуса. В этом наша задача, и вы должны на это пойти сознательно… А у нас с вами идет спор. За что? Вы отстаиваете самостоятельное командование или уж — от крайности — согласны на двойное. Вы защищаете эсеровские принципы командования… Хотите кружиться около станицы Морозовской, около своей хаты. Одни — как вы есть — восемнадцать волостей — мечтаете расправиться со всей армией Вильгельма и красновскими генералами… Я революционер, я большевик… И я прямо ставлю перед вами: вас провоцируют, эсеры и кулаки нашептывают вам такое поведение, которое быстро приведет вас к гибели… Этого я как коммунист и командир армии — допустить не могу… И если вы не придете с нами ни к какому соглашению, я вам не только не дам оружия — я вас разоружу…

Он остановился. В тишине за окнами — голос:

— Вот это так отпорол…

— Еще должен дать ответ паникерам и капитулянтам. Да, отряды наши здорово помотаны. Да, впереди наиболее трудная задача: пробиться к Дону и починить мост… Скрывать нечего — положение трудное. Я вижу только один выход: от беспорядочного скопления отрядов перейти к твердой организации армии… От обороны перейти в наступление!

Как ливень, что посылает вначале отдельные крупные капли и низвергается вслед шумным потоком, так захлопала и одобрительно зашумела толпа…

Не успел следующий оратор откашляться и, уперев подбородок в воротник, начать давать ответ, — послышались со стороны вокзала частые выстрелы. Щаденко высунулся в окошко:

— А ну-ка, гляньте — що там таке?

По толпе побежал говор, и задние сообщили:

— Да там на вокзале хлопцы комиссию какую-то бьют.

Заседание было прервано. Ворошилов, Пархоменко, Щаденко, Лукаш, Бахвалов сели на коней, поскакали на вокзал. Еще издали был слышен гул толпы, отдельные выстрелы. Бежали какие-то люди. Другие лезли на крыши вагонов…

На путях перед перроном люди кишели, как муравьи, кричали в несколько сот глоток. Размахивающий руками, тесный жаркий круг их обступил кучку, где происходило самое главное: трое матросов с бронепоезда «Черепаха» и десяток анархистов из отряда «Буря» трепали и волокли, видимо, расстреливать—бледного, с красными глазами, со встрепанной ассирийской бородой наркома Межина и Колю Руднева, — у него наискосок лба выступила кровь из трех царапин когтями; гимнастерка широко — от ворота — разодрана, лицо искажено, — он отбивался и тоже бешено кричал.

В эту кучку врезались плечами Ворошилов, Пархоменко, Лукаш, Щаденко и те из командиров, что поспели за ними.

— В чем дело? — громко вскрикнул Ворошилов… И в груди матросов и анархистов уперлись стволы наганов.

— В чем дело? — заорал Лукаш, ища глазами в обступившей толпе кого-нибудь из своего отряда…

Все это произошло внезапно, резко, решительно. Матросы отпустили Руднева и Межина. Один из анархистов — маленький, жилистый, огненно-рыжий — кинулся в толпу, но там его взял, вместе

с длинными волосами, за воротник огромный Бокун — тряхнул и пхнул опять в круг…

Межин, глотая горькую слюну, говорил Ворошилову:

— Мы начали с «Черепахи», решили проверить сейф с ценностями армии… Сразу обнаружилось враждебное настроение среди части команды. Эти трое даже пригрозили нам револьверами, не позволяя открывать сейф… Дело в том: около «Черепахи» и в самом вагоне находились вот эти, эти, — он тыкал на анархистов. — Они явно агитировали… Настроение росло… Мы настаивали на вскрытии… Нас потащили из вагона, грозя расстрелом…

— Врешь, сука! — Один из трех матросов — розовато-рябой, с приплюснутым носом — раскинул локтями тех, кто держал его, зелеными — жгущими злобой — глазами уперся в Межина. — Где ты был, жаба, когда мы, флотцы, за революцию в крови умывались?

Другие двое, отсовывая дула наганов, поддержали его:

— Не грозите нам этими игрушками, нам известна революционная законность…

Опять — короткая возня. Торопливая матерщина. Бахвалов, дрожа тяжелыми щеками, кричит,

чтобы расступились, дали увести арестованных… Ворошилов, напряженный, внешне спокойный, протягивает руку к Бокуну, говорит быстро: «Беги в батальон — тревога, по ружьям, сюда…» Среди растущего галдежа в еще теснее обступившей толпе послышались надрывающиеся голоса:

— Романовские порядки завели!..

— Продали нас!..

— Кто он такой — приказывать?.. Давай сюда Ворошилова!

— Пусть ответит… Ворошилов, выходи… И — несколько глоток:

— Да здравствует анархия!..

Накаленность росла. Уже нельзя было разобрать отдельных голосов. Громче всех кричал рябой матрос… Казалось, вот-вот раздастся выстрел, — и закрутятся тела, ревущие рты… Из толпы проталкивался Чугай: клок волос — на лбу из-под шапочки с ленточками, широкое лицо, закрученные усики, круглые глаза — как фаянсовые — без выражения. Морской перевалкой подошел к рябому матросу и молча, со всего плеча, не то что ударил — кулаком тяжело ахнул ему в висок. Рябой повалился. Из толпы крикнули: «За дело!» Двое его товарищей сразу затихли, пятясь от Чугая. Лукаш вытянул жилистую шею.

— Товарищи, известно: в моем батальоне тысяча двести штыков и вся наша артиллерия… Стесняться со сволочью я не буду…

По путям уже бежали, бряцая затворами винтовок, бойцы Коммунистического и Луганского батальонов. Ребята все были каленые, не боящиеся ни чорта… Тогда из толпы кинулось с полсотни человек, — низко пригибаясь, — под вагоны… Бойцы Лукаша оцепляли пути и перрон. Толпа примирительно затихла. Ворошилов сказал:

— Товарищи, товарищи, давайте по эшелонам, спокойно… (И — Лукашу.) Отряд — особо с пулеметами — к анархистам… Оцепи и постарайся их расколоть…

Чугай — поворачивая фаянсовое лицо к Ворошилову, к Лукашу:

— Правильно, Климент Ефремович, я их расколю… Там первым делом старикашку надо взять. С бандитами справимся одним разговором…

И Чугай пошел, помахивая бойцам, зовя их поименно:

— Иван, Миколай, Солох, Иван Прохватилов!..

Не теряя времени, нужно было продолжать ревизию и опись повагонного имущества, чтобы в суматохе не растаскали ценное. Трех матросов и двух анархистов (остальные успели скрыться) —

арестовали. Перрон и пути опустели. Межин, приглаживая встрепанную бороду, оглядывался: где же второй член комиссии — Коля Руднев?..

Коля Руднев сидел под станционным колоколом, опустив лицо в ладони, — плечи его вздрагивали. Не то икая, не то всхлипывая, он говорил нагнувшемуся Ворошилову:

— Никогда не мог, понимаешь, не мог подумать… В нашей армии могут найтись такие бесстыдники… Такие хулиганы… Субъекты без всякой революционной совести… В нашей армии, — ты пойми…

Чугай один, вразвалку, подошел к блиндированному вагону, на котором было написано суриком: «Смерть мировой буржуазии». Подняв на уровень груди широкие ладони с растопыренными пальцами, влез по трем ступенькам на площадку.

— Убери пушку, — спокойно сказал он, локтем отстраняя наган у гимназиста, глядевшего на него в мрачном ужасе, и вошел в вагон, где стоял длинный стол. В другой стороне вагона сбились взволнованные событиями анархисты. Десятка два револьверов направилось на Чугая.

Шевеля растопыренными перед собой пальцами, он подошел к столу, ногой придвинул

табуретку, сел…

— Давай, давай — садись, — сказал он анархистам, — давай сюда вашего Кропоткина.

Фаянсовые, без выражения, глаза его завораживали. Анархисты насмотрелись на Чугая еще в Лихой. Явно, он что-то им приготовил. Несмотря на враждебность и настороженность — им стало даже интересно: какую он приготовил пулю? Ребята, ворча, начали присаживаться к столу. Каждый клал перед собой револьвер или гранату и при малейшем движении Чугая схватывался за оружие. Яков Злой, выпихнутый вперед, присел напротив него, задрав мутное пенсне на плоском носу. Свежий красный рот его раздвигался усмешкой: что, мол, этот матрос может сказать ему, Якову Злому?

— Кропоткин, Кропоткин, — сказал ему Чугай, — самая ты что ни на есть буржуазная стихия… Зачем ты полез в нашу кашу? Зачем тебе надо наших ребят обманывать? (Яков Злой еще круче задрал пенсне. Чугай не дал ему слова.) Посмотри — какие здесь ребята. С такими ребятами мировую революцию можно делать. А ты их клонишь в бандитизм…

Чугай сейчас же ударил по столу ладонью, потому что при этих словах поднялось угрожающее

ворчание.

— Тихо, я говорю! Я редко говорю, ребята, вы меня знаете… Значит, вызвано это необходимостью… Скрывать нечего, — среди вас есть бандитский элемент. Двоих ваших мы сегодня кончим. И вот этого… (Он указал ладонью на маленького жилистого Рыжего.) Этого вы мне сейчас выдадите, мы его тоже шлепнем…

Рыжий вскочил, — грозясь, полез было из-за стола, его силой усадили. Доски стола трещали. Несколько револьверов плясало перед Чугаем. Но он продолжал сидеть, даже не поднимая глаз, как китайский святой. Он знал, как обращаться с этой публикой. Любопытство слушателей опять пересилило. Сравнительно успокоились. Тогда Чугай вытащил из кармана письмецо Рыжего. (Идя сюда — он взял его из папки дел, у Пархоменко.) Отнеся листочек далеко от глаз, — слово за словом — прочел… Впечатление получилось то самое, как он ждал, — публика сразу раскололась: анархисты закричали, что это оскорбление, предательство, донос… Бандиты вступились за Рыжего, но их было меньше. Рыжий опять полез из-за стола… Чугай дал им несколько откричаться.

— Я не кончил, братишечки, — ставлю вопрос: как должен поступать командующий армией,

ознакомившись с таким документом? По военному времени должен загнать всех вас в вагон и вчистую кончить артиллерийским огнем. Понятно я говорю? Но, принимая во внимание, что среди вас находится революционная прослойка, командующий пожалел губить такой материал. Вам предоставлено право самим разобраться по всей революционной совести. Разберетесь и бандитов выдадите нам. Это единственное ваше спасение. А чтобы вам легче разбираться, я беру с собой вашего Кропоткина. Старичка мы не тронем, его отпустим в степь. Заседание, ребята, закрываю и никаких прений не даю… А даю вам на всё — пятнадцать минут — по закону военного времени.

Чугай встал, повернулся к собранию спиной, пошел к двери. Когда к нему с ревом кинулись, — медленно обернулся:

— Оставьте ваши руки, — сказал, — не берите меня… Вагон окружен, вагон под прицелом Коммунистической бригады…

Тут только оплошавший отряд «Буря» увидел, что за время разговора действительно весь их эшелон был окружен пулеметами. Оставалось принять условие либо умереть…

— Идем, идем, старичок, — сказал Чугай, под-

талкивая Якова Злого к двери. — Тебя не тронем, нам тебя только изолировать… А там — читай себе Кропоткина на здоровье…

3

Армия задержалась в Морозовской, формируясь, учитывая и приводя в порядок запасы. Из Морозовского отряда была образована дивизия. Командирами частей назначены морозовцы же. На военном совете армии, пополнившейся и принявшей более четкие формы, был принят план наступления: все пехотные части и артиллерия Кулика идут грунтом справа от полотна, в обход станицы Нижнечирской. Конные части Морозовской дивизии двигаются слева от полотна, прикрывая железнодорожный путь с севера. Эшелоны во главе с «Черепахой» продвигаются до станции Чир.

Для прикрытия тыла пехотные полки Морозовской дивизии остаются в станице, — на этом настояли морозовцы, сколько им ни доказывали, что нельзя дробить сил. Пришлось согласиться. Армия выступила. Было начало июня.

В первые дни армия двигалась неподалеку вдоль полотна. Обед варили в поездах: паровоз свистел, из вагона махали шапкой на шесте — от-

ряды останавливались и шли обедать.

Эшелон шахтерского отряда находился в хвосте — кое-где перегонял пеших, кое-где отставал. Однажды в обеденный час, когда бойцы разместились по вагонам и кашевары и женщины разносили котлы и манерки, поезд остановился на полустанке. В задний вагон влезли Лукаш и Коля Руднев. Оба — уставшие, серые от пыли, голодные и веселые. Они объезжали фронт в бричке, загнали лошадь, бросили ее на хуторе и догнали эшелон пешком.

Они сели на агриппинину койку — напротив Ивана Горы. Спросили про здоровье. Он ответил, что через недельку вернется в строй.

— Через недельку начнем громить Мамонтова, шерсть с него полетит, — сказал Лукаш, сплевывая под ноги. Коля Руднев, как всегда, подумав, сказал честно, без преувеличения:

— Во всяком случае к Дону мы пробьемся.

Агриппина, румяная от удовольствия, что такие, всему свету известные, товарищи так ласково говорят с Иваном Горой, принесла жестяную манерку с дымящейся картошкой, из кармана вытащила свой девичий головной ситцевый платок, зубами развязала на конце его узел и, поджав губы, предложила гостям щепотку соли… Стали

лупить картошку, макать в соль, есть…

— А я тебя помню, — сказал Лукаш, — как ты винтовку у меня просила… Я тогда прямо до чорта удивился: бой, понимаете ли, горячка… Идет эта красавица: винтовку дай!.. Все равно, как на покосе ей грабли нужны.

Он широко открыл рот, показывая крепкие, как у собаки, зубы и в горячей гортани красный маленький язычок, потом уже отчаянно залился хохотом.

— Ничего, она справляется — наравне, — проговорил Иван Гора, с некоторым беспокойством замечая, что Лукаш уже несколько раз, — правда, мельком, но очень пристально, — взглядывал на Агриппину. — Конечно, трудно ей бывает через то, что она дитя еще. — И повторил, нахмурясь: — Она еще дитя. (Сосредоточенно стал свертывать папиросу.) Приглядываюсь вот к ней, к нашим ребятам: большая школа — революция. Знаешь — в деревне привесят на веревке в амбаре большое сито и кидают в него пшеницу или рожь. И вот этак вот мужик сито вертит и встряхивает: ядреное зерно сеется, мусор весь наверху, — он его долой… Так и в нашем отряде отсеиваются люди, и в каждом — отсеивается ядро, а мусор — долой…

Коля Руднев, — тоже свертывая:

— Владимир Ильич это лучше тебя говорит.

— А что говорит Владимир Ильич?

— А он говорит очень замечательно… Пролетариат, живя бок о бок с буржуазным классом, заражается его пороками, несомненно…

— Ну, это пустяки, — сказал Лукаш, — пролетариат ничем, брат, не заразишь…

— Постой ты, — Иван Гора махнул на него пальцем. — Это верно… Разве я не видел: у нас на Путиловском в воскресенье некоторые ребята чуть свет, как лебеди, плывут в кабак за водкой… Это не буржуазная зараза?

Коля Руднев продолжал:

— Меньшевики извращают Маркса, что будто бы можно тихохонько, легохонько, без революции дорасти до социализма. Владимир Ильич говорит: только в процессе революции — только! — пролетариат может избавиться от старых пороков, вырасти морально и стать способным создать новое общество.

— Это да, это так, — сказал Лукаш.

Иван Гора, подумав, ответил:

— Правильно… Он полнее это говорит, — правильно. Так они сидели и рассуждали. В вагон, застревая винтовкой в узких дверях, вскочил

Володька-шахтер, — штаны и рубаха на нем были одни дыры, некуда класть заплат…

— Казаки! — крикнул он испуганно-радостно. — Сотни три идут лавой.

Лукаша подкинуло, как пружиной:

— Стой! Чего обрадовался! Чтоб все оставались на местах!.. Коля, в хвосте на площадке — пулеметы, я — сейчас…

И он впереди Володьки побежал по вагонам, приказывая бойцам: «По ружьям! Из вагонов не выходить! В окна не высовываться! Без команды не стрелять! Пусть казаки, не видя около него людей, подумают, что это штабной поезд либо санитарный, и подойдут поближе, без опаски…»

Через минуту Лукаш пробежал обратно, выскочил на заднюю площадку. Там Коля Руднев, Иван Гора (как был в подштанниках) и Агриппина прилаживали пулемет. Другой пулемет лежал здесь же. Лукаш — Агриппине:

— Бери ленты, лезь под колеса.

Со вторым пулеметом он спрыгнул с площадки и установил его между задними колесами. Сел, согнувшись, под вагоном. Агриппина лежала на животе рядом с ним. Лукаш — шопотом:

— Ну, если сволочи ослушаются моего приказа: не открывать огня, подпустить на двести

шагов…

— Наши давно этого случая ждут, — сказала Агриппина тоже шопотом. — Подпустят.

— Видишь, Агриппина? Вон они! Орлы!

Направо от полотна местность была волнистая. Когда несколько времени тому назад Володька (в сторожевом охранении) заметил казаков, — они тогда спускались с полынного косогора. Сейчас всей лавой, торопя коней и размахивая поблескивающими шашками, три или четыре сотни их выносились из лощины к поезду. Уже слышен был тяжелый топот коней…

— Коля, Коля, выдержи их, миленький, выдержи, — скулил Лукаш из-под вагона…

Ясно были видны напряженные, багровые, бородатые лица… Черные хорошие мундиры, лампасы, заломленные бескозырки… Разинутые рты. Раздутые ноздри коней…

— Ура, — доносилось, — ур-ра!

— Давай! — дико крикнул Лукаш. И оба пулемета — с площадки и из-под вагона — торопливо застучали. Сейчас же кони с полного скока начали валиться, спотыкаться, взвивались на дыбы, опрокидывались…

Разгон всей лавы был так велик, что задние не успели ни свернуть, ни задержаться, — врезались

в кучу конских, человеческих тел и, сбиваемые, валились, и все же отдельные всадники продолжали нестись к вагонам. Шахтеры соскакивали с площадок, бежали навстречу, уставя штыки. Несколько казаков, спасаясь, пригнувшись к гривам, вскочили на насыпь, но и там их достал пулемет… Шахтеры сшибались со спешенными казаками, горячась, схватывались голыми руками. Впереди плечистые Володька и Федька, ухватя винтовки за дуло, шли буреломом, сшибая людей…

Все началось и кончилось в несколько минут. Кричали раненые. Хрипели умирающие. Бились лошади. Лукаш вылез из-под вагона. Вытирая тылом ладони обожженные, налившиеся кровью глаза, — позвал:

— Коля… Жив?

— Ничего, оба целы, — у Руднева дрожали и губы и черная от копоти рука, поправлявшая упавшие мокрые волосы. Иван Гора, отдуваясь, тяжело сел на ступеньку.

— Что ж, теперь ребята оденутся, обуются по крайней мере… А то идут — мотают портянками… Гапа, — позвал он, — Агриппина…

Не сразу и негромко из-под вагона ответили:

— Да сейчас я… Ленты же надо собрать…

4

От хутора Рычкова до моста — три версты. Железнодорожный путь перед самым Доном загибается и идет по высокой дамбе, где справа и слева — глубоко внизу — лежат озера, затененные лозой, орешником, корявыми осокорями. На закате по дамбе медленно двигался паровоз без вагонов. Несколько человек с его площадки глядели на север — туда, где вдоль Дона тянулась крутая возвышенность — «Рачкова гора».

Там снова метнулась длинная вспышка, лизнувшая закатные облака, — через много секунд в одно из тускло красноватых озер упал снаряд, разорвался, высоко подняв воду.

Машинист, скаля зубы, сказал:

— Раков, чай, наколотило — миллион.

Паровоз продолжал медленно заворачивать по дамбе. Направо — на юг — на холме по-над Доном находился большой кожевенный завод. Там с нынешнего дня шла горячая работа, — разбирали постройки, доски и бревна сносили на берег, вязали плоты. На эту работу были брошены все свободные руки.

Шестьдесят эшелонов стояли уже между станцией Чир и хутором Рычковым. План перехода

от Морозовской до Дона осуществился скорее, чем ожидали. Казаки, боясь конницы Щаденко, двигавшейся слева от полотна, и пехотных отрядов, двигавшихся справа, не решались подходить близко к эшелонам. Был только один кровавый налет на станцию Суровикино, где стоял в тот день санитарный поезд с больными и ранеными. За разгром его, за убийство нескольких сот человек казаки тут же были разгромлены подоспевшим бронепоездом. Это отбило у них охоту приближаться к полотну.

Перед Доном 5-я армия, оберегая эшелоны, расположилась выгнутой крутой дугой — с радиусом до пятнадцати верст: на западе центр ее занимал окопы на Лисинских высотах,[4] левый фланг тянулся по речке Чир и по волнистой равнине перед станицей Нижнечирской, правый упирался у самого Дона в подножье Рачковой горы.

Окружение Нижнечирской не удалось. В горячих боях казаки потеснили фланг 5-й, покуда она не заняла эти позиции. Начались ежедневные затяжные бои. Противник накоплял силы, стреляя

[4] Примечания: 4

Там и сейчас мне показывали «окоп Ворошилова». Местные жители его берегут, не запахивают, говорят, что нужно на этом месте поставить памятник красным бойцам, погибшим при великом ворошиловском походе. (Прим. автора.)

«скучными» снарядами, понимая, что эшелоны здесь засели прочно перед взорванным мостом.

Паровоз теперь едва двигался. Показался Дон — еще в разливе, полноводный, озаренный закатом. Впереди виднелись пролеты железнодорожного моста. Паровоз остановился. С него соскочили Ворошилов, Бахвалов и Пархоменко с подвязанной рукой (раненный при атаке вокзала в Суровикине). Они прошли по полотну еще шагов с полсотни. Тянуло сыростью. Отчаянно звенели комары. Здесь полотно круто обрывалось, и торчали загнутые концы рельсов.

Ворошилов присел на корточки. Внизу, на страшной глубине, увеличенной сумерками, на едва обнажившейся песчаной отмели лежали остатки взорванной фермы.

— Высота здесь от уровня воды — пятьдесят четыре метра, — сказал Бахвалов. — Наше счастье, что взорван первый пролет, если бы они взорвали мост посредине, над рекой, тогда уж ничего не поделаешь…

— Сволочи, а!.. — проворчал Ворошилов. — Придется нам тут попотеть.

— Кроме дерева, материалов у нас нет. Придется во весь пролет ставить ряд деревянных быков… Пятьдесят четыре метра для деревянных

сооружений — высота почти что невозможная.

— Ну, вот тебе — невозможная!.. Инженер!

— Так ведь материал, скажем — деревянный брус, имеет свой предел сопротивления…

— Материал точно так же подчиняется революции… Тут ты меня не разубедишь…

Бахвалов весело, несмотря на обычную мрачность, рассмеялся. Ворошилов глядел на дальний берег, где в быстро сгущавшихся сумерках еще виднелись очертания тополей и соломенных крыш. Ближе к реке краснели огоньки костров. Пархоменко сказал:

— Это хутор Логовский. Там — наши. Хутора ниже по реке — Ермохин, Немковский, Ильменский — захвачены мамонтовцами. А Логовский держится упорно.

— Там царицынские рабочие? — спросил Ворошилов.

— Нет, какой-то партизанский отряд. Давеча их командир выходил на мост, кричал, да было ветрено, я только разобрал, что велел тебе кланяться и просил патронов и махорки.

— Значит — ребята боевые. Можно отсюда пробраться на мост?

Бахвалов повел всех к откосу. Цепляясь за сухие корни, спустились на речной песок. Здесь их

облепили тучи комаров. Громко всплескивалась рыба где-то за тальниками. Отмахиваясь, пошли мимо полуразрушенной, до половины ушедшей в песок, фермы. Часть ее еще была залита разливом. По пояс в воде добрались до каменного быка, с которого начинались уцелевшие пролеты моста. По железным скобам начали взбираться на бык, на высоту пятидесяти четырех метров.

Труднее всего пришлось Пархоменко с подбитой рукой. Влезли. Сквозь щели мостового настила страшно было глядеть — на какой глубине под ними течет Дон.

— Сколько ты думаешь провозиться? — спросил Ворошилов.

— Если бы ты меня спросил до революции, то — честно говоря — полгода, — ответил Бахвалов. — Эти мерки, конечно, неприемлемы. Недели в четыре построим, пожалуй.

— Не хвастаешь?

— Нет.

— А по-большевистски — в две недельки?

— Брось, это уже несерьезно.

— Что тебе нужно?

— Прежде всего мне нужно три тысячи телег — возить камень, кирпич. Думаю—все кирпичные постройки в окружности махнем. Ничего?

— Сейчас трех тысяч телег у меня нет.

— Нужно достать!

— Не горячись, достанем, — сказал Ворошилов. И они пошли по мосту к тому берегу, разговаривая о том, как легче будет организовать работы. Главной надеждой на успех им представлялось то, что строить мост будет не прежняя — по ведомостям — «рабочая сила», но боевой пролетариат, понимающий, что эта работа означает спасение эшелонного имущества, спасение тысячей жизней, спасение Царицына, спасение в эти страшные месяцы пролетарской революции.

Едва перешли мост, из канавы — где-то в трех шагах — угрожающе окликнули: «Стой! Кто идет?» В сумерках выросла саженная фигура с головой, обмотанной платком от комаров. Услышав, кто идет, высокий человек подошел, держа винтовку наизготове. Увидел звезды на фуражках.

— Здорово, — сказал, ребром кидая руку сперва Ворошилову, потом другим, — хорошо — я вас раньше заметил, а то бы я стрелял.

— А ну — веди в штаб, — сказал Ворошилов.

— А вон штаб, — человек указал на костер неподалеку. — Не попадите в канаву, там у нас колья натыканы, переходите по дощечке, и будет тебе

гумно Филиппа Григорьевича Рябухина.

Штаб красного казачьего отряда, второй месяц отбивавшегося на хуторе от мамонтовцев (несмотря на все их хитрости), помещался прямо на гумне. Сейчас там варили кашу в калмыцком таганце. Человек тридцать сидело под дымом, отдыхая от комара. Огонь озарял лица — в большинстве безбородые, безусые, — несколько парусиновых палаток, скирды прошлогоднего хлеба, бревенчатый угол амбарушки под соломенной крышей.

Когда Ворошилов, Пархоменко и Бахвалов перелезли канаву, сидящие обернулись к ним. Ворошилов весело крикнул:

— Здорово, товарищи!

— Здорово, в добрый час, — ответило несколько спокойных голосов.

— Кто у вас здесь начальник?

Человек, пробовавший из таганца кашу, положил ложку с длинным черенком, проводя пальцами по усам, подошел, — был он небольшого роста, коренастый, — борода росла у него почти от самых глаз широким веником. (Ватный пиджак, накинутый на плечи, маленький плохонький картузик.)

— Я начальник.

— Здорово, командир.

— Здорово, товарищ командующий.

— А ты меня знаешь?

— А кто же тебя не знает, Климент Ефремович.

— А я тебя не знаю.

— А я Парамон Самсонович Кудров, нижнечирской казак, по-белому ругают Парамошкой-сапожником.

— И другие у тебя казаки?

— И другие — казаки. Есть и иногородние. Не все казаки пошли за Мамонтовым, Климент Ефремович. Нас — таких чудаков — много.

— Что же вы тут делаете?

— Несем революционную службу за свой собственный счет. Пойдем к огоньку, поешь с нами казацкой каши.

Подошли к костру. Кудров сказал двум ребятам, сидевшим на бревне, чтобы посторонились, — дали место командующему под дымом. Гости уселись, протянув мокрые ноги к угольям. Ворошилов, оглядывая молодые, налитые здоровьем, красивые казачьи лица, спросил:

— Ну, как живете?

Кудров бойко ответил:

— Ничего, Климент Ефремович, живем по-божьи — кто кого обманет…

Все засмеялись — не слишком громко, чтобы не обидеть пришедших. Кудров присел у огня, подняв одно колено. Дочерна обгорелое лицо его — с широкой бородой, с длинным носом и умными, маленькими, хитрыми глазами — так и горело желанием поговорить…

— Хорошо, что ты к нам пришел, Климент Ефремович. Мы с утра все ждем: приедет или нет? На неделе бегал я в Царицын — просить огнеприпасов. Выходит ко мне начальник штаба — Носович. Как он загремит на меня: «Не верю, — говорит, — вам, — какие вы к чорту красные казаки! Все вы одним дерьмом мазаны». Я ему объясняю: хутор Логовский держит весь фронт. Пятиизбянские и калачевские казаки давно бы стакнулись с нижнечирскими, не держи мы этот хутор… И — не слушает. Огнеприпасов я, словом, не добился. Казаки, Климент Ефремович, народ злопамятный. Видишь — у меня нос маленько на сторону — в шестнадцатом году ко мне окружной атаман приложился… Это я помню. Нет, казаки не одним дерьмом мазаны… Нам, казацкой голи, тоже на Дону тесно… Вчера мои ребята встретили в поле одного казачишку, съехались, он и говорит: «Идите лучше к нам, у нас командир — есаул, а у вас — Парамошка-сапожник». А у них есаул

— Пашка Полухин, он два раза ночью привозил смолу и жег мост, где деревянный настил, и в третий раз он же мост и взорвал… Это вы Пашку благодарите… Когда, значит, полковник Макаров занял Калач, Пашка налетел на Ермохин хутор и взял там тридцать шесть казаков, — почему они в мобилизацию не пошли. Бросил их в телегу, повез в Ильменский и там их расстрелял за хутором в балочке. Так они и лежали, бедняги, обнявшись… А это вот их братья сидят, родственники… Мы зло помним… Аникея Борисовича знал?

— Слышал про такого, — ответил Ворошилов, внимательно присматриваясь к сидящим бойцам…

— Аникея Борисовича били в Пятиизбянской на базаре старые станишники — монархисты. Выручил его Яхим и отправил в больницу в Царицын. Он в больнице поправился как следует. Казак — сильный…

— Ты расскажи, как он сено на хуторе купил, — удерживая смех, сказал один из бойцов.

— Помолчи… Возвращается Аникей Борисович в Калач, у него там жена и сын Ванька — пацан лет пятнадцати — здоровый, в отца. А время пахать. Уехали они с сыном на ночь в поле. В эту ночь как раз налетел на Калач Макаров и

— давай, и давай… Красной казачьей гвардии — сонных — порубили на дворах, по огородам — до тысячи человек. И первым делом они, конечно, к Аникею Борисовичу — в хату. А его с сыном нет. Они выволокли старуху, — где твой хозяин? Где твой щенок?.. Она говорит им…

Опять тот же голос:

— Нет, старуха ничего им не сказала…

— Помолчи… Они ее замучили, живот ей распороли… Лошадь увели, телку зарезали… Аникей Борисович с этой ночи пошел партизанить. А Ваньке он велел спрятаться на хуторе — потому что надо пахать… У Ваньки был другой конь, на котором они в ночное тогда поехали. Вот Ванька потихоньку пашет, и едут из Калача три казака. На Дону у нас все известно, у нас своя почта. Ванька видит: те самые казаки, кто его мать убивали. Бросил плуг, подходит к ним, спрашивает прикурить…

— Он не прикурить спросил…

— Помолчи… Значит — как руку-то на лошадь положил, да сразу и сдернул казака на землю, выхватил у него шашку… А те двое, покуда спохватились, — он и их обоих тоже порубал. Да — знаешь — такой здоровый, — одного пополам рассек, всех троих поклал на дороге, лошадь

распряг и ушел к отцу. У отца уж отряд был с полсотни.

— Меньше…

— Помолчи… Так они и шныряют по белым тылам. Сколько раз я звал Аникея Борисовича на хутор Логовский. Говорит: «Скучно мне в осаде…» А до чего здоров — я тебе расскажу… Прибегают они с отрядом на один хутор, — а знают, что хутор белый. Сена им не дают. Входят они на двор к казаку: продай сена… Тот глаза отводит… Аникей Борисович: лезь, говорит, ко мне в карман, сколько выхватишь керенок — твое счастье, а я — сколько заберу сена в охапку. Казак — жадный: согласился. Пошли в сарай. Аникей Борисович ноги-то раздвинул…

Слушателей разбирал смех — давились. Кудров повел на них бородой…

— …Нагнулся он и давай захватывать сено в охапку, все хочется ему больше. Ухватил с полвоза и глядит — что-то здорово тяжело. Но понес… А его бойцы говорят: «Аникей Борисович, у тебя из сена чьи-то ноги трепыхаются…»

(Тут все слушатели враз грохнули хохотом, хотя слышали сто раз этот рассказ. Громче всех смеялся Климент Ефремович.)

— Ну, да… Он, значит, бросил эту охапку, оттуда

— стонет — вылезает дизентир… Кто такой? А это был хохол из Нижнечирской, мобилизованный, — Степан Гора… Тихий такой мужик. Вон он в сторонке сидит. Он у нас теперь кашеваром…

Парамон Самсонович попросил у Ворошилова папироску и порассказал еще многое, подробно и занимательно, про упорные бои за хутор Логовский. Степан Гора, тем временем подошел к костру, снял Q огня таганец, слил жижу в миски, не спеша, — как все делал — нарезал хлеб и стал в таганце разминать сало с кашей. Гостей попросили ужинать. Все начали садиться в кружки. Ворошилов отозвал Кудрова.

— Нужно товарища Пархоменко ночью переправить в Царицын, но чтобы дошел целым, дело важное.

— Можно. Пошлю с ним ребят, они все балочки знают, так дернут мимо белых — к утру твой товарищ будет в Царицыне.

— Спасибо вашему отряду за революционную верность, — сказал Ворошилов. — Пришлю вам огнеприпасов и табаку. Скоро мы вас сменим. Тебя и твоих ребят я назначу отрядом связи при штабе армии…

— Так, — сказал Кудров, с минуту раздумывая, как это назначение понять и принять. — Это

— правильно: вы здешних мест не знаете. А наши ребята в степи, как кошки, ночью видят…

5

Восточный знойный ветер с сухим шелестом мял прибрежные кусты. Бокун с двумя ведрами спустился к речке Чир и увидел голых ребят: один, совсем маленький, сидел на корточках по щиколотку в воде, заливаясь — смеялся. Другой, постарше, светловолосый, смешил его, выныривая из воды и брызгаясь. На берегу валялась их одежонка и жестянка с патронами. Через речку Чир довольно часто просвистывали пули.

— Вы зачем тут, пацаны! — закричал на них Бокун страшным чугунным голосом.

Маленький остался на корточках, только повернул, как испуганный совенок, голову. Старший вылез из воды, взялся за рубашонку:

— Дяденька, мы угорели, жарко, мы сейчас…

— Чего вы тут не видали, сраженье идет — они балуются…

— Дяденька, мы патроны в цепь носим… Мы уж который день носим…

Маленький, наконец, заплакал, положив на живот чумазые руки. Бокун покосился на него, стал зачерпывать ведра. Старший — шопотом

младшему:

— Поплачь, поплачь, постылый…

— Вот я вас обоих возьму в охапку, — сказал Бокун, зачерпнув ведра, — и отнесу, куда надо… Идите домой…

— Куда же? — ответил старший. — Мы в степи живем, кормимся при отряде.

— Вы чьи?

— Мы Карасихины…

— Вот — к мамке и бегите…

Маленький сейчас же перестал плакать, круглыми глазами с упреком посмотрел на Бокуна. У старшего задрожали губы…

— Дяденька, — он сказал, — не ругай нас…

— Я вас не ругаю, пацаны, а в степи опасно — какая стрельба-то!

— Мы ползком носим.

— Все равно — ползком… При стрельбе надо прятаться…

— Ладно, дяденька, мы будем прятаться…

— Сидите здесь в речке, покуда бой не кончится, а то я вас.

— Ладно, дяденька…

Бокун ушел с ведрами. Вечером стрельба утихла. Бойцы ужинали всухомятку. Собирались под прикрытием кургана — покуривали. Бокун

рассказал товарищам, каких сегодня видел двух маленьких пацанов на речке. Была здесь Агриппина, — она вся сморщилась, слушая.

— Бокун, я ж их знаю, это марьины дети. Зачем они в степи живут? А где же Марья?

— Про Марью они ничего не сказали.

Агриппина ушла и проискала детей всю ночь, обшарила все кусты на речном берегу. Наутро опять началась обыденная стрельба: вдали показывались небольшие группы конников, — их отгоняли. Агриппина, как и другие бойцы, сидя — согнувшись — в мелком окопе, гнала пулю за пулей по этим всадникам. Когда в степи становилось чисто, вздохнув, осматривала винтовочный затвор, запас патронов, усаживалась удобнее, начинала дремать, полузакрыв глаза. Сквозь дремоту вспоминала — где же ей искать Алешку и Мишку?

— Дяденька, — услышала она сквозь дремоту (это было уже в конце дня), — дяденька, патронов принесли…

Обернулась — они! У Алешки все лицо обтянутое, даже выступили десны и зубы. У Мишки лицо лучше — круглое, но все расцарапанное. Агриппина молча сволокла обоих в окоп.

Мишка сунулся ей в колени, как матери. Алеш-

ка морщинисто улыбался. Агриппина покосилась — не смеются ли товарищи. Но справа и слева бойцы дремали равнодушно.

— Где Марья?

— Маму убили, — ответил Алешка.

Агриппина сейчас же положила винтовку на бруствер, ловчее устроила Мишку на коленях.

— Кто убил?

— Тогда — помнишь — ты ушла. Степана взяли, ух, как его били! Они узнали, как я тогда верхом гонял на станцию. За мной пришел Гремячев с двумя казаками, пьяные. А мама меня спрятала в соломе. Они маму стали ругать, Мишка все слышал, он под кроватью сидел. Ты знаешь маму-то, — она рассердится — такая смелая… Она им тоже — отвечать… Они ее потащили на двор. Я тут все слышал… «Давай, — они говорят, — свово щенка». Они кричат, мама кричит… Мама как плюнет Гремячеву в рожу! «Получай, — говорит, — царская сволочь…» Он схватил кол…

У Алешки задергались губы, отвернулся. Опять вдали между холмами показались всадники. Агриппина взяла винтовку:

— Ложитесь, лежите смирно, ничего не бойтесь…

И пошла гнать пулю за пулей, старательно

выцеливая…

6

Пловучий мост (из материалов разобранного кожевенного завода) был наведен. На рассвете стрелковые части Коммунистического отряда выбили казачьи заставы из тальниковых кустов левого берега, конница Щаденко перешла Дон и бросилась на хутора. Разведкой руководил Парамон Самсонович, указывая, с какой стороны лучше зайти и откуда ловчее ударить. Красная конница беспощадно проносилась по улицам, рубя метавшихся казаков. Быстро был занят Немковский хутор, Ермохин и Ильменский. Оттуда Щаденко повернул на восток, на большую станицу Громославскую.

Без потерь он вошел туда, арестовал сельского писаря и старосту, восстановленных мамонтовцами, председателя и секретаря сельсовета, сдавшего мамонтовцам власть, и на выгоне расстрелял их. Он объявил общее сельское собрание и шесть дней митинговал с громославскими «хохлами», убеждая их биться за революцию, а не сидеть, як таки бесчеловечные выродки, выжидая — кто одолеет.

Шесть дней морозовские эскадронные коман-

диры — Мухоперец, Затулывитер, Непийпиво, — заломив бараньи шапки, говорили с перевернутой водовозной бочки на площади перед народом, шумевшим, как необозримый лес, — давили на то, чтобы общее собрание согласилось на общую мобилизацию с семнадцатилетнего возраста. На шестой день было вынесено решение образовать Громославский полк и включить его в Морозовскую дивизию.

С очищением левобережных хуторов и занятием Громославской давление белых на Царицын сразу ослабло, — им пришлось оставить Кривую Музгу. Но зато с каждым днем увеличивалась их активность со стороны Нижнечирской.

У Ворошилова все силы теперь были брошены на восстановление железнодорожного моста. Луганские и харьковские металлисты разбирали взорванную ферму. Шахтеры копали котлован на отмели между первым и вторым каменными быками. Под Рачковой горой рвали камень. На станции Чир и на ближайших хуторах разбирали кирпичные и бревенчатые постройки. На платформы грузили камень, кирпич, бревна, шпалы, рельсы, всякое железо, что попадалось под руку. Все это в поездах свозилось к Дону. Работы шли днем и ночью.

Все — от Ворошилова до бойцов, сдерживающих все более нетерпеливые натиски мамонтовцев, — с тревогой следили за мостовыми работами. Прошла неделя, кончалась вторая неделя, а на отмели между двумя гигантскими быками только еще валили камень. Нехватало рабочих, нехватало коней, нехватало телег…

В один из палящих безветреных дней, в обед, началась тревога. На западе, в стороне Лисинских высот, вставала огромная туча пыли. Еще не было слышно выстрелов, но оттуда мчались какие-то верхоконные. Полетела страшная весть, что фронт прорван. В сторону пыли протарахтел автомобиль Бахвалова, промчался на фиате Ворошилов с Колей Рудневым. Женщины заметались, собирая детей. Одни бежали в вагоны, другие — в степь.

Потом увидели спускающиеся с Лисинских высот необозримые обозы и стада скота. Оказалось, что шли морозовцы, — всей станицей, — выбитые оттуда казаками. Белые висели у них на хвосте. По горизонту покатился грохот пушек 5-й армии, встретивших преследователей. Обозы, люди, коровы, овцы мчались с Лисинских высот к станции Чир.

Теперь было — хоть отбавляй — и рабочих рук,

и телег, и лошадей. Бахвалов повеселел. Партии рабочих потянулись к Дону. Мост начал расти на глазах. На забученный котлован укладывали клетки из бревен и шпал, скрепляя их железом, заполняя внутри камнем. Вся опасность таилась в высоте этих деревянных устоев, — при малейшем отклонении от вертикали они рухнули бы под тяжестью поездов. Но недаром говорил Ворошилов, что материал подчиняется революции, — этот мост был ее творческим строительством, это был мост в будущее. В конце третьей недели устои поднялись на всю высоту пятидесяти четырех метров.

Сильно потрепанные стрелковые части Морозовской дивизии, не послушавшие разумных доводов, — что нельзя победить, крутясь у одной своей хаты, — искупали ошибку, сменяя помотанные в ежедневных стычках части 5-й. Белые теперь, не уставая, били орудийным огнем по мостовым работам. Их батарея стояла в Рубежной балке у хутора Самодуровки — близ Пятиизбянской станицы. Снаряды ложились вблизи моста, на отмели, в озера, в заросли. Было немало убито и ранено рабочих, все же в самый мост попасть им не удавалось. Выбить эти батареи из Рубежной балки можно было только глубоким

наступлением.

Из Царицына вернулись Пархоменко и Артем с сообщением, что в Царицыне — Сталин, что там идет решительная подготовка к обороне и Сталин предлагает 5-й армии, не теряя дня, заканчивать поход: переправлять все эшелоны и воинские части на левый берег.

От наступления на правом берегу приходилось отказываться, хотя это и грозило тем, что инициатива перейдет к белым. Так оно и случилось. Казаки, пришедшие в хвосте у морозовцев, подняли среди мамонтовцев сполох: «Что вы, чирские, суворовские казачки, на солнышке греетесь! То-то про вас слава идет… Испугались хохлацкого сброда… Мы этих красных били, как сусликов, от самой Морозовской, разобьем и здесь, покуда мост не навели, — тогда держи воробья…»

Семнадцатого июня в расположение Коммунистического батальона неожиданно прискакали верхами Ворошилов, Пархоменко и Коля Руднев. Ворошилов остановился на холме, откуда были видны сады Нижнечирской станицы. Он сказал подъехавшему Лукашу:

— У противника оживление?

— Да, как будто…

— Жди генерального сражения.

Вскоре показались казачьи конные цепи: шли рысью по волнистой равнине, кое-где прикрытой хуторскими садами. С холма можно было насчитать по крайней мере семь рядов всадников. Лукаш посылал ординарцев с приказом: подпускать цепи возможно ближе. Он волновался и повторял: «Подпустят, увидишь, Клим, — на четыреста шагов подпустят, ребята теперь выдержанные…»

Загремела артиллерия Кулика, застучали пулеметы, захлестали винтовочные выстрелы. Казачьи кони стали валиться… Но ни один не повернул, — все новые и новые волны всадников мчались с холмов, из-за вишневых порослей.

— Пьяные, честное слово, пьяные! — крикнул Ворошилов, не отрываясь от бинокля.

Вот уже передние перескакивают через окопы, рубя и катясь на землю вместе с конями… Несколько всадников мчатся к холму. Передний, на великолепном рыжем жеребце, тучный, в фуражке, съехавшей на ухо, в золотых полковничьих погонах, крича и давясь седыми усами, устремился на Ворошилова, крутя клинком. Лукаш выстрелил — мимо! Ворошилов толкнул гнедого навстречу и со всего конского маха, завалясь, ударил шашкой полковника. Проскочив,

осадил, — полковник лежал на земле, раскинув руки.

Прорвавшихся сквозь фронт было немного. Одних сбили, другие ушли на взмыленных конях. Остатки казачьих цепей отхлынули. Этот короткий, но кровавый бой дорого обошелся казакам. В белых станицах стало хмуро. О возобновлении удара в ближайшее время не могло быть и разговора.

Глава двенадцатая

1

В салон-вагоне повсюду — на стульях, на столе, на полу — лежали куски материй, образцы железа, скобяных изделий, папки с бумагами, кучки зерна, газеты, рукописи. У опущенного окна за низеньким столиком сидела машинистка, тоненькие пальцы ее лежали на шрифте. За окном было чисто выметенное вокзальное поле, где вдали сходились полосы рельсов. Негромкий ровный голос за ее спиной, казалось, наполнял это залитое черным мазутом, исполосованное сталью пространство особенным и важным значением.

Сталин диктовал:

«На немедленную заготовку и отправку в Москву десяти миллионов пудов хлеба и тысяч десяти голов скота необходимо прислать… семьдесят пять миллионов деньгами, по возможности мелкими купюрами, и разных товаров миллионов на тридцать шесть: вилы, топоры, гвозди, болты, гайки, стекла оконные, чайная и столовая посуда, косилки и части к ним, заклепки, железо шинное

круглое, лобогрейки, катки, спички, части конной упряжи, обувь, ситец, трико, коленкор, бязь, модеполам, нансук, грисбон, ластик, сатин, шевьет, марин сукно, дамское и гвардейское, разные кожи, заготовки, чай, косы, сеялки, подойники, плуги, мешки, брезенты, галоши, краски, лаки, кузнечные, столярные инструменты, напильники, карболовая кислота, скипидар, сода…»

Диктуя, он перелистывал стенограммы. За эти несколько дней в Царицыне все было поднято на ноги. Партийная конференция, съезд профессиональных союзов, конференция заводских комитетов, чрезвычайные собрания с участием массовых организаций, митинги — следовали без перерыва. Оборона Царицына, казавшаяся до этого делом одного Царицына, поднималась на высоту обороны всей Советской республики.

Через сталинский вагон — на путях юго-восточного вокзала — проходили тысячи людей, воспринимая эту основную тему. Сотни партийных и советских учреждений, тонувших в междуведомственной путанице и неразберихе, начинали нащупывать логическую связь друг с другом. Сотни партийцев, занимавших канцелярские столы, количество которых от пяти до десяти раз превосходило нужное количество сто-

лов в этих учреждениях, насквозь прокуренных махоркой, были оторваны от бумажных волокит и брошены на агитационную работу по заводам и в деревню.

Суровой ясностью звучала новая тема: оборона Царицына должна быть наступлением по всему фронту — от севера Воронежской губернии до Сальских степей. Должна быть жестоким проведением хлебной монополии. Должна за июнь месяц дать два миллиона пудов хлеба Москве и Питеру.

Возбужденные митинги прокатились по заводам и окраинам. Рабочие поняли возложенную на них ответственность за судьбу всей страны, — всюду были вынесены резолюции, поддерживающие общереспубликанскую задачу. И когда эта ответственность была вещественно выражена в немедленном прекращении свободной продажи хлеба и в переходе на хлебную карточку с полфунтом на пай, рабочие ответили: согласны…

За несколько дней город изменился, — будто трезвым утром после разгула. По улицам пошли патрули. Опустела оркестровая раковина в городском саду, и напротив нее двери шашлычного и чебуречного заведения оказались заколоченными крест-накрест досками. Во всех частных

лавчонках на витринах остались лишь гуталин, повидло, сарептская горчица в корявых баночках и мухи, густо ползавшие по пыльным стеклам. Хлеб, как предмет торговли, исчез.

«Дамочки», бежавшие из северных столиц, растерянно рассматривали новые хлебные карточки, дававшие право на получение четверти фунта тем, кто служит в советских учреждениях… «Нетрудовому элементу» карточек не полагалось… «Боже мой, боже мой! Кто же до этой революции серьезно думал о хлебе?» Кухарка шла в булочную и покупала, и врачи даже рекомендовали мало кушать хлеба… Как будто в хлебе появился какой-то особенный, суровый смысл… Но как же все-таки быть без хлеба? Одни решали — бежать из этого кошмара, другие — мстительно ждать прихода красновских войск.

Были и такие, у кого звуки вальса из раковины в саду (несмотря на убожество пыльной аллеи под двумя керосиновыми фонарями) вызывали пронзительные воспоминания молодости, машущей из навсегда отлетевшего времени — белым шлейфом первого бального платья. Эти, не находя в своих крошечных душах ни ненависти — мстить, ни решимости — бежать, лишь горько плакали о том, что большевики лишают их по-

следней невинной радости.

Переодетые офицеры, пережидающие революцию в кабаках или на грязной койке под треньканье мандолины, начали теперь лазать через забор в условленную квартиру — совещаться: что благоразумнее — подаваться ли в перенаселенный Новочеркасск, в не слишком любезную обстановку всевеликого Донского войска, напяливать ли вшивую гимнастерку — уходить к Деникину на Кубань — или организовывать здесь, на месте, восстание.

Спекулянты спрятали до лучших времен рубашки «апаш» и долбили каблуки в своих башмаках, запрятывая туда бриллианты и платину. «Либеральные» деятели, царские чиновники, мелкопоместные помещики, спасавшиеся здесь со своими семьями от мужицкой стихии, подобно тому как в семнадцатом веке бояре и служилые люди садились от набегов крымских ханов в осаду за стены Серпухова или Коломны, — все это население центра города начинало подумывать, уж не пойти ли временно на службу в какие-нибудь тихие советские учреждения?

Но новый день приносил новые неожиданности. На сосновых телеграфных столбах, на всех заборах, созданных, казалось, вековой россий-

ской историей, чтобы под ними беспечно спали пьяные оборванцы, забелели листочки нового декрета исполкома: «Всему нетрудовому населению немедленно явиться в распределительные пункты, получить шанцевый инструмент, итти организованными группами в степь и рыть под городом окопы, за каковой труд будут выдаваться хлебные карточки».

В вагоне на путях продолжала стучать машинка.

— Телеграмма, — вполголоса говорил Сталин: — «Москва, Высший военный совет… Срочно выслать несколько батарей шестидюймовых и снарядов к ним. Несколько батарей трехдюймовых и снарядов к ним. Десять миллионов трехлинейных русских патронов. Восемь бронированных автомобилей. Особенно важно прислать две группы опытных и преданных летчиков с аппаратами и со снарядами…»

Этой ночью в вагон были вызваны Носович и К°валевский для доклада. По ведомостям и сводкам на всем фронте Северокавказского военного округа (от южной границы Воронежской губернии до Каспийского моря) находилось сто тысяч штыков и сабель. Ковалевский, держа карандаш за самый кончик и указывая на карту, висевшую

над столом в салоне, наизусть перечислял имена отрядов, количество бойцов, расположение их на фронте. Носович нахмуренно подбирал ведомости.

Сталин, как бы разминая ноги, ходил вдоль окон со спущенными шторами. Когда докладчик приостанавливался, Сталин подтверждал кивком, что внимательно слушает. На самом деле ему давно все стало ясно из этого доклада (с материалами он ознакомился накануне): Ковалевский довольно неискусно «втирал очки», стотысячная армия существовала только на бумаге. За исключением значительной группы Калнина на самом юге фронта в Кубано-Черноморье остальные дивизии, бригады, полки, четко и решительно перечисляемые Ковалевским, были не что иное, как плохо связанные друг с другом партизанские отряды и отрядики, сражающиеся у своих станиц. Четыре царицынских штаба пытались руководить ими, засыпая фронт противоречивыми и склочными бумажонками.

Ковалевский, видя, что у молчаливого Сталина складывается нежелательное впечатление, поспешил подчеркнуть:

— Все эти данные я посылал в Высший военный совет, и Троцкий утвердил дислокацию войск,

равно как и общий план обороны.

Носович сейчас же протянул приказ за подписью Троцкого — удерживать фронт ив возможном случае — продвигать его… Сталин, прочтя, усмехнулся, бросил бумажку на стол.

— Удержать, отодвигать, не допускать… Красноречиво…

Наиболее подозрительное в докладе Ковалевского заключалось в спокойном отношении штаба к действительно катастрофическому состоянию самого царицынского фронта: около Царицына находилось всего шесть тысяч штыков и три тысячи в гарнизоне.

— Какими силами располагает Мамонтов? — спросил Сталин.

Ковалевский быстро взглянул на Носовича, тот, не поднимая глаз, спокойно:

— Сорок — пятьдесят тысяч сабель и штыков…

Сталин взял ведомость оружия, — всего на фронте Царицына числилось: 8 пушек, 92 пулемета, 9800 винтовок, 600 сабель, 962 тысячи патронов и 1200 снарядов для орудий…

— Это все?

— Есть кое-что в арсенале, — хмуро ответил Носович. На рассвете Сталин поехал в арсенал. Спустился в подвалы и внимательно ходил по

проходам между сосновых ящиков и пирамид из ручных гранат. Строгий старичок, хранитель арсенала, не мог дать точных сведений — сколько здесь оружия: оно свозилось сюда из разных мест без учета и, по всей видимости, было ломаное, ржавое, негодное…

Из арсенала Сталин поехал на орудийный и машиностроительный завод. Обошел цехи и, когда рабочие, узнав его, собрались на заводском дворе, поднялся на грузовик и сказал:

— Товарищи, республика в опасности… Мы должны переходить в решительное наступление. Долг каждого из нас — удесятерить свои силы и победить. Ни один человек не должен оставаться равнодушным… Сочувствия мало… Нужно поголовно, от мала до велика, взяться за оружие. Нужно работать так, чтобы у твоего станка стояла заряженная винтовка. Пролетариат должен быть весь мобилизован и вооружен. Но, чтобы мы были вооружены, нужно это оружие приготовить. Нам нужны бронепоезда, броневики и пушки. Только что я видел в арсенале тысячи сломанных и заржавленных винтовок, их нужно как можно скорее починить…

— Даешь наступление, товарищ Сталин, — ответили ему рабочие.

Солнце без пощады жгло черное пространство, прочерченное стальными линиями. Худые пальцы машинистки летали по клавиатуре. Сталин продолжал диктовать:

«…Нужно со всей остротой поставить вопрос о смене всего военного руководства… Обилие штабов (четыре штаба) превращает фронт в кашу. Общее состояние фронта — отрядная неразбериха. Назначенные сюда военные специалисты (сапожники) работают с непонятной вялостью и халатностью. Без экстренных и решительных мер нечего и думать об охране железнодорожной линии и о бесперебойной отправке продовольственных грузов…»

Вошел комендант, будто высушенный на огне человек, молча положил на стол телеграмму. Она была от очередного маршрутного поезда, везущего в Москву двадцать пять вагонов хлеба и три вагона сушеной рыбы.

«…В два часа ночи на разъезде у станции Филонове наш поезд сошел с рельсов ввиду того, что казаками были подложены пироксилиновые шашки. Тут же открылась стрельба со стороны казаков по поезду. Но благодаря нашим пулеметам казаки были отогнаны и частью перебиты. Здесь мы простояли целый день и в ночь отправились

дальше. На тринадцатой версте за станцией были задержаны, потому что казаки опять наступали. Бой длился до семи вечера. После этого отправились дальше. На разъезде, не доезжая Поворина, оказался разобран путь на протяжении трех верст. Казаки со всех сторон окружили разъезд и наш поезд. Бой шел с часу ночи до одиннадцати утра. Здесь мы простояли четверо суток и починили путь, после чего направились дальше. У нас двое убитых, семь раненных легко. Надеемся благополучно довезти груз до Москвы…»

Сталин по телефону вызвал коменданта. Комендант молча появился в дверях.

— Сколько вы отправили сегодня маршрутных?

— Три поезда с зерном.

— Сколько еще можете отправить?

— До полуночи еще три.

— Нужно усилить охрану. Прицепляйте к каждому поезду платформу со шпалами и рельсами.

— Есть!

Комендант неслышно скрылся.

Сталин отпустил машинистку и сел писать письма. Его заботили дела на Кавказе и в Средней Азии. Он писал Степану Шаумяну:

«…Общая наша политика в вопросе о Закав-

казье состоит в том, чтобы заставить немцев официально признать грузинский, армянский и азербайджанский вопросы вопросами внутренними для России, в разрешении которых немцы не должны участвовать. Именно поэтому мы не признаем независимости Грузии, признанной Германией…

«…Очень просим всех вас всячески помочь (оружием, людьми) Туркестану, с которым англичане, действующие через Бухару и Афганистан, стараются сыграть злую шутку…»

2

Двадцатого июня загрохотала и задымилась вся дуга фронта от Рачковой горы до Нижнечирской станицы. Казаки бешеными ударами конницы пытались прорваться к станции Чир (находящейся в центре этой дуги), откуда нескончаемой вереницей ползли к Дону поезда. Добыча уходила из-под носа. Генерал Мамонтов в новенькой немецкой машине метался по горам и холмам. Поднимаясь с биноклем во весь огромный рост, в шелковой рубашке, выбившейся из-под малинового пояса кавалерийских штанов, — вглядывался сквозь пыль во все фазы боя. Все было напрасно: красные держались и

под артиллерийским и под пулеметным огнем, отбрасывали гранатами и штыками страшные натиски кавалерии. Поезда и обозы продолжали двигаться к Дону.

Первый эшелон, груженный железом и разными материалами, осторожно, вслед за шагающим впереди паровоза Бахваловым, проходил восстановленный пролет моста. Деревянные устои — двенадцать тридцатисаженных клетчатых башен, расширяющихся к основанию, — скрипя и пружиня, отлично выдерживали тяжесть паровоза и поезда. Внизу, на широко обнажившейся песчаной отмели, стояли рабочие, несколько тысяч — строители первого советского чуда. Они кричали, многие махали ветками. Отсюда они казались игрушечными, их крики едва доносились.

По мосту с двигающимся эшелоном, по тысячам людей на отмели упорно и часто били пушки со стороны Пятиизбянской. Но сегодня их снаряды ложились с большим недолетом: отборный царицынский отряд, посланный Сталиным в помощь Ворошилову, выбил казачью батарею из Рубежной балки.

Бахвалов перешел починенную часть моста; паровоз, как ручной, посапывая цилиндрами,

вползвслед за ним на железную ферму.

Здесь стоял Ворошилов со штабом. У всех были радостные, испуганные лица.

— Выдержала! — крикнул Ворошилов.

— Все-таки она у тебя трещит, — сказал Руднев.

— Трещит, аж дух захватывает, — сказал Пархоменко. — Прямо смотреть страшно.

Бахвалов снял картуз, рукавом вытер лоб.

— А пускай трещит, — сказал спокойно. — Климент Ефремович заявил, чтобы материал подчинялся революции. Вот он и подчиняется. Не только шестьдесят эшелонов выдержит, — по этому мосту курьерские поезда будем гонять…

Когда они, переговариваясь и смеясь, перешли на левый берег, со стороны Логовского хутора к насыпи подъехал серо-зеленый броневик с низеньким куполом. Из него вылез человек в черной коже.

— Командующему армией, лично, — сказал он, вынимая пакет. Когда Ворошилов быстро спустился к нему по песчаному откосу, — он сухо, четко взял под козырек:

— От товарища Сталина. Товарищ Сталин посылает вам броневик в личное распоряжение…

3

Нужно было развертывать новый фронт на левом берегу. Эшелоны, перейдя Дон, двигались на Кривую Музгу. Туда был перенесен штаб. Туда перебрасывались освободившиеся части с правого берега, где старый фронт сужался, отступая к станции Чир и к мосту.

Казаки тоже начали переправлять на паромах и лодках конные и пешие сотни на левый берег, сосредоточивая их у Калача, откуда они намеревались нанести удар на Кривую Музгу. Здесь, в пятидесяти верстах от Царицына, на широких заливных лугах и в ровной, как стол, полынной степи казачьей коннице было привольнее, а красной пехоте — труднее.

Отряды 5-й быстро занимали в степи хутора, развертываясь перед Калачом. Ворошилов поехал осматривать новый фронт. Когда он, Лукаш и Кисель — командир Морозовского полка — садились в броневик, подбежал Коля Руднев:

— Клим, я посылаю с тобой охрану.

— Глупости! Не надо.

— Прошу тебя. Автомобиль — дело темное. Был бы хороший бензин, а то — смесь, — дело темное… Конвой поедет казачий, ребята здешние,

они тебе все балочки укажут. Лично тебя прошу.

Ворошилов пожал плечами и захлопнул стальную дверцу. Броневик зачихал, пустил густое облако, воняющее спиртом и керосином, покатил в степь. За ним, пригнувшись на высоких седлах, поскакали восемнадцать красных казаков — молодые, сильные, смелые ребята.

Только что прошел дождь. Воздух был парной. Из-под колес и копыт летели лепешки грязи. В стороне, куда шел броневик, из грозовой тучи свешивались косые сизые полосы ливня. Лукаш в открытое отверстие брони указывал расположение отрядов. Проехали окопы Морозовского полка и свернули вдоль фронта. Туча, волоча по степи ливень, уползала за Дон. Во влажной дали виднелись стога.

Броневик, замедляя ход, подъехал к одному из хуторов — на берегу заросшего камышом пруда. Здесь только что прошел сильный ливень. За плетнями стояли еще тяжелые от дождя вишневые сады. На улице — лужи. Ворота во всех дворах и ставни в хатах — закрыты. Хутор, видимо, был покинут. Проехали мостик и за поворотом увидели поперек всей улицы сваленные телеги, бревна, мешки с землей. Командир Кисель сказал:

— Дьяволы, это они за ночь нагородили!.. Вче-

рась разведка установила хутор покинутым, и мы так и считаем…

Ворошилов остановил машину:

— Прикажи конвою отстать.

Лукаш, приоткрыв дверцу, сказал подскочившему казаку:

— Командующий приказал держаться в полуверсте.

— Пошел прямо, — сказал Ворошилов.

Броневик проскочил через баррикаду, но и она оказалась опустевшей, только две ошалелые курицы кинулись из-под колес. Отсюда дорога начала вертеться между плетнями. Лукаш хмурился, кусал ноготь. Кисель все еще повторял: «Мои ребята не станут врать…» Водитель Цыбаченко, луганский металлист, неодобрительно покручивал головой, вертя вправо и влево баранку руля, — дорога становилась все хуже, машина по самые оси завязала в колеи, полные черной воды.

— Давай, давай, — повторял Ворошилов.

Впереди показалась большая лужа. Броневик рванулся и засел. Мотор заглох.

— Сели, — сказал Цыбаченко, открывая дверцу. Ворошилов с силой нажал ему на плечо:

— Сиди смирно.

— Товарищ Ворошилов, да тут же никого нет. — Кисель, морщась, с усилием открывал дверцу… — Разве они днем станут по садам сидеть. Они все сейчас в балках, в степи.

Ворошилов — строго:

— Не выходи…

Но Кисель уже открыл и высунулся по пояс. Из-за плетня хлестнули выстрелы. Он, даже не ахнув, головой вперед, вывалился из броневика. Лукаш быстро захлопнул дверцу. По броне резнул второй залп.

Ворошилов:

— Давай пулемет…

Лукаш ответил:

— Ничего не выйдет, они в мертвом пространстве…

Выстрелы били, не переставая; было хорошо слышно, как бряцали ружейные затворы, сопели люди. Пули не пробивали брони, но от их ударов, почти в упор — внутри с брони летела окалина.

— Береги глаза! — крикнул Ворошилов, — щека его была в крови.

Нападающие, видя, что броневик не отвечает и засел грузно, начали высовывать из-за плетня бородатые, орущие матерщину, лица; скаля зубы, прицеливались в узкую щель в передней броне.

Осмелев, галдя, повалили плетень и окружили машину, — станичников было не меньше полсотни; бешено застучали прикладами в броню:

— Антихристы! Большевики! Вылезай, хамы!

Навалясь, раскачивали машину. Лезли на купол. Силились просунуть винтовки в щель. Но, опасаясь револьверных выстрелов изнутри, бросили это занятие. Стали совещаться.

— Нанесем хворосту, зажарим их живьем…

— Чего там — хворост! Давай гранату.

Лукаш сказал:

— Дело скверное.

— Пустяки, — ответил Ворошилов. — Мужики хозяйственные, зачем им рвать хороший броневик. Пускай спорят. Наш конвой их сейчас атакует либо даст знать в полк…

Действительно, казакам скоро жалко стало такой хорошей боевой машины. Несколько человек побежало за волами. Другие опять принялись ругаться и стрелять. Лукаш крикнул в щель:

— Эй, станишники, бросьте дурить! Все равно вы нам ничего не сделаете. За нами идет конвой — две сотни, бегите скорее по садам, покуда вас не начали рубать.

Тогда казаки, разинув губастые, зубастые рты, захохотали, — приседая, били себя по ляжкам…

— Го-го-го… Хо-хо-хо!.. Мы вам сейчас покажем, где лежит ваш конвой: всех восемнадцать рядом поклали…

— Привезем вас в Калач к атаману, он найдет средство — выйти вам из броневика…

Привели шесть пар волов. Принесли здоровую веревку. Привязали ее к передней оси, другой конец — к цабану. Сзади броневик подхватили жердями. «Ну, берись, ну — еще!!!» Закричали на волов: «Аида, айда, айда!..» Броневик тяжело полез из грязи. Ворошилов сказал:

— До последней минуты — держись.

— Ладно, — сказал Лукаш. — Патроны есть у тебя?

— Есть.

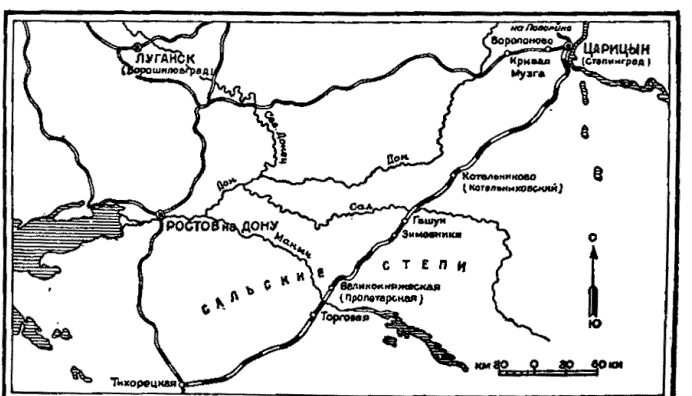
Понукая волов, крича, гогоча, казаки потащили броневик через лужу на сухую дорогу. Водитель Цыбаченко спокойно сидел, немножко правил. После лужи шел крутой подъем. Казаки забежали вперед машины, помогая волам. Цыбаченко глядел в щель перед собой и правил. Подъем кончился, казаки запыхались, волы стали. Цыбаченко — не оборачиваясь:

— Давай пулемет!

Он включил мотор. Застреляли цилиндры, мотор заревел. Испуганные волы шарахнулись,

веревка оборвалась. Лукаш из-под купола загрохотал пулеметом. Казаки кинулись по канавам. Броневик пронесся мимо них, обдавая дымом и пулями.

Обогнув хутор, свернули по степи на исходную дорогу. Около окраинных садов видели оседланную лошадь, — она стояла точно удивленная, приподняв переднюю, перебитую в бабке, ногу. Другая и третья лошади валялись у дороги. А дальше на полынном поле лежали — кто уткнувшись, кто навзничь, навсегда уснув, — восемнадцать молодых ребят-конвойцев, попавших в засаду у этих плетней.



4

В вагон Сталина никого не пропускали. На путях стояли часовые. По перрону ходил комендант, отвечая всем, кто бы ни стремился видеть чрезвычайного комиссара:

— Ничего не знаю…

В вагоне сидели Ворошилов, Коля Руднев и Пархоменко. На столе — жестяной чайник, стаканы и крошки хлеба. Все трое курили московские папиросы. Была долгая беседа, — Ворошилов рассказывал о походе от Харькова до Луганска. Руднев и Пархоменко ревниво вспоминали упущенные подробности.

Сталин, опираясь коленом о банкетку, — под картой на стене, — вертя в пальцах маленький циркуль, говорил:

«…Справной мужик в октябре дрался за советскую власть. Теперь он повернул против нас. Справной мужик повернул против нас потому, что он ненавидит хлебную монополию, твердые цены, реквизицию и борьбу с мешочничеством…

«И вот — результаты… (Он указал циркулем на карту около Поворина.) На северном участке у нас в частях Миронова развал, — несколько его конных полков перебежало к Краснову. Станич-

ники и кулаки сагитировали справного мужика. Миронова три раза окружали у Поворина и у Филонова и в конце концов разбили наголову.

«Краснов сейчас сильнее нас, — это нужно признать, — и численностью и вооружением. Он ведет свою агитацию. А наши четыре штаба никакой агитации не ведут и предоставляют Краснову отрывать от нас колеблющиеся массы. У Краснова хорошо снабженная армия. У нас армии нет.

«По сведениям этих дней, добровольческая армия Деникина, о которой упорно ничего не знают наши военные специалисты, покинула Мечетинскую и Егорлыцкую станицы и развивает успешные операции на стыке Дона и Кубани. Вне всякого сомнения, Деникин направит удары на железнодорожные узлы — Торговую и Тихорецкую — и будет пытаться отрезать от нас группу Калнина и приморскую группу Сорокина.

«Кроме Краснова, мы получаем нового врага: офицерская добровольческая армия снабжается Антантой, хорошо обучена и пронизана классовой ненавистью. Это опасный враг. Она угрожает нашему южному — важнейшему участку, — хлебу и нефти.

«У нас все еще не могут изжить отрядный спо-

соб ведения войны, и не изживают умышленно. Смотреть сквозь пальцы на отрядную неразбериху, терпеть это головотяпство, — если это не простое предательство, — значит, капитулировать. Со всей решимостью, в кратчайший срок, мы должны сформировать из отрядов крупные соединения, подчинить их единому командованию, преданному революции, — должны создать регулярную армию…

«Наши возможности таковы: первое — рабочие, шахтерские и крестьянские отряды, приведенные вами, Климент Ефремович, — они получили хорошую закалку. Донецко-морозовские отряды Щаденко. Царицынские рабочие, — они могут, хотят и будут драться не на живот, а на смерть, если мы сможем изолировать их от контрреволюционной пропаганды эсеров и меньшевиков. Казачьи части Миронова, — к нему посланы пропагандисты, у него должно отсеяться крепкое бедняцкое ядро. Находящаяся там же на севере — группа Киквидзе. В сегодняшних условиях она не боеспособна: это типичное отрядное образование с отсутствием координации действий, но группа Киквидзе — отличный материал. Затем — пять тысяч военнопленных в Царицыне, большинство мадьяр, с ними уже работает агитпроп. Сербский

отряд, пробившийся к нам из Украины. И, наконец, — в Сальских степях — многочисленные отряды иногородних и беднейшего казачества: отряды Шевкоплясова, Круглякова, Васильева — в Котельникове (сплошь из железнодорожных рабочих), отряд Ковалева — в Мартыновке и конный отряд Думенко. Условия борьбы там особо суровые, из этих отрядов можно выковать железную дивизию.

«Вот из чего мы можем создавать костяк армии. Придется ломать сопротивление военных чиновников, они будут жаловаться в Москву и будут пакостить нам основательно. Придется, может быть, вступить в конфликт с Высшим военным советом. Но и там мы сломим, — нам поможет Владимир Ильич.

«Формирование новой Красной армии, — это будет десятая армия, — не так ли? — вы возьмете на себя, Климент Ефремович».

У Ворошилова вспыхнули скулы. Сняв руки со стола, строго подобрался. Пархоменко пробасил в усы:

— Правильное решение.

Двадцать пятого июня на фронте — в окопах, по эшелонам, во всех обозах, на большом армейском митинге, в поле перед станцией Кривая Музга

— был прочитан приказ: «Все оставшиеся части бывших 3-й и 5-й армий, части бывшей армии царицынского фронта и части, сформированные из населения Морозовского и Донецкого округов, объединить в одну группу, командующим которой назначается бывший командующий 5-й армией товарищ Климент Ефремович Ворошилов. Всем названным выше воинским частям впредь именоваться «группой товарища Ворошилова». Приказ был подписан народным комиссаром Сталиным.

5

— Нет, нет, нет, господа, — лежать… Раскиньтесь непринужденно… Я уверен — за нами наблюдают с того берега.

— Ну уж ты, кажется, ваше превосходительство, того… Уж и купаться мы не можем…

— Да, да, да… Им на подозрение взяты все… Вчерашний разговор очень мне не понравился…

На отмели — напротив Царицына — лежали голые: Носович, длинный, нескладный Ковалевский, с золотой цепочкой креста на впалой груди, Чебышев — с полными плечами и тазом, как у женщины. В двух шагах от них сидели, подставив спину солнцу, адъютанты Кремнев и Садковский,

капитан второго ранга Лохватов и полковник Сухотин. Здесь был весь штаб округа.

Но опасения Носовича, что за ними наблюдают с того берега, были, пожалуй, неосновательны. Вся отмель — напротив Царицына — кишела людьми. Много лодок на середине Волги висело, точно в воздухе, на желтовато-голубой глади реки.

Было воскресенье, зной, безветрие.

Штаб выбрал для купанья уединенную косу. Ждали инженера Алексеева, — он должен был сделать важное сообщение.

— О чем же тебя спрашивал чрезвычайный комиссар? — спросил Ковалевский.

— А он интересуется весьма тонкими вещами… Вызвал меня в вагон по оперативным вопросам… Угощал чаем, был очень мил и не верил ни одному моему слову…

Положив руки на затылок, Носович стал подробно рассказывать про вчерашнюю беседу с чрезвычайным комиссаром, интересовавшимся каждой штабной бумажкой. Просматривая принесенные Носовичем приказы, запросы другим штабам, возражения и отписки и все копии приказов, запросов, возражений и отписок других царицынских штабов, Сталин указывал на гро-

моздкость такой канцелярской системы ведения войны. Он брал из папки какой-нибудь приказ командиру отряда и следил его извилистый путь через канцелярские столы к месту назначения, когда приказ уже терял всякий смысл или вызывал бешеную отписку командира отряда. Он брал другую бумажку и расшифровывал ее смысл, клонящийся единственно к раздуванию склоки между штабами.

Он просил Носовича дать ему толковое объяснение о такой мало целесообразной деятельности.

— Я, естественно, возражал, что штабы самим господом богом поставлены быть штабами и что здесь я работаю по личной доверенности Троцкого — по мере моих сил и разумения. Но ссылка на Троцкого его мало убедила… Он начал ставить такие тонкие вопросы, — одну минуту показалось: вот, чорт, не разгадал ли мою игру? С Москалевым работать было проще…

Чебышев, пересыпая в горстях сухой песок, сказал неприязненно:

— Я считаю, что ваша игра слишком тонка для большевиков. Я бы действовал и смелее и грубее…

Носович потянул по песку ногу, другую, поднял опухшие от ревматизма колени. Так же, как

тогда весной на вагонной площадке, он испытал острую неприязнь к этому фату — гвардейцу, неизвестно почему цедящему слова с таким отчетливым высокомерием. Подумал: «Посмотрел бы я, как ты побледнеешь, как поставят у забора перед взводом...»

Носович не ответил ему, потому что в такую жару не хотелось рассказывать о сложной системе бумажной волокиты и склоки, которую он проводил в штабах и на фронте. Иногда ловко продуманная фраза в исходящей бумажке натравливала один штаб на другой, вызывала бурю возмущения, парализовала работу или, как он любил повторять: «Удачное слово может наделать больше вреда, чем хороший обстрел из шестидюймовых гаубиц...» Он не ответил еще и потому, что Чебышев был отчасти прав. Директивы, полученные Носовичем в Москве от Савинкова и на другой день от советника посольства одной из великих держав, «питавшей, несмотря на все испытания, сердечные чувства к русскому народу», — директивы эти не были им выполнены полностью. Может быть, он слишком устал от борьбы, может быть, просто трусил?

К отмели подплыла старая двухвесельная лодка. Из нее выскочили два молодых человека с

обритыми головами и не спеша вышел инженер Алексеев. Несмотря на жару, он был в пиджаке и жилете. Сыновья его быстро разделись, бросились в воду. Он подошел к лежащим на песке штабным. Сел. Лицо его было серьезно, почти торжественно.

— Господа, — сказал он медленным шопотом, — господа, добровольческая армия наголову разбила всю группу Калнина и заняла Тихорецкую, на-днях нужно ждать взятия Торговой. Деникин идет по России триумфальным маршем…

Штабные молчали, но по тому, как они будто бы застыли на песке, было приятно, что сообщение потрясло всех. Наконец Носович хриповато спросил:

— Откуда у вас это? Штаб еще ничего не знает…

— Я получил шифрованную телеграмму окружным путем через Баку, — сказал Алексеев. — Баку точно так же — со дня на день — должно пасть. Уже самый факт, что Баку будет у англичан, неимоверно материально и морально ослабит большевиков.

— Да, чорт возьми, здорово, — проговорил Ковалевский, переворачиваясь на живот.

— Господа, нужно начинать действовать…

Нужно действовать, господа, — повторил Алексеев почти истерически. — Какие у нас реальные силы?

Носович ответил:

— Офицерская организация «союза фронтовиков» — считайте двести пятьдесят штыков… Сербский полк — тысяча штыков. Но сербы еще не вполне готовы. С ними работают местные эсеры, но, чорт их знает, как они работают, — отчета мне не дают… «Союз торгово-промышленных служащих», — там тоже копошатся эсеры и меньшевики… Сколько мы навербуем этих вояк — приказчиков, — сказать трудно… Вот пока и все… Можно было бы рассчитывать на некоторый процент рабочих «Грузолеса», но Сталин объявил эсеров и меньшевиков врагами народа, и они сильно ослабили работу на «Грузолесе»… Во всяком случае можно рассчитывать на полторы тысячи штыков.

— Деньги? — спросил Чебышев. Алексеев — с живостью:

— Комиссариат путей сообщения, отправляя меня за нефтью в Баку, снабдил следующим: четыре пулемета, сорок винтовок, триста ручных гранат и десять миллионов рублей деньгами. Все это в нашем распоряжении…

— Ну что ж, — проговорил Носович, — и прекрасно, давай бог. Ждать придется недолго. Наш фронт…

— Чей — «наш»? — резко спросил Чебышев.

— Красный, не цепляйтесь, полковник… Красный фронт дезорганизован так, что и десяти чрезвычайным комиссарам не привести его в боеспособность… Краснов начнет генеральное наступление с середины июля. Добровольческая армия к тому времени тоже будет уже под Царицыном…

— Стало быть, вооруженное восстание вы приурочиваете?

— На конец июля…

Один из адъютантов, повернувшись, проговорил четко:

— Товарищ начальник штаба, сюда плывет лодка с народом.

Тогда все снова разлеглись на песке — непринужденно. С лодки, проплывшей мимо, крикнули:

— Эй, граждане, прикройте срам-то!..

6

То, что говорил Сталин в вагоне Ворошилову, оправдалось: в конце июня армия Деникина

нанесла ряд сильных ударов по магистрали Царицын — Тихорецкая и отрезала пятидесятитысячную армию Калнина. Южный фронт тем самым привлек теперь все внимание.

Сталин писал Владимиру Ильичу.

«…Если бы наши военные «специалисты» (сапожники!) не спали и не бездельничали, линия не была бы прервана, и если линия будет восстановлена, то не благодаря военным, а вопреки им…

«Дело осложняется тем, что штаб Северокавказского округа оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Дело не только в том, что наши «специалисты» психологически не способны к решительной войне с контрреволюцией, но также в том, что они как «штабные» работники, умеющие лишь «чертить чертежи» и давать планы переформировки, абсолютно равнодушны к оперативным действиям… и вообще чувствуют себя как посторонние люди…

«…Смотреть на это равнодушно, когда фронт Калнина оторван от пункта снабжения, а север — от хлебного района, считаю себя не вправе.

«Я буду исправлять эти и многие другие недочеты на местах, я принимаю ряд мер и буду

принимать вплоть до смещения губящих дело чинов и командиров, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать. При этом понятно, что беру на себя всю ответственность перед всеми высшими учреждениями…

«…Спешу на фронт, пишу только по делу».

Бронепоезд остановился в глубокой выемке, — здесь опять был взорван путь и, видимо, недавно: одна из шпал еще тлела. Команда разведчиков взобралась по откосу. Выжженная степь была пустынна. Впереди, верстах в двух, торчала водокачка, блестели на солнце крыши станционных построек.

Разведчики дошли до станции. Она была покинута. На вокзале выбиты окна, поломаны телеграфные и телефонные аппараты. На станционном дворе у двери погреба лежал какой-то разутый человек с прорубленной головой.

Станция — пустынная, маленькая, грабить там, в сущности, было нечего, и такой налет показался странным, — тем более странным, что на пути бронепоезда, секретно покинувшего Царицын, попадалась уже третья разгромленная станция, — будто это приурочивалось к проходу бронепоезда.

— По линии дано знать, совершенно очевидно, — сказал Ворошилов, подходя вместе со Сталиным к паровозу. Ремонтные рабочие развинчивали рельсы, убирали поврежденные шпалы, стаскивали с платформы запасные. Работы здесь было часа на два. Расспросив вернувшихся разведчиков, Ворошилов предложил пойти до станции пешком: в выемке было невыносимо знойно.

Он перекинул через плечо карабин. Сталин взял ореховую палочку. Пошли вдвоем по полотну. Выемка завернула направо, и бронепоезда не стало видно. В открытой степи подул горячий, все же приятный, ветер. Горизонт был волнистый. Очень далеко на меловой возвышенности виднелась мельница. Ворошилов указал на нее: «Оттуда и был налет...» В бледном небе парили хищники.

Сталин следил, как один из коршунов — совсем близко от них, так что слышен был свист его твердо раскинутых крыльев, — пронесся к земле и почти задел суслика, стоймя торчавшего у своей норы на невысоком кургане — древней могиле какого-нибудь гунна-наездника. Суслик успел, вильнув кисточкой хвоста, нырнуть под землю. Коршун важно, будто ему совсем и не хотелось

мяса, взмыл по горячему току воздуха.

Сталин рассмеялся, похлопывая себя палочкой по голенищу.

— Когда-нибудь научимся строить такие самолеты, — сказал он. — Совершенный полет, совершенное владение силами. А люди могут летать лучше, если освободить их силы… Мы будем летать лучше.

Нижние веки его приподнялись. Он шагал, не глядя теперь ни на коршунов, ни на сусликов между кустиками полыни. Ворошилов заговорил о том плане наступления, который необходимо было развивать, не дожидаясь переформирования армии, чтобы предотвратить перебои в отправке маршрутных поездов на Москву.

Добровольческая армия, предполагал он, добившись серьезных успехов по тихорецкой магистрали, неминуемо должна не итти к Царицыну, но повернуть на юг, потому что в тылу у нее остаются: гарнизон Екатеринодара (разбивший в марте месяце добровольческую армию Корнилова), черноморские моряки в Новороссийске и на фланге—у Азовского моря — армия Сорокина.

Деникин должен будет прежде всего войти в соприкосновение с Сорокиным и отойти от магистрали, оставив на ней лишь заслоны, и тогда нам

с одними оставшимися у нас на южном участке силами возможно прочистить и восстановить линию до Тихорецкой и протолкнуть оттуда хлебные поезда. Сталин сказал:

— Когда мы переформируем армию и призовем семь возрастов, то и тогда противник численно будет сильнее нас. Мы должны создать новую тактику. Наши дивизии не должны быть громоздкими, но гибкими и подвижными, усиленно снабженными пулеметами и артиллерией. Конница — будущее этой войны. Пехотные дивизии нужно укомплектовывать крупными конными частями, которые могли бы развивать самостоятельные операции. Мы должны иметь перевес в технике — создать фронтовую завесу из бронепоездов и бронемашин. Нам нужен воздушный флот. Мы должны создать воздушный флот…

Они дошли до покинутой станции. Водонапорная башня, к счастью, уцелела. Открыли кран, — с наслаждением вымылись до пояса и напились. Ворошилов принес лестницу, приставил ее к стене одноэтажного вокзала и полез на крышу, чтобы оттуда хорошенько в бинокль оглядеть местность. Сталин остался внизу.

Едва только Ворошилов, взобравшись, поднял руки с биноклем, — по железной крыше будто

ударило горохом…

— Вниз! Скорее! — крикнул Сталин.

Донеслись выстрелы. Пули впивались в деревянную стену вокзала. Ворошилов соскочил с крыши. Все же он успел разглядеть, что стреляли в версте отсюда, из-за кургана. Он сказал, когда отошли под прикрытие:

— Извините, Иосиф Виссарионович, право… (У него было совсем расстроенное лицо. Сталин засмеялся: «Бывает…») Можно здесь обождать бронепоезд… Но боюсь, как бы казачки не вздумали нас атаковать кавалерией… Лучше будет вернуться…

— Идем…

Ворошилов снял с плеча карабин. И они, обогнув станцию, пошли, держась в стороне от полотна. Пулями здесь достать их было трудно, все же не одна пуля просвистела над головой. Сталин шел все так же, спокойно, постукивая палочкой. Ворошилов с тревогой поглядывал то на него, то в сторону далекого кургана. Вдруг там, над гребнем, взвился желтый дымок, прошипел снаряд, раскатился орудийный выстрел.

— Идиоты! — крикнул Ворошилов. — Из орудия — по отдельным точкам, — идиоты!..

Они шли, не ускоряя шага. Через минуту сна-

ряд поднял вихрь земли позади них. Еыемка, где стоял невидимый отсюда бронепоезд, была еще далеко. Следующий снаряд разорвался впереди них.

— Для казаков — стрельба не слишком плохая, — сказал Ворошилов.

Наконец из выемки ответило тяжелое орудие бронепоезда, — рев его был такой грозный, что казачья пушечка за курганом еще раз тявкнула и замолкла. На гребень выемки выскакивали разведчики, — они бежали цепью в сторону кургана.

Сталин остановился и, прикрывая от ветра огонек спички, раскуривал трубку…

С пути Сталин телеграфировал Владимиру Ильичу:

«Военрук Снесарев по-моему очень умело саботирует дело очищения линии Котельниково — Тихорецкая. Ввиду этого я решил лично выехать на фронт и познакомиться с положением. Взял с собой… командующего Ворошилова, броневой поезд, технический отряд и поехал.

«Полдня перестрелки с казаками дали нам возможность прочистить дорогу, исправить путь в четырех местах на расстоянии пятнадцати верст. Нее это удалось нам сделать вопреки Снесаре-

ву, который против ожидания также поехал на фронт, но держался от поезда на расстояний двух станций и довольно деликатно старался расстроить дело. Таким образом, от станции Гашун нам удалось добраться до станции Зимовники, южнее Котельникова.

«В результате двухнедельного пребывания на фронте убедился, что линию безусловно можно прочистить в короткий срок, если за броневым поездом двинуть двенадцатитысячную армию, стоящую под Гашуном и связанную по рукам и ногам распоряжениями Снесарева.

«Ввиду этого я с Ворошиловым решили предпринять некоторые шаги вразрез с распоряжениями Снесарева. Наше решение уже проводится в жизнь, и дорога в скором времени будет очищена, ибо снаряды и патроны имеются, а войска хотят драться.

«Теперь две просьбы к вам, товарищ Ленин: первая — убрать Снесарева, который не в силах, не может, не способен или не хочет вести войну с контрреволюцией, со своими земляками — казаками. Может быть, он и хорош в войне с немцами, но в войне с контрреволюцией он — серьезный тормоз, и если линия до сих пор не прочищена, — между прочим потому, и даже главным образом

потому, что Снесарев тормозил дело.

«Вторая просьба — дайте нам срочно штук восемь броневых автомобилей. Они могли бы возместить, компенсировать, повторяю — компенсировать численный недостаток и слабую организованность нашей пехоты».

7

Тачанка мчалась к белеющим палаткам, — хлопец в разодранной на плече рубахе, в хорошей кубанской бараньей шапке, раскинув руки с вожжами и будто падая с облучка, понукал четверку поджарых коней. Здесь были Сальские степи, ровные, как море, подернутые сединой волнующегося ковыля.

Тачанка прогрохотала по новому мосту через овраг, где сквозь камыши синела вода. На той стороне стояли палатки знаменитого на все эти степи красного конного отряда. Дорога отсюда в лагерь была обсажена невысокими деревцами, чтобы давать бойцам тень и прохладу, но недавно посаженные деревца засохли.

Лагерь был обнесен валом. У околицы, украшенной ковылем, стояли две пушки. Часовой штыком загородил дорогу.

— Командующий! — сказал Пархоменко, кив-

нув на Ворошилова. Тачанка вскачь пронеслась по лагерю, мимо коней, стоявших у коновязей, мимо палаток и землянок, перед которыми курились костры из сухого навоза. Отовсюду к приехавшим бежали бойцы. Пархоменко, встав в тачанке, крикнул страшным голосом:

— Товарищи! Командующий прибыл! Давай митинг! Толпа одобрительно загудела, — повалили на плац, что был расчищен для строевых занятий, гимнастики и митингов. На вопрос Ворошилова — где командир — несколько голосов ответило весело:

— Командир в палатке…

— Он нездоров…

— У него чирей, что ли…

— За помощником ребята поскакали, — он в степи коня объезжает…

Ворошилов и Пархоменко вошли в палатку. Командир спал на земле, на попоне. На нем был пестрый татарский халат. По одну сторону командира лежала всякая сбруя — седла и уздечки, на стояке, на сучке висела кривая сабля в серебре, по другую сторону от него на досках, положенных на чурбашки — одна над другой, — стояло несколько сот — если не больше — закупоренных пузырьков, взятых, видимо, где-то в аптеке. В

палатке было душно.

— Товарищ Думенко! — окликнул его Ворошилов. Спящий сильно потянул носом, поднял обритую голову и покрасневшими глазами с минуту бессмысленно глядел на вошедших.

— Товарищ Думенко, с тобой говорит командующий фронтом, вставай…

— Не могу встать, — медленно крепким, хриплым голосом проговорил Думенко и подобрал под халат босые ноги. От усилия наголо обритое, воспаленное лицо его сморщилось. — Извини, товарищ командующий, я нездоров… Эй, хлопцы, дайте-ка седельные подушки командующему и адъютанту…

Он что-то еще хотел прибавить, но у него подвернулся локоть, на который он опирался, и Думенко лег опять на попону, бормоча что-то.

— Все понятно, — сказал Ворошилов. — Это у него спирт в пузырьках, идем…

На плацу — в круг — собрались бойцы — несколько сот молодых ребят, пропахших степным дымом. Передние сидели на земле, задние стояли тесно. Тут были и казаки и крестьяне из станиц и сел, где с февраля месяца казачий генерал Попов, бежавший после взятия красными Ростова, кровью и плетью восстанавливал в сте-

пях власть станичных атаманов.

Плохая одежда на бойцах не мешала их молодцева-й лениво-дерзкой осанке. Они знали и скок на коне с пикой и рубку направо и налево саблей. А кто не знал — здесь научили.

Когда в круг вошли Ворошилов и Пархоменко, — им крикнули:

— Подожди, не начинай!

Послышался бешеный конский топот. Подскакал всадник, соскочил, толпа бойцов раздалась… Он подошел легкой, слегка развалистой походкой. Все на нем — и перетянутая ремнем гимнастерка, и галифе с кожей на шенкелях, и звякнувшая о голенище сабля, когда он остановился, и смятая — глубоко и на ухо надетая фуражка — все было пригнано по-кавалерийски — ловко. Был он худощав, смуглый, с пышными большими усами.

Подойдя к Ворошилову, четко подкинул руку, не донеся ладонь до скулы, и тотчас отнял ее.

— Помощник командира отряда Семен Буденный, — сказал он, глядя в упор холодными глазами.

Ворошилов пожал ему руку, попросил, чтобы давал митинг. Буденный, — откинувшись:

— Хлопцы, с вами будет говорить командующий фронтом товарищ Климент Ефремович

Ворошилов, тот самый, кто сквозь немецкие и казачьи банды привел в Царицын славную армию, выкованную им в кровавых боях. Он будет с вами говорить…

— Даешь! — гаркнули бойцы.

Ворошилов начал говорить о том, что здесь, в Сальских степях, и выше на Дону, и по всей России идет одна и та же борьба трудящихся против капиталистов и помещиков за то, чтобы работать и жить для себя, а не кормить паразитов.

Фронт капиталистов и помещиков — от Петрограда — до Баку. Скучно будет тем, кто захочет бить их у одной у своей хаты… Бить их нужно всем сообща, в тех местах, где будет для них наиболее чувствительно. Поэтому необходимо сформировать из всех трудящихся единую Красную армию и подчинить ее единому революционному командованию…

— За этим я приехал сюда — сформировать из ваших славных красных отрядов железную дивизию… (Он перечислил эти отряды, и число бойцов в них, и их боевые средства.) С чего нам начать? Начнем с геройского подви-га, хлопцы… Село Мартыновка уже тридцать пять дней осаждается озверелыми белыми бандами генерала Красильникова. Мартыновцев — три тысячи бойцов, они

не хотят сдаваться и согласны лучше умереть до последнего человека… Если мы не придем к ним на помощь — они умрут. Если выручим их, — в нашей дивизии будет каленый Мартыновский полк…

Говорил он убедительно и понятно. Хлопцы, сидевшие в кругу на земле, встали. Те, кто стоял, теснее надвинулись. По нахмурившимся лицам, по загоревшимся глазам видно было, что их задела речь командующего.

— Веди! — сказали хлопцы. — Мы согласны. Веди нас на Мартыновку.

Буденный поднял руку, восстановил тишину и подробно рассказал, как нужно осмотреть коней, подковать плохо кованных, и напоить, и как их седлать, и что с собой взять в поход.

Ребята побежали к коновязям, и в степь, и к походной кузнице, и к землянкам. Не прошло получаса — Буденный приказал трубачу:

— По ко́ням!

Отряд, оставив в лагере обоз и охрану, выступил. Бойцы — попарно — далеко растянулись по степной дороге. Рядом со знаменем — впереди на рыжем донском коне, горбоносом, сухом и жилистом, как его хозяин, — шел Семен Буденный, влитый в седло, нахмуренный и спокойный.

Конь о конь с ним — Ворошилов и Пархоменко, пересевшие с тачанки в седла. За ними — в голове колонны — трубачи, литаврщики и запевалы — степные тенора.

Когда отряд, давая отдых коням, переходил на шаг, — тенора затягивали протяжную, звонкую, казачью, и весь отряд подхватывал крепкими голосами, — тенора заносились, и подголоски тянули так долго, казалось, чтобы слушала вся степь… Но слушали лишь коршуны в высоте да суслики у своих нор… Ворошилов подъезжал к строю и пел с увлечением.

Буденный касался шпорами коня, — донец, зло взмахнув расчесанным хвостом, переходил на размашистую рысь. Смолкала песня, — над мчавшейся колонной поднималась пыль.

Ночевали, не расседлывая коней, не зажигая костров. Еще не занялась заря — отряд, перестроившись в боевой порядок, двинулся на Мартыновку. Высланные ночью разведчики донесли о расположении противника, кругом обложившего село. Для совещания съехались — Ворошилов, Буденный и командиры сотен. Решено было ударить по штабу белых, прорваться в село и оттуда уже вместе с мартыновцами рвать и громить окружение…

До рассвета оставалось недолго, и звезд стало меньше. Отряд, развернувшись в четыре цепи, шел крупной рысью. Буденный сказал командующему, чтобы он держался во второй цепи и не выскакивал в первую. Села еще не было видно, но ветер уже доносил оттуда жилой запах дыма, кизяка и хлеба. Зеленел восток. Ширился, яснел свет безоблачной зари, — с тревогой на нее посматривал Буденный: — Прибавь!

Впереди показались красноватые огоньки костров. Разведчик, скачущий рядом, указал Буденному на черные в рассветных сумерках очертания двух деревьев, — там был штаб и лагерь конного полка Красильникова. Казаки, конечно, спят, как кабаны, не ожидая нападения из степи… Разведчик ошибся. Буденный различил движение, — в стороне от группы деревьев съезжались всадники. Белые тоже, должно быть, думали, что мартыновцы в этот час, конечно, крепко спят в окопах.

Осадив донца, так что тот перебил ногами, пытаясь взвиться, Буденный вынул из ножен шашку: «За мной!» — и толкнул коня. За ним, — крича, ревя, визжа по-степному, размахивая шашками, — рванулась передняя цепь. С тяжелым топотом красные лавы понеслись вперед

— туда, где немного справа за черными деревьями сражалась в луже воды разгорающаяся полоса зари… Там блеснула и забилась вспышка пулемета, свистнули пули, загрохотала степь… Навстречу двигались еще мутные массы врага…

Пархоменко пытался схватить за узду лошадь Клиента Ефремовича, но тот вырвал у него повод, погнал возбужденного коня вперед. Стремительно приближалась черная стена врагов. Ворошилов знал, что эти секунды решают судьбу конного боя: кто первый повернет?.. Он увидел Буденного, — впереди, привстав в стременах, подняв клинок, — он искал встречи. Враги — теперь их хорошо было видно — вырастали цепь за цепью: весь полк мчался на сближение. Буденный, на стелющемся донце, весь вытянувшись, достал шашкой заскочившего вперед бородатого казака, — тот схватился за голову… И тотчас налетел на двоих, рубя сплеча и наотмашь, — один казак лег на гриву, у другого из разрубленной шеи хлынула черная кровь. Враги осаживали, поворачивали. Лишь несколько всадников сшиблось, но, опрокинутые, смятые, исчезли в неудержимой лаве.

Казаки повернули и гнали, и гнали за ними, рубя наотмашь, молодые красные казачата. Воро-

шилов, уносимый потоком ревущих всадников и взмыленных, пахнущих потом, коней, снова увидел оскаленную, лысую башку донца, и маленькую жилистую фигуру, и водяной блеск его клинка… Все пронеслось как ураган…

Ворошилов стал осаживать. Кричали раненые. Направо, за прудом, разгоралась ружейная стрельба. Он остановился под ивой, — конь потянулся к оранжевой воде. Подскакал Пархоменко…

— Весь полк изрублен к чорту… Победа!

— Как бы наши не зарвались…

— Не зарвутся, Буденный дело понимает.

— Ты послал к мартыновцам?

— Послал двух ребят…

— Немедленно общее наступление…

8

Так началась оборона Царицына.

Вагон Сталина на путях юго-восточного вокзала был тем сердцем, которое гнало организованную волю по всем извилинам города, с учреждениями, заводами и пристанями, по всему фронту, где формировались полки, бригады и дивизии и на митингах военные комиссары разъясняли задачи революции по всему огромному округу,

где агитаторы и продотряды митинговали по селам, станицам и хуторам, мобилизуя беднейшее и среднее крестьянство и ломая кулацкое сопротивление. Тысячи подвод с хлебом тянулись к Царицыну, стада скота брели по дорогам к волжским пристаням…

Ежедневно отправлялись маршрутные поезда на Москву. На пристанях Царицына, Черного Яра, Камышина, Балашова грузили на баржи скот, рыбу, хлеб и гнали вверх на Нижний Новгород. Северные столицы могли теперь бесперебойно получать паек. Угроза смертельного голода миновала.

Но вся опасность была впереди. Контрреволюция не давала даже короткой передышки. С конца июля началось генеральное наступление на Царицын красновских генералов. Аэропланы — германского типа Таубе — сбросили в Царицын листовки — воззвание Мамонтова:

«Граждане города Царицына и вы, заблудшие сыны российской армии. К вам обращаюсь я с последним предложением мирной и спокойной жизни в единой и великой России, России православной, России, в бога верующей. Близок ваш час и близко возмездие божие за все ваши преступления.

«Скажите, за что погибнете вы, за что погибнут ваши жены и дети и богатый город обратится в пустыню и развалины? За что вы умираете? За те триста рублей фальшивых, ничего не стоящих керенок? Но что вы едите? У вас даже хлеба нехватает…

«Именем бога живого заклинаю вас: вспомните, что вы русские люди, и перестаньте проливать братскую кровь. Я предлагаю вам не позже пятнадцатого августа сдаться и сдать ваш город нашим донским войскам. Если вы сдадитесь без кровопролития и выдадите мне ваше оружие и военные припасы — я обещаю сохранить вам жизнь. В противном случае — смерть вам позорная. Жду до пятнадцатого августа. После — пощады не будет».

Саша Трубка собрала митинг на «Грузолесе» и прочла эту листовку.

— Кто желает возразить генералу Мамонтову? — окончив чтение, спросила она и хлопнула себя по кобуре. — Возражения считаю излишними. Все ясно. В этой кобуре мой ответ генералам… Предлагаю вам, мужики, вынести резолюцию: всем без исключения итти на фронт. Всему «Грузолесу». Бревна катать и пилить будем потом, когда перепилим Мамонтова.

Рабочие «Грузолеса» постановили — итти на фронт всем. Рабочие французского механического завода постановили — итти на фронт всем. Рабочие орудийного завода постановили — мобилизоваться на фронт всем и совместить это с прокатом днем и ночью — в три смены — стальной брони и срочной постройки бронепоездов.

За отрядами рабочих шли на фронт матери, жены, сестры, дети, неся узелки и кошелки с едой, горшки с кислым молоком… Провожающих не допускали до позиций, и женщины и дети подолгу стояли где-нибудь на при-горке, глядя, как их неумелые мужья и братья строятся в поле в два ряда, и держат ружья, и повторяют: «первый — второй», «первый — второй», и шагают, и поворачиваются, расстраивая ряды, и ложатся, и примерно стреляют, и потом, немного научась, уходят далеко в степь — защищать своей жизнью рабочую свободу.

Оставив на пригорке узелки с хлебом, огурцами и луком под охраной какого-нибудь служивого, женщины и дети, взволнованные и молчаливые, возвращались в город, чтобы заменить мужчин на оборонной работе.

Немало молодых женщин шло на фронт — санитарками, бойцами, иные — грамотные — в

агитпроп — читать в окопах издаваемую теперь Межиным в Царицыне большую газету — «Солдат революции».

К одной из таких девушек поздно вечером однажды в овраге, где помещался штаб новосформированного Варваропольского шахтерского полка, — к огню костра подошла Агриппина. Была она одета хорошо — в защитной, туго перепоясанной ремнем, рубашке, в новом картузе с красноармейской звездой.

Лицо у нее было такое мрачное, будто она собиралась перекусить горло этой девушке, разложившей на траве у костра весь свой струмент: несколько газет и брошюр, чернильницу и листочки бумаги. Брови у Агриппины были сдвинуты, ноздри красивого носа вздрагивали, ресницы опущены.

— Товарищ, мне с вами поговорить нужно, — сказала она этой девушке. — Можете вы меня научить грамоте в две недели или нет? Я к тому, что это для меня не шутки… (Отвернула лицо и — тихо.) Я могу счастье свое потерять… Горячие бои раньше двух недель не начнутся, время будет… Надо понять, — на моем горбу двое детей. Им надо расти, надо учиться, а я неграмотная… Кроме них — один человек, он партийный, Лени-

на хорошо знает, Ворошилова знает… И я вижу — ему моя темнота скоро станет поперек горла… Он ротный командир, — это надо понять… Две недели, товарищ, даю вам сроку…

Агриппина так взглянула на городскую девушку, — та сейчас же согласилась, и, не теряя времени, у костра начали первый урок.

За июль месяц группа Ворошилова, снабженная военными запасами, привезенными в эшелонах, расширила фронт, взяла Калач и на правом берегу — станицу Нижнечирскую, где были огромные запасы зерна.

Все понимали, что это продвижение ненадежно, что оно может стать прочным, только когда будут разбиты главные силы Мамонтова. Вся армия и тыл готовились к страдным дням.

Военрук Снесарев, наконец, был отозван в Москву — по настоянию Ленина в Высшем военном совете, где Троцкий злобно защищал генерала. Это было крупной победой. Получив об этом известие, Сталин созвал у себя военное совещание. Нужно было сделать еще шаг в сторону организации армии: уничтожить четыре царицынских штаба и на место их поставить единый Военный совет. О таком решении Сталин телеграфировал в Москву, наметив пятерых членов

Военного совета: себя, Москалева, Ворошилова, политического комиссара штаба и Тритовского — военного специалиста, умного, знающего и скромного человека из бывших армейцев.

Высший военный совет уперся и после нескольких дней молчания ответил, что согласен на создание в Царицыне Военного совета, но считает, что он должен состоять только из трех членов: Сталина, Москалева и военного специалиста Ковалевского.

Такое решение было прямым предательством со стороны Троцкого. Тогда Сталин, не споря и не опровергая, сделал еще один организационный шаг: приказал начальнику Чрезвычайной комиссии арестовать и допросить Носовича, Ковалевского, Чебышева и весь их штаб. Это было уже в дни, когда мамонтовские батареи опоясали фронт ураганным огнем и казачьи полки, великолепно одетые в берлинское черное сукно, тучами нависли над окопами.

Ковалевский, Чебышев, Сухотин, Лохватов и Кремнев, — а несколькими часами позже — инженер Алексеев с обоими сыновьями были арестованы, допрошены и после их признаний расстреляны. Генерала Носовича спас Троцкий, освободив его из-под ареста и направив в Бала-

шов. Там Носович вредил еще месяца два. Вскоре, опасаясь нового ареста, он перешел фронт добровольческой армии и представил Деникину свои объяснения. Третьим членом Военного совета вместо Ковалевского был назначен Ворошилов.

Мамонтов сосредоточивал главные силы непосредственно против Царицына и наносил сквозной удар по магистрали, по которой месяц тому назад пробивались эшелоны Ворошилова.

К концу второй недели боев Коммунистическая и Морозовско-Донецкая дивизии начали выматываться, — резервов нехватало. Снаряды и патроны, привезенные эшелонами Ворошилова, подходили к концу. Высший военный совет в ответ на самые срочные требования прислать оружие и огневое снаряжение ответил, наконец, что оружие и огнеприпасы могут быть присланы из Москвы лишь при условии, если в заявках будут указаны точные цифры количества бойцов, которым нужно оружие, наличие военного имущества в Царицыне и суммы, в рублях, ранее произведенных расходов.

Сталин послал в Москву Пархоменко, чтобы вырвать у Высшего военного совета оружие и огнеприпасы, немедленно привезти в Царицын.

Станицу Нижнечирскую пришлось оставить.

Красные отступили на левый берег Дона. Мост был отдан врагу. Калач оставлен. В Царицын день и ночь подходили поезда, набитые ранеными. Под Кривой Музгой лучшие полки Комдивизии потеряли больше половины состава Лукаш был тяжело ранен. Обливающаяся кровью, измученная Красная армия опиралась теперь только на бронепоезда, — ураганным огнем они отбрасывали наседающие огромные резервы мамонтовцев. Но нехватало снарядов. Бешеными конными атаками враг неудержимо рвался к городу.

От грохота орудий в Царицыне дребезжали стекла. Все население торопливо копало на окраинах последнюю линию укреплений. Сталин был в окопах. Туда ему принесли телеграмму с требованием: немедленно образовать Революционный совет Южного фронта на основании полного невмешательства комиссаров в оперативные дела, штаб поместить в Козлове.[5]

В тот же час в домишке на окраине города собрался Военный совет, и Ленину и в Центральный комитет была послана телеграмма:

«Известен ли Высшему военному совету вышеуказанный приказ Троцкого? Телеграфный

---

[5] Примечания: 5

Козлов — 400 верст севернее Царицына. (Прим. автора.)

приказ Троцкого угрожает развалом всему фронту и гибелью всему революционному делу на юге и не может быть выполнен Военным советом Южного фронта».

Сталин не выходил из окопов, руководя оттуда посылкой резервов, подвозом огнеприпасов, отправкой нового бронепоезда, вооруженного только что отлитыми тяжелыми пушками. В окоп спрыгнул Ворошилов, — он вернулся на броневике с передовой линии, был весь в грязи, в машинном масле. Он молча глядел на Сталина, — губы у него тряслись.

— Убит Коля Руднев, — сказал он и с минуту стоял молча. — Патронов нет… Отбиваемся одними штыками… Потери большие… Ну, иду в цепь…

Вылез из окопа. Сел в броневик (приехавший за новыми пулеметными дисками), умчался.

Когда мамонтовцам уже казалось, что они еще одним последним усилием ворвутся в город, — против них выступил сформированный на рабочих окраинах свежий Новоникольский полк. Сталин сказал им несколько слов, и они пошли без выстрела. Двигавшийся впереди них бронепоезд огневым шквалом расчищал путь. Новоникольцы дошли до окопов врага и бросились в штыки. Мамонтовская пехота, не ожидавшая

удара свежих частей, дрогнула и побежала. Ее встретили свои же казачьи сотни, кинувшиеся рубить бегущих. Но и эти сотни были сметены огнем бронепоезда и батарей, стоявших под городом. Усилие, с которым белые рвались к городу, сломилось, как это часто бывает, о неожиданно введенную против них новую силу. Белые, как обожженные, отскочили от Царицына. Мамонтов послал резервы. На них с фланга бешено ударил Громославский полк. Белые начали откатывать за Кривую Музгу. Тогда на них напустилась морозовская кавалерия и сбросила в Дон все ядро еще утром, казалось, — победоносной, к вечеру — разгромленной мамонтовской армии.

«Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом… Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается. Нарком Сталин».